

יְהוָה וּפֶעַז 5

אֱלֹהִים כָּבֵד 5

FROM THE LIBRARY OF
SHIMON MARKISH
(1931-2003)

ЕГУПЕЦЬ

ЕГУПЕЦ

יְהוּפֵץ

ХУДОЖНЬО-ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ
АЛЬМАНАХ
ІНСТИТУTU ЮДАЇКИ

5

КИЇВ «СФЕРА» 1999

УДК 892.45(059)
ББК 84.5€ Я5
€31

РЕДКОЛЕГІЯ:
Г.Аронов (редактор), Р.Заславський,
О.Мудрагель, М.Петровський,
М.Феллер, Л.Фінберг

**РЕДКОЛЕГІЯ ВИСЛОВЛЮЄ ПОДЯКУ
АМЕРИКАНСЬКОМУ РОЗПОДІЛЬЧОМУ КОМИТЕТОВІ «ДЖОЙНТ»
ЗА ДОПОМОГУ У ВИДАННІ АЛЬМАНАХУ**

Комп'ютерний набір *Світлана Невдащенко та Галина Ліхтенштейн*
Коректор *Ізольда Антропова*
Художнє оформлення *Віктор Харик*
Комп'ютерна верстка *Тетяна Іванько*

*На першій сторінці обкладинки
робота С.Рудмінського «Шествие. Мираж»
(из серии «Коры и Кариатиды»), 1979;
на четвертій сторінці обкладинки
робота А.Балазовського «Летящий ангел», 1971.*

Дэвид Харрис

Исполнительный директор Американского Еврейского Комитета, один из самых влиятельных политиков в еврейском мире, автор многих книг и статей о современной политике.

НАМ ЕСТЬ ЧТО ПРАЗДНОВАТЬ (Еще раз о 50-летии государства Израиль)

Я пишу эту статью, окруженный мрачными прогнозами в связи с золотым юбилеем — 50-летием Израиля. Как сообщают газеты, израильтяне не в настроении праздновать. А даже если бы настроение появилось, Оргкомитет, как нас уверяют, недостаточно финансируется, не укладывается в намеченные сроки и вообще — некомпетентен. Что же касается американских евреев, они слишком заняты яростными спорами о плюрализме, прозелитизме и законности, не говоря уже о спорах по поводу политики правительства Нетаньяху, чтобы, забыв о них, увидеть расцвет, сопровождающий первые 50 лет Израиля, и радостно отметить годовщину. Если честно, эти споры и сомнения очень мешают. Несмотря на все трудности и разногласия, эпохальное для Израиля и его друзей событие должно быть отмечено с энтузиазмом и гордостью. Жаль, если такая возможность будет упущена.

Открою карты: я не бесстрастен, когда дело касается Израиля. Я считаю, что провозглашение его в 1948 г. и превращение в дом и убежище для евреев всего мира; утверждение в нем демократии и права, прежде всего удивительно независимого суда; проведение свободных и справедливых выборов, обеспечивающих плавный переход власти; а также впечатляющие достижения в науке, культуре, социальной сфере, экономике, — все это выходит за пределы наших самых радужных представлений. У меня нет слов, чтобы выразить свою благодарность за то, что я являюсь свидетелем одного из наиболее выдающихся периодов европейской истории.

А если добавить к этому самое главное, а именно то, что все это произошло не в Скандинавии, а на Ближнем Востоке, что соседи Израиля с первого же дня создания государства были полны решимости уничтожить его, используя для этого любые доступные средства: от войн с использованием новейшего оружия до войн на исключение; от дипломатической изоляции до попыток на международном уровне поставить Израиль вне закона, до повторявшихся многократно экономических бойкотов; от терроризма в небе и на море — до терактов на переполненных рынках, в автобусах и школах; от распространения яда антисемитизма, часто плохо прикрытого антисионизмом, среди арабского населения (особенно среди молодёжи) через школьные учебники, пятничные проповеди и государственные газеты — до антиизраильских и антисионистских решений,

принимаемых слишком внушаемыми подчас кругами ООН... Если учесть всё это, история первых пятидесяти лет Израиля становится еще замечательнее.

Ни одна другая страна (я имею в виду, конечно же, страну с демократическим строем) не сталкивалась с такой постоянной угрозой самому своему существованию и незыблемости институтов законности. А ведь вековые библейские — духовные и физические — связи еврейского народа с землей Израиля уникальны! Они имеют совершенно иную природу, чем, скажем, тот фундамент, на котором основаны Соединенные Штаты, Австралия, Канада, Новая Зеландия или страны Латинской Америки. Там европейцы не имели никаких законных прав на эти земли, и все-таки убивали каждого десятого коренного жителя, провозглашая свою власть.

Ни одна другая страна не сталкивалась с таким огромным перевесом сил противника и не испытывала в такой степени всемирных поношений от многих народов, бездумно следовавших за активным и многочисленным арабским миром. И при всем этом Израиль не принял «гарнизонного» менталитета, не отказался от стремления к миру, сохранив готовность пойти ради его достижения на беспрецедентный риск, не расстался с решимостью построить процветающее государство.

Я считаю, что эта история не имеет прецедента. Ибо был народ, стоявший на грани полного исчезновения вследствие геноцида со стороны нацистской Германии и ее союзников. Был народ, потерявший каждого третьего, в том числе 1,5 миллиона детей. Был народ, бессильный повлиять на мир с целью прекращения неслыханной дотоле в истории резни. Был народ, 600 тысяч представителей которого жило рядом с часто враждебно настроенными арабами, в условиях британской оккупации, на тяжко воздельываемой земле, в почти лишенной природных ресурсов Палестине. И чтобы всего через три года после второй мировой войны белоголубой флаг независимого Израиля взвился над землей, с которой мы были связаны со временем заключения Завета между Б-гом и Авраамом, — это невозможно было представить. Это поразительно.

Чтобы понять значение государства Израиль, достаточно задать себе вопрос: как обернулась бы история еврейского народа, если бы еврейское государство существовало уже в 1933 году? В 1938? В 1941? В 1945? Если бы сам Израиль, а не Британия, контролировал свои границы и право въезда в страну? Насколько больше евреев смогли бы укрыться в Святой Земле от геноцида! Если бы израильские посольства и консульства были открыты в Варшаве и Будапеште, в Бухаресте и Белграде, в Кракове и Львове, в Амстердаме и Салониках, в Манхайме и Минске? Насколько больше евреев смогли бы получить въездные визы, уехать из Германии, обрести безопасность, когда это еще было возможно!

К сожалению, этого не произошло. Напротив, евреи вынуждены были искать сочувствия в посольствах и консульствах чуждых им стран, и не нашли у них, за ничтожно малыми исключениями, ни понимания, ни же-

ления помочь. Вспоминаю горький опыт моей матери и ее родителей, пытавшихся бежать из оккупированной Франции, дающий возможность понять, насколько мало дверей было открыто евреям, находящимся в опасности.

Я был свидетелем роли посольств и консульств Израиля в судьбах евреев, которых звал Сион или выталкивала из других стран ненависть. Во дворе израильского посольства в Москве я видел, как тысячи евреев искали возможность поскорее выехать из Советского Союза, уже ступившего на путь перемен, но им еще не было понятно, приведут ли эти перемены к демократии или к обновленному шовинизму и антисемитизму. Я видел, как Израиль делал то, чего не делала ни одна другая западная страна: эвакуировал африканцев (эфиопских евреев) в Израиль, и не с целью эксплуатации, а для защиты их достоинства и свободы.

С восхищением я наблюдал, как Израиль, ни минуты не колеблясь, принимал евреев (главным образом из СССР) даже тогда, когда иракские ракеты, казалось, могли запугать нацию. Тот факт, что советские евреи продолжали вылетать в Тель-Авив, даже когда над Израилем рвались бомбы, многое говорит о жизни евреев в Советском Союзе. А об Израиле многое говорит то, что, несмотря на все проблемы того времени, он продолжал приветствовать новых иммигрантов.

И как я могу забыть ту волну гордости (еврейской гордости!), захлестнувшую меня двадцать два года тому назад, когда я услышал потрясающую новость о спасении 106 еврейских заложников, захваченных в аэропорту Энтеббе в Уганде — в 2000 миль от израильской границы.

Естественно, формирование нации — бесконечно сложный процесс. В Израиле он проходил на фоне межэтнических трений с местным арабским населением, также притязывающим на эту землю. В эти годы арабский мир стремился изолировать, деморализовать и полностью разрушить еврейское государство. За первые несколько лет существования населения Израиля буквально удвоилось. При очень ограниченных ресурсах это создавало неимоверные экономические трудности: ведь несмотря на значительные социально-экономические нужды населения, особенно — новоприбывших, страна была вынуждена выделять огромную часть бюджета на оборону. И при этом решались беспрецедентные проблемы формирования единой нации, общей культуры и общественного согласия. И это при такой разнородности населения (по географическому происхождению, в лингвистическом, социальном и культурном планах), которая была бы просто немыслима в другой стране.

И здесь мы подходим к сложному, пожалуй, беспрецедентному вопросу — неизбежному столкновению пестрой реальности нового государства с догматами веры или обычаями народа. Ведь одно дело, когда народ живет в меньшинстве среди часто негостеприимного большинства. И совсем другое дело — осуществлять свой суверенитет, будучи большинством. Столкновения между верой, идеалами народа и необходимостью управ-

лять государством тут неизбежны. Неизбежны также столкновения между нашими представлениями об идеальности человеческой природы и ежедневным реальным властным долгом людей, ответственных за принятие решений, вынужденных примирять нередко противоречащие друг другу интересы. Результаты подчас разочаровывают. Вот примеры: нередко пренебрежительное отношение ашkenазской элиты к иммигрантам из Северной Африки в первые годы; слишком уж тесные связи с Южной Африкой в период процветания там апартеида; сохраняющиеся и по сей день случаи политического третирования, что не к лицу современному государствству.

И все-таки, имеем ли мы право поднимать планку настолько высоко, чтобы Израиль, вынужденный функционировать в зачастую жестком и непредсказуемом мире международных отношений и внутренней политики, не мог и близко подойти к напис меркам? С другой стороны, нельзя согласиться с мнением, что Израиль когда-нибудь станет нравственно или этически неотличимым от любой иной страны мира, или всегда будет прятаться за удобное оправдание практической политики для объяснения своего поведения.

Израильяне, имея за плечами всего пятьдесят лет государственности, пока новички в управлении страной. Но посмотрим, в каком состоянии были Соединенные Штаты в первые пятьдесят или даже сто пятьдесят лет своей независимости. А ведь говоря о Штатах, мы говорим об огромной стране, благословенной не только обилием природных ресурсов, океанами с двух с половиной сторон, но и покладистым соседом на севере и слабым соседом на юге. Пытаясь следовать принципам демократии и сохранения человеческого достоинства, США испытали и позор рабства, и расовую дискриминацию в своих вооруженных силах вплоть до второй мировой войны. В южных штатах дискриминация сохранялась до самых шестидесятых годов. А узаконенное неравенство полов, возмутительные ограничения для выходцев из Азии в нашей иммиграционной политике, принуждение американцев японского происхождения жить в лагерях для интернированных во время второй мировой, и вплоть до недавнего времени, препятствия, чинимые евреям во многих секторах американской жизни!.. И несколько катастрофических неожиданностей во внешней политике, а также существенное фактическое неравенство разных слоев населения. Например, показатели детской смертности среди белых (6,3 на 1000 рожденных в 1995 г.) намного меньше половины этого показателя среди черных (15,1). А доход на душу среди испаноязычного населения в 1995 г. (\$ 9300) вдвое меньше, чем у белых (\$ 18304).

Почему я ссылаюсь здесь на Америку? Чтобы поместить ситуацию в определенный контекст, сравнив Израиль с ведущей демократической страной мира.

Конечно, прошлое Израиля несовершенно. Однако он достиг впечатляющего прогресса. За 50 лет построена процветающая демократия и эко-

номика, при которой ВНП на душу населения значительно выше, чем в четырёх соседних странах — Ливане, Сирии, Иордании и Египте. Израиль — это семь университетов, вносящих вклад в расширение границ знания в мире; продолжительность жизни, свидетельствующая о том, что израильтяне — одна из самых здоровых наций мира; процветающая культура, использующая древний язык, ставший современным; агропромышленный комплекс, показавший всему миру, как покорять бесплодные земли. Наконец, история Израиля за последние 50 лет прекрасна чудесным осознанием 3500-летней связи земли, веры, языка и народа с его менталитетом. Это вдохновляющая история упорства и решимости, мужества и обновления, торжества надежды над отчаянием.

Какие же основные проблемы стоят сейчас перед Израилем? Позволю себе не говорить о самой очевидной и первоочередной — о длительном и прочном мире. Она выходит за рамки статьи. Хотя Израиль и заключил впечатляющие мирные договоры с Египтом и Иорданией, а также достиг некоторых успехов в отношениях с палестинцами, совершенно очевидно, что положение остается чрезвычайно опасным. Отсутствие правового гражданского (в нашем понимании) общества у арабских соседей Израиля означает, что смена власти там происходит недемократическим путем, со всеми вытекающими из этого последствиями. Существование в регионе коррумпированных государств, террористических групп, оружия массового поражения и средств его доставки означает, что Израиль не сможет пребывать в покое, по крайней мере, в обозримом будущем, независимо от того, какие перемены произойдут у палестинцев.

Внутри самого Израиля важнейшей задачей остается обеспечение превосходства объединяющих, центростремительных сил над центробежными, угрожающими развалом обществу. Наиболее зловещей из центробежных сил (и наиболее трудно устранимой) является разделение общества на религиозных и светских. Конечно, религиозный лагерь не монолитен. Так же, кстати, как и светский. И все-таки нельзя не замечать глубокой трещины, веками существовавшей между евреями, особенно после эпохи Просвещения. Существует она и между израильтянами на протяжении всего пятидесятилетия.

Эта трещина не только не уменьшилась в Израиле, где, к сожалению, в отличие от США, еще не укоренились умеренность и толерантность по отношению к неортодоксальным формам религиозной практики, но практически угрожает еще и увеличиться. Израиль все более организуется вокруг двух центров, двух мировоззрений, одно из которых (религиозное) в большей мере господствует в Иерусалиме, а другое (светское) в Тель-Авиве и в Хайфе. Разрешение этого конфликта остается главной проблемой для Израиля, а также и для евреев диаспоры. Без этого невозможно определить саму природу еврейского государства, все еще несовершенного после 50 лет своего существования. Что есть и в чём должна проявляться еврейская суть еврейского государства? Какое религиозное или светское

определение еврейской сути должно взять верх? Насколько еврейским должно быть Государство Израиль? Как можно примирить институты религии и государства? И поскольку Израиль является еврейским государством с нееврейским меньшинством (около 20% населения), не будет ли там постоянно присутствовать напряжение, как оно присутствует сейчас, например, в связи со службой в армии (арабские граждане Израиля не служат) или, допустим, с текстом национального гимна «Атика», выражавшего национальные стремления именно евреев?

Эти вопросы с самого начала были сущим проклятием для Израиля. Для обеспечения безопасности и поддержания более или менее стабильного внутреннего положения часто приходилось применять жесткие меры. С быстрым ростом численности ультраортодоксов среди населения и появлением ставшей удивительно популярной религиозно-политической партии ШАС, привлекающей, в основном, сефардских избирателей, эти вопросы опять становятся очень острыми. И если Израиль достигнет соглашения с палестинцами и Сирией, что само по себе проблематично, во внутренней политике внимание будет всё больше обращаться к сути характера государства, а не к непосредственной угрозе его существованию (хотя угроза различных регионов, включая Ирак и Иран, и хорошо вооруженные террористические формирования, вполне вероятно, будут сохраняться еще долго).

Другие вопросы внутренней политики также будут привлекать к себе внимание. И это естественно. В то время как многие обозреватели пришли к убеждению, что этническое разделение на ашkenазов и сефардов сходит на нет, такие партии, как ШАС, и такие политики, как Дэвид Леви, напоминают, что сефарды в Израиле всё ещё страдают от неуважения. Нельзя игнорировать и экономическое неравенство. Незначительная часть израильского населения процветает. Именно она проводит зиму в Сен-Морице и Давосе, пользуется всеми техническими новинками и в буквальном смысле слова неотличима от своих коллег в Нью-Йорке, Лондоне, Токио. Но сотни тысяч жителей развивающихся городов и забытых поселков остались без внимания. Создалась огромная пропасть между доходами, не говоря уже о возможностях и услугах.

Многое можно сказать и о других проблемах, стоявших перед Израилем в последние 50 лет. Среди них необходимость:

- ♦ формировать гражданское поведение в гражданском обществе и поощрять понимание принципа компромисса как существенного элемента демократического общества;
- ♦ развивать чувство уважения и толерантность к различным взглядам, существующим в израильском обществе;
- ♦ служить единству еврейского народа в Израиле и за его пределами, а не способствовать расколу;

- ♦ преодолевать противостояние между полами, сильно проявляющееся в общественной и частной жизни, несмотря на роль Голды Меир как премьер-министра Израиля и службу женщин в израильской армии;
- ♦ уделять гораздо больше внимания достаточно хрупкой окружающей природе. Этот момент, по моему мнению, будет обсуждаться все чаще, так как Израиль сейчас является свидетелем того, как растущее население переполняет ограниченное пространство страны, в результате чего тяжелые испытания обрушаются на землю и скучные природные ресурсы.

И наконец, как американского еврея, меня беспокоит углубляющаяся сейчас пропасть между Израилем и диаспорой. В некотором смысле это углубление, возможно, неизбежно. Со временем мы отдаляемся друг от друга. Если наши бабушки и дедушки были близкими родственниками, то мы сейчас, в лучшем случае, — троюродные братья и сестры.

Здесь, в Штатах, мы развили собственные динамические формы еврейской культуры, в которых Израиль играет второстепенную роль. Сколько израильских авторов, сценаристов, поэтов, художников, режиссеров или теологов известны в Америке? Их гораздо меньше, чем тех, кто входит в нашу американскую еврейскую культуру. Но, несмотря на этот увеличивающийся культурный разрыв, покровительственные связи с американской культурой все больше и больше «объединяют» нас. Например, интернационализация американской поп- и потребительской культуры, начиная от NBA и кончая McDonald's, принятыми уже многими израильтянами, едва ли приведет к сохранению самобытности еврейского народа.

Американские евреи постоянно искали возможности организовать поддержку Израиля в Соединенных Штатах. Некоторые из них, принимая светскую религию «Израэлиза», выражали свою принадлежность к еврейскому народу в основном в форме политической поддержки Израиля. Непонятно почему, но в Израиле нашлись известные деятели, не одобряющие такой поддержки. Считаю, что они очень ошибаются. Поддержка со стороны американских евреев всегда была необходима для укрепления основ израильско-американских отношений. Без нее (и это мне известно по опыту) внешняя политика США в отношении Израиля гораздо больше напоминала бы безразличное отношение европейских стран.

Но дальнейшее существование такой политической поддержки зависит от неубывающего чувства родства, отождествления себя с Израилем. Только по инерции такая поддержка существовать не может. Американские евреи начнут обращать все больше внимания на проблемы еврейской жизни внутри страны — начиная с расширения еврейского образования и заканчивая предоставлением необходимых услуг пожилому населению. И тогда другие группы в Штатах, имея самые различные интересы в американской политике на среднем Востоке, постараются заполнить этот про-

бел. Они это уже делали (хотя до сих пор — с минимальным успехом) благодаря неослабевающим усилиям произраильской общины.

Короче, если важному вопросу отношений между Израилем и американскими евреями не будет уделяться постоянное внимание, через какое-то время поддержка со стороны последних начнет ослабевать, что несет потенциальную угрозу отрицательных долгосрочных последствий в израильско-американских отношениях.

Однако сколько израильтян имеют реальное представление о значении и количестве американского еврейства? О возможностях развития еврейской жизни в Америке? О ключевой роли Израиля в нашем национальном сознании и самоидентификации? О множестве сложных форм проявления еврейства в этой стране? К сожалению, очень немногие.

Но имеет ли это значение? Для тех из нас, кто верит, что тесные связи Израиля с диаспорой, а особенно с американским еврейством, являются существенной опорой осуществления идей еврейского народа и его безопасности, это исполнено огромного значения.

В заключение скажу, что остаётся ещё много важных вопросов. Но если мы попытались бы рассмотреть их все, не заставило ли бы это забыть (пусть на мгновение) выдающиеся достижения последних пятидесяти лет? Имея в виду именно это, я предлагаю, чтобы мы — Израиль и его друзья во всем мире — отрешились на мгновение от зигзагов ежедневной информационной перегрузки и обратили внимание на стремительное развитие этой страны за последние 50 лет. Сделав это, мы сможем оценить годы света, пройденные нами после тьмы Катастрофы, и удивиться чуду того, как чуть ли не полностью уничтоженный народ возвратился на малюсенький клочок земли — земли наших предков, земли Сиона и Иерусалима, и, несмотря на все превратности, успешно построил на этом древнем основании современное, живущее полной жизнью государство. Это действительно достойная причина для празднования. И мы должны праздновать. Нам есть что праздновать!

Перевод с английского Ирины Володарской.

Инна Лесовая

В четвертом номере альманаха «Егупец» была опубликована повесть Инны Лесовой «Манечка и Фридочка», вызвавшая живой читательский интерес. В «Егупце» № 5 мы печатаем новую повесть писательницы.

Инна Вольфовна Лесовая родилась в 1947 году в Киеве, где постоянно и проживает. Все дети, выросшие на Украине за последние двадцать пять лет, играли резиновыми и латексными игрушками, созданными по ее моделям — Незнайкой, тетей Кошкой и котятами, Чипполино и еще пятьдесят куклами и зверюшками.

Как художника ее лучшие знают в Москве, где она закончила факультет графики Московского полиграфического института и где в 1991 году в редакции журнала «Наше наследие» состоялась ее единственная персональная выставка. Как писатель она больше известна в США, где с 1992 года в русскоязычном журнале «Время и мы» опубликованы девять ее повестей и маленький роман.

Герои ее прозы — родственники и соседи по двору. Совсем недавно она закончила большой роман об актрисе театра Михэлз — «Бессарабский роман».

НАБРОСОК МЯГКИМ ГРИФЕЛЕМ

Грузовик мелькнул несколько раз далеко между домами. Потом исчез — и внезапно вырулил из-за угла на дорожку, затормозил — будто споткнулся, грохнув напоследок барахлом, и замер прямо перед третьим парадным. Мальчишки, человек шесть или восемь, поднялись в кузове, заторчали, темные, на фоне пустого неба. Начали спрыгивать нерешильно через борт.

Район и вправду был противный. Тупые, длинные пятиэтажки, редко натыканые без ладу по плоской беспризорной земле... проволочные саженцы без всяких надежд на листья... Несимпатичны были старухи, восседающие на лавке в не по сезону теплых пальто. Их головы задвигались в глубинах зимних платков, как потревоженные птицы в дуплах.

— О, о! — зашелестело. — В восемьдесят вторую вселяются.

Еще неприятнее были молоденькие деревенские девахи. Они побросали свои коляски, неразвешенные пеленки и потянулись к грузовику с общим выражением недоброжелательного любопытства на лицах. Спешили показать, кто здесь хозяин — чьи это мужья сколотили лавку, кто насеял чернобривцы и нацепил веревки для белья. Они были уверены, что новые жильцы не тянули бы полгода со вселением, если бы им пришлось ради этой квартиры поработать на стройке и три раза рожать.

Действительно, вселение протекало без всяких признаков радости. Да и кто, собственно, вселялся? Был некий толстый, суэтливый, с ключами в

кулаке. Были мальчишки, сновавшие по его команде. Неумелые. Все у них гремело и разлеталось. Какая-то бандура, сбитая из досок (не стол, не табуретка — тумба, вроде тех, на какие ставят пальмы в кинотеатрах), грохнулась углом на землю. И один, на вид постарше и потолковее других, закричал: «Не смейте бросать подиумы! Сломаете!» И еще кричал: «Николай Иваныч! Большой подиум полкомнаты занял! Куда другие ставить?» «Сверху! — орал суетливый. — Сваливайте все в гору, потом разберете!»

Однако никаких пальм видно не было. Впрочем, когда стащили вниз трухлявшую ширмочку, дело как будто прояснилось. Над заляпанной доской показалась гипсовая лысина Ленина. И зрители подобрали: поняли, что жильцов не будет, а будет какой-нибудь красный уголок, что подтверждало бьющееся на ветру полотнище казенного красного сатина. Предположили даже — не детская ли комната при милиции, и, окончательно потеплев, обратились к толстому, к начальнику, объяснили, что замок барахлит потому, что в нем много раз ковырялись самоселя. Но тут рухнула заляпанная фанерка, и оказалось, что никакой там не Ленин, а насупленный старик с тупым круглым носом, окладистой курчавой бородой на голой груди, с двух сторон подпертый черными валиками нечеловеческого размера. «А Бо-о...» — растерянно выдохнула одна из зрительниц. Из хлама виднелось еще несколько гипсовых голов. Страшнее всех выглядела криво торчащая на кубе голова без кожи, с раскрытым беззубым ртом, полным пыли. Старухи отшатнулись, когда ее проносили мимо. Следом за широкие плечи потащили в дом лысого еврея с тонким хрящеватым носом и желтым пятном на лбу. А за ним — провисающую в простыне почти до земли метровую голову молодого мужчины с шаром вьющихся волос и острой раздвоенной бородкой. Он пялился в небо нехорошим взглядом. Старухи, привстав, смотрели ему вслед.

После него уже ничему не удивлялись: ни матрацу, рулетом скрученному вместе с постелью, ни «солдатской» кроватке, каких уже в больницах не оставалось, ни вполне приличному кухонному шкафчику и холодильнику. Остальное все, мелочь и дребедень, тоже требовало рук. Судя по тому, как начальник дергал свой рукав, чтобы взглянуть на часы, куда-то они не поспевали. А тут еще шофер демонстративно курил. Двое мальчишек бегали от третьего, который пытался отнять у них зеленую конторскую тетрадь. Мальчишки метнулись за угол; он подался было за ними, но увидев что-то вдали, остановился и зло, неумело сплюнул. Начальник тоже перестал суетиться. К дому мягко подкатила «скорая помощь», обеихала грузовик, развернулась и остановилась. Стояла она непонятно долго, пока, наконец, не распахнулась левая дверь. Затем — правая. Затем отворили задний гроб и осторожно выдвинули носилки с телом, покрытым простыней. Прибитая ветром, она позволяла разглядеть сложенные на груди руки и вытянутое лицо с высоким лбом и заострившимся носом... Будто занесли в дом последнюю из статуй...

Старухи закрестились.

— В больнице скончался... — вздохнула одна.

Все кивнули. А из дома, из раскрытой глубины его, донесся истощенный женский вопль: «Уби-и-ли!!» И непонятно было, когда это в дом попала женщина. Потом снова было тихо, пока не послышался с лестницы обрывок разговора: «...Неужели нельзя оставить в покое такого больного человека! Дали бы ему дожить!» — «Вам легко говорить! А у меня — учебное заведение! Очаг культуры! А он двери чесноком мазал! Белье в окне сушил! И вообще... Но последний случай — это уже переполнило чашу! Мне давно говорили, что он в окно помои выливает!»

Мальчишки позапрыгивали в кузов — и обе машины укатили.

Ну что за судьба такая! Что бы ни случилось с человеком, для окружающих — спектакль. Не жизнь, а сплошной повод для анекдотов, слухов и недоразумений. Но мы — не старухи, застрявшие на своей лавке, нам нечего гадать, когда похороны и кто остался с покойным — не та ли невидимая женщина, что кричала «убили»...

Кричал сам Борис Борисыч, когда врач «скорой помощи» попытался стащить с его лица простыню. Не хотел он открывать свое лицо — и все тут. Даже когда замректора по хозчасти убрался вместе со своим кодлом.

Оставшийся с ним Коля (тот, что не смог отнять у двух шалопаев зеленую тетрадь) несколько раз робко просил его сдвинуть простыню: «Задохнетесь ведь! Плохо станет!» В ответ на что Б.Б. издавал едва уловимый невнятный звук: не то «о-о», не то «и-и»... Коля тихо двигался по квартире, хлопотал, не вполне уверенный, что учитель одобрят его действия. На всякий случай он сообщал вслух о каждом мероприятии. «Я холодильник включил. Сложил туда продукты». Или: «Гут, оказывается, шкаф стенной есть. В коридорчике, за дверью. Я уже всю одежду повесил. Так что гвозди в стенику забивать не придется». И, наконец, решившись, добавил осторожно: «Гут неплохо».

Потом Коля, как мог, подправил под Б.Б. постель, развернул перед кроватью ширмочку, а к изголовью приставил табуретку. Получился укромный уголок, совсем такой же, как на старом месте, в институте. Коля хотел еще поставить у изголовья настольную лампу, но вытащить ее из свалки не удалось: за что-то она зацепилась, и когда Коля чуть сильнее потянул за шнур — дрогнула табуретка, одной ногой висящая над бездной, гипсовые кубы и конусы, наставленные на нее, а под самым потолком качнулся венчающий пирамиду Сократ. Коля понял, что сам он такую гору не разберет. Правда, из другой, пониже, удалось без особых катаклизмов высвободить чайник, кастрюлю и несколько тарелок.

Коля пошарил палкой под нижним подиумом. К самому краю легко подкатился синий термос и жестяная банка с красной этикеткой «Меланж». Банку он оттолкнул, а с термосом долго возился: Коля держал его в руке, но выволить не мог: не пускали поперечные планки.

Коля был зол. Ну к чему они устроили такую беготню, спешку! Уж лучше оставили бы вещи на улице, а он бы их перетаскал потихоньку!

— Я завтра тут окончательно разберусь, — прогудел виноватым подростковым баском Коля. — Мне одному не справиться. Кого-нибудь попрошу...

Б.Б. не ответил, но шевельнулся.

— Мне идти надо, — продолжал Коля. — Поздно. А я дома не предупредил. Вы бы встали, попили чаю. Я вскипятил. Тут газ. Плитку теперь чинить незачем. Вставайте, Борис Борисович! Вот и валеночки ваши.

— Небось каштаны все рассыпались по дороге! — раздался приглушенный простыней голос.

— Ничего подобного! — оживился Коля. — Я сам проследил! На окне коробка стоит. И вот! — Он тряхнул валенками — там заманчиво грохнуло — и придинул их вплотную к кровати.

Простыня снова шевельнулась, смялась, сморщилась и сползла с потного, красного лица, вытянутого в трагическом оцепенении. Свесилась и зашарила под кроватью голая рука.

— Ну вот! Видите! Совсем задохнулись. Давление, наверно, поднялось! — огорчился Коля.

— Банка где? — перебил бесстрастно Б.Б. — Меланж. Красный!

— А зачем она? — простодушно удивился Коля. — Здесь туалет.

— При чем тут это! При чем тут это?! — ожил от досады Б.Б. и, наконец, сел. — Я туда бумажки бросаю, тюбики пустые!

Желтые ножки привычно опустились в необъятные фетровые трубы, умащиваясь, поерзали, погромыхали сухими каштанами... Б.Б. встал... качнулся — и снова сел, прижимая одну руку к сердцу, другую — к покрывшемуся испариной лбу.

— Погубили Борисборисыча-а! — заскулил он уже известным нам женским голосом и добавил вполне мужским, хрипловатым: — Избавились, завистники! Наконец все-таки встал, вышел за ширму и с похмельной ненавистью оглядел свое новое жилище.

— Конура собачья!

— Так ведь вещи еще не разобраны! Люций Вер среди комнаты стоит! — заспешил Коля. — Я завтра все сделаю, свободнее станет! И потом тут еще кухня! Ванная, коридор! Даже, можно считать, два! Жалко, что мне идти надо!

— Иди! — кивнул, не оборачиваясь, Б.Б. — Семью не беспокой! А я...

— Вы, если что, к соседям постучите! Тут дверь совсем рядом! — крикнул Коля уже с лестничной клетки.

На площадке первого этажа он задержался: что-то белело под батареей. Несколько листков, исписанных мелким почерком. Коля поднял их и прочел: «...Несомненно, что в 19-м веке главным центром искусства стала Россия...»

Коля свернул листки в трубочку и вышел на холодный майский ветерок. У парадного темными группами роились люди. Коля задрал повыше плечи, зябнувшие в тесном пиджачке, выдвинул вперед голову с нелепой шевелюрой, делающей его насупленный профиль похожим на профиль ежика, и прошмыгнул мимо, стараясь никого не задеть. Толковали о каких-то венках и о том, что никто не станет собирать деньги для незнакомых людей. С какой стати...

Ехать пришлось долго. Со скучи Коля развернул листки.

«...баю! Отец помочь старается старому другу, а дочка строит козни! Убить ее — и то мало!

4 октября.

Опять приходила Феня. Ноги круглые, руки круглые! «Борис Борисыч, я вам горяченькой картошки принесла!» Куда денешься! Села среди комнаты нарочно на солнце. Голые колени повыставляла. Такой яркий свет, что все контуры размывает. А шея — в тени. Между грудьми темно, а на лице — блики от пола. Ел невнимательно, жевал как попало — вот и результат. Ну проныра! Думает, я не понимаю, зачем ходит. «Борис Борисович! Иванову с Машей дали двухкомнатную на Репина. Жалко, что вы не женаты. Еще заселят в общую квартиру...» Намекает: вот, дескать, Иванов — профессор, а женился на своей домработнице — так чего бы тебе, Борис Борисыч, на мне не жениться? Как же, женюсь я на ней, на деревенской! Чтобы А.Г. всем говорила: «Я так рада за Борю! Феня заnim присмотрит! Феня устроит его быть! Они люди одного круга». Вот тебе фигу — одного круга! Знаю я этих деревенских! Распишешься с ней — а она тебя доведет до инсульта при помощи половых отношений. А потом и сдаст в дом инвалидов. Дудки! Пусть А.Г. свой быт устраивает! А то в восемь часов уже слышно, как она по лестнице: тук-тук-тук-тук! И плащ белый нацепила — молодую из себя строит! Вот пусть сама выходит — за Митьку за вахтера. Нечего обо мне заботиться, подсыпать ко мне своих учеников. У меня свои есть. Мне свои хлеба принесут. И в баню сводят. Если понадобится. Мне Непийвода два литра меда привез из Полтавы. И евреечка эта рябая — носит и носит, семью обижает. Все хорошее, диетическое. Творог... Говорю: не надо! Не слушает. И эта еще, черненькая, с губами. Говоришь ей: «Нельзя столько острого! Видишь, какая у меня аллергия?!» А она говорит: «Это от хлорки. У вас хлоркой сильно пахнет. У меня, вот, тоже диатез». И показывает свою шею. Белая, как атлас, и чуть-чуть пущистенькая! Вот дура! В комнате больше никого нет, а я мужчина. Сердце расходилось — баx! баx! Ударил ее два раза по плечу. Полотенцем.

20 ч. 50 м. А если она пожалуется родителям — скажу, что работать не хотела и грубила. Снова сверлит в большом пальце правой ноги, и

хочется что-то раздавить, раздавить! Принял двадцать капель валокордина. Заварил чабрец.

6 октября.

Появилась боль между первым и вторым ребром, спереди, на уровне нижней части желудка.

11 ч. 10 м. Боль не отпускает. Что это? Поджелудочная железа? Но почему тогда так близко под кожей? Болит буквально между кожей и ребрами.

13 ч. 00 м. Нарыв? Осмотрел внимательно кожу, прощупал. Никаких следов. Нет ни покраснения, ни уплотнений. Это вызывает особые опасения. Главное — боль не сильная. Даже, можно сказать, приятная. Что-то напоминает... Детство... На душе так нежно, так жалко чего-то. Поплакал.

17 ч. 10 м. А если это поджелудочная выбилась из-за ребер под кожу? Носят и носят! И все острое, жареное!

10 октября.

Снова плохой день! Вдоль копчика ходят вредные токи: вверх-вниз! Вниз больше — и хочется упасть на пол.

Туфли А.Г. узнаю на расстоянии. Даже ходит не как все! Выделяется! Приходит первая, уходит последняя. Цокают каблуками, как молоденькая, а сверху посмотришь — седая старуха. И на макушке иногда розовая голова просвечивается. Ха-ха! Так ей и надо, старой деве! Пусть! пусть совсем облысеет, а я буду сверху смотреть! Студентов ее погоню! Думают, я не знаю, кто их послал! Хватит! Уже позабыла!

Как это я забыл принять воду с медом натощак?! Сразу чувствуется. И цвет лица не тот! И нет чистоты в организме. Не хочется ничего. А все Феня! Отвлекла! Только успел снизу вернуться — она уже тут как тут! «У меня водичка мыльная осталась — давайте пол пропрь». А сама шуршит туда-сюда, рубаху новую показывает. Так бы и пнул ногой! Вижу ее насквозь! «Мы, Борис Борисович, через неделю выселяемся! Хозяйка рада, а хозяину жалко. Он тут уже привык. А Иванов завтра переезжает!»

Иванов, Иванов! Вот пусть Иванов и женится на домработницах! Он все картины двумя красками пишет: краплак да ультрамарин. Пусть ему Маша их в ведре разводит! А Борис Борисыч — колорист! Вот дождусь весны — всем им покажу! Уж на этот раз никто мне не помешает! Завистники! Чего только ни придумывают — лишь бы не дать мне осуществить заветную цель всей жизни! То собрание комсомольское, то ремонт капитальный, то на свадьбу пригласят. А это ж всего четыре дня! Ждешь целый год — и вот они пролетели, и зелень уже не та: гру比亚, непрозрачная. Такую пускай Кононенко пишет!

Несомненно, что в 19-м веке главным центром искусства стала Россия, ибо в то время, когда русское искусство достигло наивысшей своей высоты, западное искусство сошло на нет, потому что там художники начали выдирючиваться, отступать от натуры. А это — только начни, только один раз соври — и скатишься в бездну формализма! Опять...»

Где-то на середине дороги Коля задремал и несомненно проехал бы свою остановку, если бы мужчина, сидящий у окна, не попросил его убрать с прохода ноги.

Б.Б. в это время, торопясь и опасливо оглядываясь, вытаскивал из-за головы бумаг древнюю слежавшуюся папку, обернутую в две коричневые от старости газеты и обвязанную почтовым шпагатом. Тщательно осмотрев папку, он с облегчением убедился, что упаковка не потревожена, и тут же засунул ее глубоко в угол, под кровать. Сверху и вокруг нее навалил без разбора старые журналы «Юный художник», стопки студенческих рисунков и акварелей, которые брал на кафедре для хозяйственных нужд. Присев, он обнаружил, что перестарался: матрац под ним выпирал двумя твердыми верблюжьими горбами. Он снова полез под кровать, выбросил оттуда лишнее и снова сел, тяжело, но удовлетворенно дыша. Затем нагнулся, поднял первый попавшийся лист — поясной портрет мужчины, грубо написанный акварелью. Б.Б. помнил этого натурщика. Почему-то называли его «полковником», и проработал он в институте недолго. Может, оттого акварель и не была доведена до конца. Какие-то длинные мазки... красные, оранжевые... «Откуда тут могло взяться красное?! И такое позволяют себе в институте! — сказал вслух Б.Б. с ядовитой укоризной. — Да нам бы в училище за такое Армяков-Козловский...»

Б.Б. покрутил портрет так и этак и прикинул, что его еще можно было бы вытянуть, если бы для начала смыть всю эту непрозрачную гущу... Затем он сложил лист пополам и аккуратно — даром что без ножниц! — выдрал полуэллипс, после чего развернул лист и, довольный конфигурацией отверстия, направился в туалет.

Лампочка, единственная в квартире, оказалась несуразно яркой для такого места, и что-то в ней сразу зажужжало, будто заработал маленький счетчик. Однако Б.Б. не спешил ее выключить. Наконец он увидел в своем новом жилище преимущество. Одно — но неоспоримое. Газ, которым пытался соблазнить его Коля, в счет не шел. От него в воздух попадали опасные для легких выделения. Да и просочиться он мог... Настоящая бомба в доме... Но — собственная раковина! Ванна! А главное — унитаз, в котором не кишит, не урчит неотмываемая дизентерия, «боткина» и сифилис — неизбежный при нынешних студенческих нравах... А запах их курева, который не выветривался даже за ночь! А два пролета скользкой мраморной лестницы! Причем — в кромешной темноте! — поскольку ходил он туда только после вечерней уборки, и то — не сразу, а

когда просохнет! И все равно задыхался от брезгливости, хотя всегда пользовался «гигиеническим сидением» — вроде этого «полковника». Теперь у него появился свой, собственный унитаз — и со всеми этими «полковниками» было покончено.

Б.Б. яростно скомкал прорызанный листок и бросил его в угол, но, подумав, поднял и мстительно изорвал в куски. Ярость эта относилась к давней неприятной истории — настолько неприятной, что Б.Б. старался ее не вспоминать. Тем более, что о ней никто не знал, в отличие от последней истории — с банкой, которая и погубила Б.Б., поскольку... Ну да ладно.

Эта банка, уже упоминавшаяся, подло поблескивала жестью из-под подиума, и красная этикетка «Меланж» была хорошо видна, хотя комната, после яркого электрического света, показалась Б.Б. совсем темной. Верхнюю половину девятиэтажного дома, на который выходили окна Б.Б., ярко освещало заходящее солнце, и это наполняло его новое жилище нежным и таинственным сиянием, странно выявляющим форму каждого предмета. Каждый прышник на штукатурке имел свою тень. Люций Вер на тяжелой казенной табуретке застыл посреди комнаты, будто озаренный внезапной мыслью, что лично ему несчастье, постигшее Б.Б., только на пользу. С тупым злорадством следил он за черным валенком Б.Б., пинающим злополучный «Меланж», который снова и снова выкатывался и упирался в планку. Б.Б. смотрел на упрямую щечу Люция, на шар кудрявых волос, на узкую бородку, раскаляясь от тайного раздражения. Так раздражать может наглый и корыстный бездельник сын.

Б.Б. презирал Люция. Он считал, что рисунок надо делать в натуральную величину, а Люций не умещался даже на ватманском листе. На экзаменах его никогда не ставили. Взял он эту метровую машину потому, что сама шла в руки: пьяный Рябоконь плохо связал формы, так что левую половину головы чуть-чуть выперло, а справа на щее получилась глубокая вмятина. Б.Б. провозился три дня, пока заделал дыры и зачесал выступы. Пригрел пса беспородного, который теперь в благодарность таращился на эту банку и паскудно ухмылялся.

— И кому он нужен? — обратился к другим головам Б.Б. — С этими кудрями! На каждую кудрю — неделя работы требуется! Правда, сейчас, оно, конечно... все дозволяется... Педагог на экзамене говорит: «Прорисуйте хорошо одну деталь!» Каково! Нос, значит, будет готовый, а череп тремя линиями намеченный...

Тупорылый Сократ смотрел, насупясь, поверх головы Б.Б. Будто оглох. Или не желал обсуждать начальство. Такое его поведение Б.Б. обижало, хотя Сократа он в общем-то уважал. В отличие от «Экорше»*. Эта запрокинутая голова, разинутый рот... Будто ему хуже, чем всем! От таких в доме чуть что — только крик и паника.

* Ecotché (фр.) — с содранной кожей, обнаженный; имеется в виду голова учебной статуи Гудона.

Что касается Никколо да Удзано, то и он был себе на уме, но Б.Б. предпочитал его всем прочим. Никколо, по крайней мере, всегда хотел знать, что и как.

— Плохо! Плохо, — кивнул ему Б.Б. — Так я и не написал свою главную картину! Отлучили! Тридцать лет подступался! Лелеял мечту... Подстерегли! Коварно выбрали момент!

Б.Б. с отчаянием отыскал глазами чистый холст, придавленный к стene, и тоненько взывал: как раз наступал этот час... когда молодая зелень на холмах внезапно темнеет, а затем как бы вовсе исчезает. Открываются клубящиеся весенним трепетом пространства, где только солнце золотистой пыльцой обрисовывает наступающие друг на друга профили невидимых крон.

Б.Б. подошел к окну и передернулся — так неожиданно бесприютен был открывшийся ему пейзаж. Темнеющие дома показались ползущими по земле уродами... Гигантское желто-серое небо... Его можно бы хорошо написать, но — спрашивается — зачем такой ужас?! такая безвыходная пустота с этим стальным осколком тучи, свалившимся наискосок неизвестно откуда...

Далеко за домами мелькал испуганный желто-синий троллейбус... как мячик, закатившийся из старого города, куда так рвалась вернуться уставшая душа Б.Б. Так рвальсь, что он готов был выбить лбом стекло, взмахнуть руками и улететь в это желтое небо... Но вспомнил вдруг, что она-то, Душа его, способна лететь, куда хочет, без всякой для себя опасности, и незачем ее томить в этой комнате, еще более нежилой, чем плоская земля под окном... И он решился, не откладывая, пустить ее вслед за троллейбусом, чтобы понежилась в тепле и уюте узких улиц, между ветвями старых каштанов, робко разгибающих детские липкие пальчики. Скорее! На мягкие холмы, посыпанные бисерной майской зеленью, не скрывающей диковинные жесты деревьев... Почему-то Б.Б. полагал, что оттуда дальше видно заходящее солнце.

Б.Б. просчитался. И вдобавок — завозился. Промаявшаяся весь день под простиныей, Душа вспотела, смялась. Пока Б.Б. встряхнул ее, пока пригладил перышки, пока смахнул с них налипшие крошки (Душа у Б.Б. вылетала через небольшую дырку в левом нагрудном кармане), пока... Ну, а потом — непривычная к дальним полетам, она отстала от троллейбуса где-то в районе Брест-Литовского проспекта, заметалась и, напуганная, вернулась домой. Однако Б.Б. не сдался: он примерился поточнее и послал ее не за троллейбусом, в обход, а наискосок от шоссе. Тут она очень быстро и без особых сложностей добралась до улицы Артема, осмелила, оказавшись в знакомых местах, и вовремя свернула в нужный переулок. Обогнула дом с колоннами, где прожила без малого тридцать лет... Но солнца уже не было, и она зависла в нерешительности, озабоченно помахивая крыльышками.

Откровенно говоря, в отличие от Б.Б., она не любила этот дом. Днем, пока Б.Б. занимался с учениками, порхала над верхушками холмов, озорничала, сбивая пыльцу с цветов или утренний иней... а то просто повисала без чувств, без мыслей на солнце, особенно осенью... Ложилась на летучую паутину и ждала, куда отнесет ее бабье лето. Но далеко не летала: пуглива она была, боялась дождя, сумерек. Тогда уж приходилось возвращаться в дом. За ширму, под одеяло. Если, конечно, Б.Б. не затевал какое-нибудь важное дело. Он любил, чтобы Душа участвовала в его мероприятиях. Строили новые натюрморты. Разводили хлорку. Хлоркой протирали полы, смачивали тряпку под дверью и бинты, которыми обматывались дверные ручки. Душа запах хлорки не нравился, но куда было деваться!

С наступлением холодов прибавлялась еще одна напасть. На город накатывали одна за другой волны гриппа, и приходилось вдобавок натирать дверь чесноком. Особенно тщательно — вокруг щелей, в которые проходил зараженный микробами воздух. Душа всегда боялась, что из-за этого чеснока у Б.Б. будут неприятности. Ну, на шею навесил, в карманы наложил — и хватит! Тем более, что простуженные ученики к занятиям не допускались, о чем категорически извещала записка на двери. Впрочем... какой чих, какой кашель разносился по коридорам! Усиленный, умноженный лестничным эхом.

Эхо! Вот что она ненавидела в этом закрученном, как раковина, здании. Никогда здесь не было тихо! Что-то гудело, наступало зловещими напльвами, скрипело, похлопывало, вскрикивало где-то в глубине: «А-а! а-а! а-а-а...» Хотя известно было, что в здании никого нет, даже вахтер вышел за папиросами. Боялась, боялась Душа этого здания! Даже тогда, когда весь их этаж был заселен педагогами и в каждой аудитории жила семья. А то и две! Да еще с домработницами! Когда по мраморным лестницам носились друг за другом дети, высекая своими сандалетами искры, съезжали по перилам, и попки их в почерневших за день трусах неслись на встречного из темноты, как немой кошмар. «А-а-а! А!» И Душа бросалась, трепеща, к жуткому провалу, откуда, как со дна колодца, шло сияние, отраженное красным ковром парадного вестибюля. Вечернюю тьму коридора рассекали вертикальные трещинки света, из которых несло жареным мясом, картошкой, подгоревшим молоком... «Да ничего страшного! Разбила коленку... Задайте к нам, Борис, попьем чаю, индийский фильм по телевизору...» А там — там еще страшнее! Еще одно... Лучше к себе, в хлорку! в чеснок! под одеяло!

И всю ночь — «А-а-а...»

Чего уж там! Она знала, что погубила Б.Б. И так он выйти лишний раз боялся из-за этих гриппов-сифилисов, а она добавляла! Боялась этого туалета, как... Вдруг А.Г. увидит, что Б.Б. туда вошел! Вдруг он там столкнется с кем-нибудь из студентов! — неэтично! И ночью не лучше. Все какой-то убийца мерещился в угловой кабинке. Душа обмирала, трепыхалась... Б.Б., бедный, не знал покоя даже когда запирался на задвижку. Так

нервничал, так дергался, что подложил однажды рисунок на сидение кра- ской кверху. А это, вдобавок, оказалась какая-то непонятная гадость... вроде бы темперу с кастроркой мешали или с каким-то лаком... Короче — вода это не брала. Жуткие красно-сине-серые разводы! Они только езди- ли вверх-вниз под намыленной рукой по бледной коже Б.Б., которая в не- лепо ярком свете умывальной комнаты казалась ослепительно белой! И он стоял, несчастный, перед гигантским зеркалом, ногтями правой руки судорожно сцарапывал эту краску, а левой поддерживал спущенные брю- ки, готовый тотчас же натянуть их, если в коридоре послышатся шаги. И все это здание, полное сквозняков, злорадно поскрипывало и пощелкива- ло десятками дверей, так что Душа билась в истерике об оконные стекла и об это самое зеркало — и несомненно разбилась бы, если бы была, к при- меру, голубем.

Вам смешно! А попробовали бы сами так постоять! Подниматься по темной лестнице в холодных, прилипающих к телу мокрых брюках! «А-а-а...» И вы бы прикусывали расплзающиеся губы! И вы бы заплакали о пропавшей даром жизни! и тоже — вслух!

Нет. Не любила Душа этот дом, даже комната, которую сама же и вы- брала, когда Б.Б. только что поступил в институт. Конечно, тогда было другое дело! В комнате стояло пять кроватей. Да и не столько комната ей понравилась, сколько Юра и Микола Ткач, которые туда уже заселились. А потом... Да нет! Она еще до истории с Миколой чувствовала, что засто- ялось в этой комнате по углам что-то давнее, нехорошее. Но и другие комнаты были не лучше. Да и Господи! Разве приходилось выбирать?! Это же была такая редкостная удача: сразу после института получить свой собственный угол! И вдобавок с таким пейзажем за окном! Она была уверена, что теперь-то Б.Б. его, наконец, напишет.

Ждала, ждала... А у него все какие-то общественные дела... Потом этот «Берия», а за ним — «Каганович»... Что-то в их лицах насторажива- ло Душу... делало воздух в комнате гнетущим... Тогда она и завела при- вычку торчать неподалеку в оврагах, на холмах. Все соблазняла Б.Б.: смо- три, вот оно, вот! Холмы весной дышат! Деревья наступают друг на друга прозрачными слоями, как кружева! Не откладывай! А он и после «Ка- гановича» все не мог собраться. Пошли ученики... Хлорка... чеснок... Люций Вер... скисшиенатюрморты... Что может быть скучнее светлой комнатах, где пятеро детей без всякой охоты рисуют гипс! По десять раз пе- перисовывают «вступительную» композицию, а потом еще перекальзывают ее иголочкой на чистый лист. Душа всегда побаивалась, что однажды экзаменаторы обнаружат эту уловку, и тогда не избежать Б.Б. большого скандала, но переубедить его не удавалось, только портила ему настрое- ние.

Короче — не стала она залетать в свое окно, попрощалась с улицы. Удивилась, как это за день оно стало таким же неживым и пугающим, как

и все остальные, брошенные полгода назад — и полетела прочь, лишь бегло глянув в освещенные окна вестибюля, где дежурный пил чай над черным телефоном, а красный ковер за его спиной отползal наверх по лестнице, в темноту.

Да. И хорошо она сделала, что не вошла, а то бы расстроилась еще больше. Там на двери, рядом с запиской «Новый адрес Б.Б. Локтева...» висел клочок бумаги с карикатурой: Б.Б. в черных трусах и с крыльышками за спиной сидит на окне, свесив ножки. Принимает солнечную ванну. Глаза у него закатились от блаженства. Особенно удалось сложное движение его бровей: левая вместе с параллельными ей морщинами надвинута на глаз в мучительном недоумении, правая — в недоумении счастливом — взмывает вверх. Смешнее же всего было то, что это выражение в точности повторяли складки кожи между животом и безволосой грудью.

Вообще-то, к карикатурам на Б.Б. ей было не привыкать. Особенно возбуждали студенческое остроумие его валенки. То он выглядывал из пробитого в голенище окошка. То вossaдал на одном из них в позе роденовского «Мыслителя» со сливным бачком за спиной. То летел как в ступе, повязанный бабьей косынкой, с помелом в руках. Или... Да, но то все Души не касалось, а это был бы прямой намек, укор именно ей. Недосмотрела. Вдруг потеплело, разом, резко — и она размякла, утратила бдительность. То всегда всего боялась, надоедала Б.Б. своими предчувствиями... А тут — расселась с ним на окне, разомлела! Не подумала, что солнечная ванна Б.Б. сорвет урок по всей школе. Даже когда дети высунулись в окна, не смущилась, не запретила ему махать им рукой и подмигивать.

Да, что-то странное сотворила с ней эта весна. Видно, судьба была уйти с обжитого места, оборвать с кровью корни... А как иначе объяснить ее последний промах! Он-то и оказался роковым. А вовсе не солнечные ванны. Поздно вечером... вдруг... распелась! Захотелось ей, чтоб Б.Б. окно распахнул! Вдохнул синий упоительный воздух, запахи цветения! услышал, как... Вот и схитрила, стала запугивать! На лестнице мокро, в умывальнике сквозняки, воспаление легких, двусторонний отит... Слышишь, двери стучат... «А-а-а...» Ну он и решился, распахнул окно. Да так и замер! Вся ночь двинулась ему навстречу, как прекрасная женщина, и он стоял, счастливо обмерев, минут пятнадцать! пока вспомнил, зачем, собственно, открыл окно, и полез за банкой. Хорошая, кстати, банка, плотно закрывалась... И как плеснет — широко, вдохновенно, чтоб подальше... А Душа и не вспомнила, что скоро неделя, как кусты под окном вырубили, заасфальтировали дорожку и наставили лавок. И тут же визг! Уже через минуту в дверь стучали... Б.Б., одетый, дрожал под одеялом, делал вид, что его разбудили, а там кричали: «Мы видели, из какого окна!»

Возвращаясь к новому пристанищу, Душа пообещала себе, что не станет больше навещать прежние места, бередить себя воспоминаниями.

Между тем Б.Б. не сидел сложа руки. Он заметил, что Сократ развернут и освещен замечательно удачно, и решил, не откладывая, пристроить ему драпировку. Б.Б. вылез на табуретку и ловко задвинул за голову Сократу дощечку с красным сатином. Остаток ткани путем хитрых манипуляций вывел вперед и уложил благородными складками, отчасти прикрывшими свалку под подиумом. Он представил себе, как изумится Коля, обнаружив такие перемены, и воодушевился настолько, что едва не сверзился назад затылком. Хорошо, что под рукой оказалась труба отопления. Не дождавшись, пока утихнет сердцебиение, он взялся за благородство Никколо. Часть зеленої драпировки из-под Никколо он изящно отвел вбок на табуретку, массивная нога которой висела над бездной, и построил на ней натюрморт. Чуть выше, между двумя подиумами, он проложил мостиком доску, накинул на нее попавшуюся под руку пижамную куртку и, придирично щурясь, расставил гипсовую дребедень с Экоршем в центре. Новое положение вещей создавало замечательное преимущество: в любое место свалки можно было воткнуть фанерку, так что получалась устойчивая полочка, годная для постройки натюрморта. Он тут же и устроил их штук восемь из всего, что удалось собрать под ногами и в холодильнике.

Коля действительно охнул, когда явился утром. Он еще на лестнице понял, что Б.Б. обживается: в парадном сильно пахло хлоркой и явственно отдавало чесноком. Дверная ручка квартиры Б.Б. была тщательно обмотана влажным бинтом. Половину коридорчика занимала мокрая клетчатая тряпка. Обреченно вытирая о нее ноги, Коля был уже готов к чему угодно. Но увидев «Пергамский алтарь», созданный за ночь Б.Б., просто потерял дар речи. Учитель весь светился от ликования и потирал руки.

— Вы что же, головы сами таскали?! — оживил наконец Коля.

— С ума сошел! Инфаркта мне не хватало! Мозгами надо шевелить, мозгами! Ну что, здорово?

— Здорово, — промямлил Коля. — Только там же вещи остались, за подиумом и внизу. Все разбирать придется.

— Да ты что! — вскрикнул Б.Б. и покраснел всем лицом. — Такую красоту?! Обойдусь без того барахла. Что там осталось?

— Ну... Кастрюлю вон вижу, ящик... Краски, наверно... Грелка... Чемоданчик коричневый...

— Грелку достань.

Коля присел на карточки и стал протискиваться плечом за подиум. «Мостик» под Экоршем прогнулся.

— Оставь! — испугался Б.Б. — Пусть так и будет! Ну ее. Она все равно пластирем заклеена. Буду бутылками пользоваться. В Англии все пользуются бутылками. А тут, Коля, холод и сырость хуже, чем в Англии, солнца никогда не будет. Борис Борисыч теперь — лягя подземелья.

Он побрел на кухню. Тошно завоняло валерианой, заболталась в стакане ложечка.

— Там мама вам пирог передала! — крикнул Коля. — В кульке лежит.

Б.Б. помыгчал. Вернулся в комнату, показал пальцем на закрытый рот. Коля кивнул понимающе.

— А у вас в доме, видно, похороны, — сказал он. — Я шел — там люди стояли... разговоры похоронные.

Б.Б. поморщился. Не любил он похорон. Особенно не любил марш Шопена. Всегда вздрагивал, когда доносились откуда-то это медное, долбящее землю «бу, бу, бу-бу...» А как трубы взвояют, запрокинувшись к небу, совсем жуть брала. Он даже затыкал уши. Несносная музыка! Вот уже, кажется, кончилось, удаляются, уходят — и вдруг нате вам! — начинают заново, будто разворачиваются всем оркестром назад.

Б.Б. не досчитал до шестидесяти секунд и проглотил свою болтушку, только бы Коля не стал развивать ненавистную тему.

— Давай Люция Вера задвинем вон туда, в угол. Как раз закроет весь беспорядок, — предложил он бодрым голосом. — Ты толкай табуретку, а я буду страховать. — И он обнял императора повыше ушей.

— Двигают! — сказала старуха, живущая под Б.Б., и мотнула головой на свой потолок.

Соседки, собравшиеся под ее окном, оживились.

— Я ж говорила! — затараторила одна. — Гроб еще рано утром завезли. Я угол видела, когда заносили.

— А ночью топали, топали. До трех часов, наверно.

— Хоть бы сегодня увезли! — стала жаловаться молодая, толстая. — Собака всю ночь выла. Нет сил!

— И наша выла. Чуют...

Тут что-то сильно грохнуло в глубине дома. Послышался далекий женский визг. И снова грохот. И снова визг, но теперь уже ясный, проявившийся, как переводная картинка, и всем знакомый — визг дворничихи Паши: «Лю-у-ди! На по-о-мощь! Убива-а-ют!!!» И, судя по запинкам и перепадам этого голоса, а также топанью и шарканью на лестничной клетке, Паша не преувеличивала.

Толпа неуверенно качнулась, но, скорее, в сторону от парадного. Предполагали, что оттуда должны вырваться растрепанная дворничиха и ее матом ревущий супруг, а ему, пьяному, не дай бог попасться на дороге. Опыт уже имелся. Но произошло нечто не положенное по сценарию. Гневный мужской голос перебил Пашкин визг: «Не смей бить женщину! мерзавец!» А затем новый грохот и короткий вскрик: «Уби-и-ли!» Такой же точно, как накануне, когда вносили труп. Тут соседи ринулись-таки на лестницу. На пяти этажах захлопали двери, замелькали в лестничном пролете головы — и все увидели вчерашнего покойника. Его незабываемый запрокинутый профиль, четкий нос, высокий лоб... Теперь уже без простины. Он лежал как бы сломанный пополам в пояснице: худые ноги в пижамных штанах раскинулись поперек лестницы, одна — босая, желтень-

кая, другая — в огромном черном валенке, который короткими, но неумолимыми толчками сползал вниз. Другой валенок валялся у порога распахнутой настежь квартиры, в глубине которой виднелось жуткое сооружение: все эти вчерашние головы, выставленные наподобие хора. И казалось, что это именно от них так страшно разит хлоркой... И еще казалось, что все они как-то разом подались к двери, пытаясь понять, что случилось с их хозяином.

Хозяин лежал в уже описанной позе. Испуганные соседи изучали его бледное, с белыми губами лицо... необыкновенно тщательно выбритое... густые светло-русые волосы, как-то трогательно откинувшиеся вверх и набок и постепенно намокающие бурой кровью из лужи, которая все разрасталась на кафельном полу, тихо отходя под широченный вельветовый пиджак... коричневый, накинутый прямо на голое тело, точнее — на сиреневую майку, так что целиком была видна красавая стройная шея с дикарским ожерельем из зубцов чеснока. И как непонятная подробность кошмарного сна — сухие каштаны на полу, на лестнице... катятся, покачиваются, спрыгивают со ступеньки на ступеньку...

Теперь кричал мальчишка раздражающим подростковым баском:

— «Скорую!» «Скорую» быстрее! — И еще: — Это я! это я виноват! Я должен был его удержать!

Так что Паша охотно поверила в его вину и на него же напустилась:

— Чего вы сюда выскочили? Кто его звал! в семейные дела мешаться!

А милицию, которая подоспела раньше «скорой», она уверяла, развозя ладонью кровавые усы, что муж ее и пальцем не тронул, что это она свалилась со стула, когда снимала белье, что во всем виноват покойник: подвернулся подбородком под локоть, а у нее, у Паши, трое детей, и без мужа их не поднять.

Повторимся: что за несчастная судьба у человека! Какая бы беда с ним ни приключилась, для всех вокруг — потеха и цирк. Нет-нет! Успокойтесь: на этот раз Шопен не настиг Б.Б. Однако неизвестно откуда прокатился по институту слух, будто бы Локтев умер. В который уж раз! И все, как обычно, поверили, засуетились... Бросились расспрашивать Колю, как только он показался на пороге школы. И хотя Коля, излагая суть происшествия, сильно сгущал краски, все тут же развеселились, и пошла по школе, по институту история о драке. Очередной анекдот. А что смешного в том, что муж дворничихи, отталкивая Б.Б., попал ему локтем в кадык, отчего Б.Б. задохнулся и потерял сознание? И крови он потерял много, хоть и натекла она из пустяковой ранки: грехнувшись в обморок, Б.Б. угодил затылком на кусочек гравия. Или для того, чтобы кто-нибудь отнесся к Б.Б. всерьез, ему следовало умереть?

Взять хоть больницу — уже к вечеру там ходили легенды, оскорблявшие Коля. Больные собирались под дверью палаты Б.Б., откуда доносился бабий вой: «Зачем! Зачем я вмешался! Теперь он ждет меня в парадном,

чтобы добить! А если его посадят — она сживет меня со свету! Мне нельзя! мне нельзя возвращаться!» Коля считал, что Б.Б. абсолютно прав, и собирался поговорить об этом в институте, хотя и сам не знал, на что надеяться. Разумеется, никто и не подумал выслушать Колю. Зато тут же неизвестный автор набросал картинку, изображающую Б.Б. в виде Георгия Победоносца с копьем и, конечно, в валенках. Особенно хорошо получились поверженный пьяница — «эмий», и дворничиха — «царевна». Коля с неоправданной злостью изорвал этот рисунок. Возможно, ему от природы недоставало чувства юмора, а может, возмутила быстрота этой метаморфозы: только что — испуг, сочувствие, готовность помочь — и вот уже карикатуры, вот уже Мишка Зайцев вытащил похищенный при перезде растрепанный дневник, забрался на подиум и читает его вслух, кривляясь, подывая и копируя манеру речи Бориса Борисыча...

«28 сентября, 20 ч. 35 м.

В теменную кость с левой стороны как будто засаживают кусок раскаленной жести, согнутой в гармошку, каждые тридцать-шестьдесят секунд. Проходит насквозь до половины мозга. А за ухом так и вгрызается, так и вгрызается к той же точке по перпендикуляру. Знаю: когда они сойдутся в этой точке, произойдет инсульт.

22 ч. 30 м.

Принял чабрец и пустырник, а бессонница не отпускает.

2 октября, 8 ч. 45 м.

Проснулся и сразу обнаружил, что мозг наверху отлепился и свободно болтается в черепе, вызывая изнурительную боль.

11 ч. 26 м. Слабительное не подействовало.

15 ч. 00 м. Слабительное не подействовало. Непийводина дочка — подлая! Снова бросила мыло в воду, чтобы меня разорить! Знает, что у меня пенсия 18 рублей, что я в нищете прозя-»
.....

«...же и грамотности настоящей у них не было. Что может Франция противопоставить передвижникам! Где их «Бурлаки на Волге»? Где их «Боярыня Морозова»? Ага! То-то! Делакруа? Чепуха! Эта его «Свобода на баррикадах» без воздуха и без пыли! Как постановка театральная. Мужики в шляпах! А один без штанов! Почему вдруг без штанов?! А сама эта «Свобода»? Как белая сосиска в желтом платье! Лицо поганое, рука неправильно стоит! Вот вам и французы! Тряпками позакидают, чтоб не видно было, что не знают анатомии. А ихний Энгр хуже всех! Насажал полную баню голых баб — все безграмотные, без скелетов и без мышц. А еще академик! Или Ренуар... Намалюет дамочку кое-как, подсушит, а потом сухой кисточкой туману наведет, чтобы скрыть ошибки.

11 октября.

Проснулся и лежал, пока в школе не зазвенел звонок. От этого звонка всегда что-то дрогнет внутри. Нехорошо: потом сердцебиение. Надо засекать время и затыкать уши.

19 ч. 00 м.

На сгибах кишечника что-то цепляет и мешает прохождению пищи. Ощущается озноб и такой звук: тенн! тенн! А потом еще — совсем тоненько — о-ок!

Подлая, подлая, подлая дочь Непийводы!

12 октября.

Так что же все-таки: почка или радикулит?!»

Ну и что тут смешного? А все гогочут, просто падают с парт, и даже Коля с трудом удерживает улыбку. Он чувствует себя виноватым.

Смирился же, наконец: да, Борис Борисыч — человек-аттракцион! Ну и что? Ведь, в конце концов, он сам когда-то к этому стремился. Пел, плясал, устраивал розыгрыши. Вот все и привыкли. Взять такое, например. В общежитии, в той самой комнате... Утром пораньше привязывают к лампочке нитку. Двое, присев на пол, раскачиваются за ножки кровать спящего товарища, третий дергает за нитку. Человек просыпается и под воздействием памяти о недавнем землетрясении выбрасывается в коридор в одном белье.

Или вот еще — тоже сценарий и постановка Б.Б. Это уже в Никольской слободке, на практике. Поздно вечером, к тому моменту, когда на дороге должны появиться деревенские девушки, идущие из клуба, труппа Б.Б. обматывается с головой простынями и заходит в озеро по грудь. По сигналу заныривают, а когда девушки появляются, начинают не спеша, в живописном беспорядке, в полной тишине подвигаться к берегу. Представляете? Ну вот. Их тогда чуть не отправили в город за такие шутки. Или еще... Да разве все перескажешь! И всегда заводила — Б.Б. И всегда смеется громче и дольше всех, будто нарочно... а потом долго хватает воздух открытым ртом, прижимает локоть к левому боку. Тоже вроде бы нарочно. Все и привыкли. Тогда же, в Никольской слободке, когда профессор Крестовский влез белыми брюками в краску, все решили, что это Б.Б. для смеху перепачкал траву. А он просто палитуру уронил и не обратил на это внимания.

Да что там! Взять хоть это самое «салто» на заводской трубе. В Смарканде, во время эвакуации. Человек взирается на двадцатиметровую высоту — сам, кстати, вызвался — написать по кругу: «Все — для победы!» И вдруг задевает что-то ногой — и взлетает ввысь! переворачивается через голову! — а внизу — рваное железо! ржавая арматура, готовая принять его жалкую фигурку на копья! Но Б.Б., описав круг, аккуратно ста-

новится на обе ноги посреди метровой площадочки! И с тем же ведром в руке, а краска из ведра еще летит вниз на замерших от ужаса зрителей... И что же — через пять минут уже все хохочут! Человека током рвануло! Его могло бы сейчас разбрьзгать по всему двору, как эту краску, а ему хлопают, будто клоуну! Но сам он чем лучше? Разве он не пялил вперед грудь? не подмигивал так, будто готов сейчас же повторить свой фокус? Но вот что никак нельзя объяснить: через неделю — письмо из Ташкента: «У нас прошел слух, будто погиб Боря Локтев. Невозможно в это поверить: он был такой... Мы только сейчас поняли, как его...»

Любили! А как выяснилось, что жив — тут же смеяться. Над всем, включая большое сердце. И сразу — карикатура: Б.Б. танцует на трубе в пачке, сетчатых чулках и парике Мэрион Диксон, а изо рта — облачко со словами: «Я из пушки в небо уйду! Диги-диги-ду-у!» Жалко, что тогда еще не было валенок. Валенки появились... Постойте-постойте... Где-то через год после расстрела Берии. Году в пятьдесят пятом... Валенки, Берия... Какая связь? Да непосредственная. Знаменитая «Клятва другу», дипломная работа Б.Б., за которую он получил Сталинскую премию, место преподавателя и собственную комнату (и тех самых завистников, о которых вечно толковал), — так вот эта картина представляла собой огромный пейзаж. Большую часть его занимало небо, вечереющее, бесцветное... дальний горизонт... Одинокая могила — и над нею задумчивый Берия в раззывающемся плаще. Нет, чтобы выбрать какого-нибудь Ворошилова, Буденного! Лицо ему показалось поинтеллигентней! Лицо... Вещь обманчивая. Смотришь — вроде действительно интеллигентное, приятное, добродушное. Очки... А как скажут тебе, что это злодей, мерзавец, каких мало — сразу видишь: точно! Свинья рожа, взгляд неискренний, улыбка подлая. Ничего по лицу нельзя понять!

Гнойная правда сочилась в ночь из черного репродуктора: «...являлся агентом разведок... систематически совершал...» Б.Б. лежал, свернувшись под одеялом, и задыхался от страха, вздрогивал от каждого звука. Ждал. Опыт предыдущих лет учил, что были у него основания бояться ареста. Ну что ж, достаточный повод для того, чтобы получить обострение. И странностями обзавестись.

Друзья Б.Б. искренне беспокоились за него. Но когда стало окончательно ясно, что никто не собирается трогать Б.Б., все снова завеселились. Рассказывали со смехом о том, что он боится выходить на улицу, рисовать, работать... Короче, получалось, что заболел он по доброй воле, но перестарался. А главное — понапрасну. Всего-то и было, что картины Б.Б. повыбрасывали из музеев.

Ну так как же не повеселиться над героическим подвигом Б.Б., рисковавшего жизнью ради спасения неблагодарной дворничихи! Как не изобразить двух санитаров, ведущих упирающегося Б.Б. по лестнице домой! Как не увековечить его забинтованную голову! Ведь известно уже, что

ранка безобидная. Известно, что дворник не убил Б.Б., когда вернулся из тюрьмы через два месяца. А что он боялся выйти из своей квартишки — так он и раньше не выходил. В общем, ссылка на окраину ему не повредила. Волновались, что он там останется один, без помощи, а он не только старых учеников не растерял, но еще и новыми оброс. И не удивительно: дешевле трех рублей никто в городе не брал, а он — бесплатно. Да и левачить начали многие педагоги, а у него школа строгая, академическая. Как-никак, ученик Армякова-Козловского и такое прочее. Так что напрасно Коля сердился, возмущался человеческим легкомыслием и неблагодарностью.

Бедный Коля, не знал он, что приближается срок его собственного предательства. Неожиданного и даже как бы случайного. Скорее всего, ничего бы такого не произошло, не появившись на горизонте Вика.

Вику направил к Б.Б. Юра Коваленко, с которым когда-то она училась в студии Фроловского. Встретились на выставке. Юра пожаловался Вику на сермяжную скуку в институте. Она рассказала, что завалила экзамен по рисунку. Он посмотрел Викины работы, сделал кое-какие замечания и в конце концов сознался, что, занимаясь у Фроловского, бегал тайком к Борису Борисычу Локтеву, что это, конечно, неэтично, но так делали многие ученики Фроловского, поскольку Фроловский совершенно не давал того, что нужно для поступления в институт.

Не окажись при этом разговоре мать Вики... Но она оказалась. И уже через день понуряя Вика стояла на лестнице, как раз там, где в свое время покоилась нижняя часть тела Б.Б., а мать ее стояла на месте давно смытой кровавой лужи. И звонила... звонила... Здравый смысл требовал развернуться и уйти, но Викиной маме было досадно возвращаться из такой дали ни с чем. Кроме того, она знала от Юры, что Б.Б. очень болен и уже лет двадцать как не выходит на улицу. А значит, вариантов было два: либо «скорая» увезла его в больницу, либо он находится в квартире, но по какой-то причине не в состоянии открыть дверь. И вполне возможно, что дверь придется ломать.

Этими мыслями она поделилась с дочерью и собиралась уже позвонить в соседнюю квартиру, но тут дверь Б.Б. дрогнула и резко распахнулась на всю длину цепочки. В открывшейся щели блеснули глаза — будтобитое стекло упало в воду. Затем стали постепенно проявляться и все про чие подробности, нам уже знакомые. Ибо коричневый пиджак поверх сиреневой майки, а также валенки на босых ногах не были следствием торопливых действий человека, услышавшего женский крик о помощи. Они представляли собой повседневный деловой костюм Б.Б., продуманный до мелочей. Чего мы еще не видели — так это лица Б.Б. в его официально-отчужденном выражении. С удовольствием отметим: лицо было красиво. Особенно лоб с высокими светлыми висками, с романтично накатывающей русой волной без единой сединки. Губы Б.Б., редкой, совершенно по-

юношески трогательной формы, были напряженно сжаты. От уголков рта поднимались кверху застенчивые складочки, ограничивая с двух сторон верхнюю губу, так что она не сходила, как обычно, на нет, и имела выражение вдохновенной готовности к улыбке. Да и голубые глаза стали хорощи, как только немного успокоились.

— Вы к кому? — подозрительно начал Б.Б., хотя уже заметил и белое платье Вики, и длинные — по всей спине — волосы, и рижскую клетчатую папку, распирамую рисунками.

Мать Вики подробно изложила ему, что адрес взяла у Юры Коваленко, что в прошлом году Вике поставили двойку по рисунку, хотя все уверяли, что она очень способная. Б.Б. слушал недоверчиво и не спешил сбросить цепочку. Потом вдруг решился и широко раскрыл перед ними дверь.

Из квартиры разило хлоркой, чесноком и еще чем-то затхло-кислым. Вике почему-то казалось, что это запах сиреневой майки. Чувствительная к запахам, она тут же начала задыхаться, побледнела и даже не пыталась вникнуть в невнятные стенания Б.Б. Захлопнув дверь и заперев ее на две задвижки, Б.Б. вдруг весь как-то раскис и тоненько затарапорил:

— В ужасный момент! В ужасный момент моей жизни вы попали! Уничтожили меня завистники! Предали на растерзание низким людям! Лишили последнего смысла жизни! Придется мне распустить учеников. А как я буду без них существовать!

Вика не улавливала смысла в его словах, поняла только, что Б.Б. им почему-то отказывает, и испытала от этого большое облегчение. Ученики — их оказалось довольно много, в основном девочки-пятиклассницы, смурные и напуганные, — повалили из ванной комнаты, а двое выбрались из стенного шкафа.

— Продолжайте работу, — строгим мужским голосом скомандовал Б.Б.

Стараясь не шуметь, они заняли свои табуретки и без вдохновения зашаркали карандашами, забулькали в воде кисточками.

— Вынужден, вынужден отказать. А ведь все родные, родные люди, — снова заскулил Б.Б. бабьим голосом. — Вот это — дочка моего лучшего друга, — указал он на затравленную крепышку с бантиками. — А это — Коля! Я учу его уже больше шести лет! Он мне как сын, можно сказать! Душу вложил! А теперь вынужден бросить на произвол судьбы. Остаться, так сказать, без единственной своей последней опоры. Я так и знал, что эти низкие люди мне отомстят! Хотя его посадили не за меня, а за жену! У меня пенсия — восемнадцать рублей. Как я могу из такой пенсии платить налоги?! Оболгали меня! А я денег с людей не беру! И не буду брать. Борис Борисыч искусством не торгует!

И Б.Б. зарыдал, не скрывая лица. Тут сразу видно стало, что черты его несколько простоваты, что вовсе ему не за тридцать, а по меньшей мере — за пятьдесят. Длинные белые зубы, разделенные треугольными ще-

лями парадонтоза, пугали. Будто обнажилась страшная тайна: что человек этот, минуя стадию старости с ее обычными атрибутами, на ходу превращается в скелет. И вздорную эту мысль подтверждал подозрительный грохот в валенках. Казалось, под черным фетром болтаются обнажившиеся кости.

Но всего страшнее был двойной голос Б.Б. Будто он говорит, а кто-то подвывает ему. И, пожалуй, что Экорше — своим разинутым пыльным ртом. Да Удзано улыбался, как неискренне сочувствующий сосед, и на лбу его красовалось пятно, похожее на засохшее яйцо — след кухонной баталии. Слева от его плеча догнивали два яблока рядом с заплесневевым ломтем хлеба и глечиком, а пониже роились мошки вокруг куска вишневого пирога. Именно этот пирог изображала «дочь лучшего друга», и, судя по замученному виду ее акварельки — уже давно. Сидела она ссутуясь, почти касаясь носом рисунка, — очевидно, боялась рассмеяться.

Душа Б.Б. буквально трепетала. Знала, что Б.Б. не выносит эту девчонку, и если та рассмеется — произойдет катастрофа, скандал. Что Б.Б., в его расстроенном состоянии, не удержит даже присутствие посторонних, и он покажется им в наиневыгоднейшем свете, возможно, даже отлучит паршивку, и тогда эти двое подумают о нем Бог знает что.

Так уж вышло, что Душа Б.Б. Вика понравилась вопреки всякому здравому смыслу. Это длинное белое платье с бледным цветком на юбке, эти длинные волосы... длинные негустые ресницы, светлые глаза, готовые в любую секунду налияться слезами... Нравилась. Хоть и ясно было, что она с гонором, строптива, а рисовать как следует не умеет. Как и все ученики Фроловского. Но преобладал надо всем... корыстный интерес. Почему-то Душа сразу уверовала в могущество Викиной матери. Как только услышала, что эта дама — юрист, так и повисла у нее на юбке в немой мольбе, перебивающей бессвязный лепет Б.Б. И дама вникла, выудила из путаного потока слов нужное и перехватила инициативу. Она тоже, хоть и по-своему, оказалась человеком, который живет как бы на сцене, как бы перед зрительным залом. Так где-нибудь в провинции... хороший ресторанный тенор... подходит к столику блистательного незнамокца и поет, обращаясь к нему, «Очи, — например, — черные», а тот, благосклонно дослушав первый куплет, поднимается — и подхватывает мощным оперным голосом...

Б.Б. даже сел, когда Викина мать взялась излагать своими словами суть дела.

— Значит, так! — начала она. — Низкая неблагодарная женщина заявила в финотдел, что вы якобы занимаетесь частной практикой и не платите подоходного налога. Вы получили повестку, но в указанное время в финотдел не явились...

— Какой налог! У меня пенсия восемнадцать рублей! Я инвалид третьей группы! — втиснулся со своим припевом Б.Б., особенно напирая

на слово «третья», будто это некая высшая стадия, но развернуться ему не удалось.

— Успокойтесь! Перестаньте прятаться! Отдайте эту повестку мне! Завтра я им устрою! Они еще придут к вам извиняться!

Затем она изложила дикторским голосом биографию Б.Б. Он и не представлял себе, что успел ей столько рассказать. Особенно же потрясли Б.Б. тонкие обобщения, с которыми она осветила его обстоятельства. У Б.Б. посветлели глаза, сомкнутые губы трепетно подергивались в восторженном изумлении. Он снова был похож на юношу. Действительно, он уже двадцать лет прикован к дому. Не может сам ни выбросить мусор, ни купить себе хлеба, а между тем — единственный! — бросился на помощь женщине, подавая своим ученикам пример гражданского мужества! Действительно, будучи учеником известного передвижника Армякова-Козловского, он является мостом, соединяющим классическое и современное искусство. Действительно, дети — его единственная связь с внешним миром, а забота о нем оказывает на них дополнительное воспитательное воздействие. И лишив Б.Б. этой связи, государство обязано будет взять на себя заботу о человеке, который чудом существует на восемнадцать рублей.

— Вот именно, вот именно, на восемнадцать рублей! — вдохновился Б.Б. — Другой на восемнадцать и три дня не проживет! А я даже откладывать мог бы! И ученикам своим, так сказать, этот опыт передаю. Впервых, — тут же начал он делиться опытом с Викиной матерью, — барахла не надо покупать. Дорогую вещь купил один раз — и она тебе всю жизнь служит.

И он потащил ее к стенному шкафу.

Б.Б. по очереди вытащил оттуда тяжелое синее пальто, старомодный коричневый костюм, хорошо спицый из дорогого бостона, шелковую рушашку.

— У меня там еще есть кое-что, — указал он на грандиозное сооружение, увенчанное гипсами и натюрмортами. — Но ни к чему оно все, лишнее! Каждая вещь должна быть продумана — для чего она тебе!

Душа так вся и заметалась! Не хотелось ей, чтобы Б.Б. расходился при Вике, но остановить его было уже невозможно.

— Художник, — все сильнее распался Б.Б., — должен выбирать, что для него важнее! Искусство — или каждый день воротник стирать на рубахе, время тратить! Я к этой майке, — он даже расстегнулся для наглядности, — пришел путем поиска! В ней нет ни воротника, ни, извините, подмышек! Опять же цвет! Темную майку, к примеру, вываривать не надо. С вываркой оно как: вываришь три раза, и пошло все дырками! Будь добр, новое покупай, бросай денежки на ветер! Поэтому Борис Борисыч купил себе майки фиолетовые, или, как мы, художники, выражаемся для красоты, — сиреневые. Вы можете спросить: почему фиолетовые, а не голубые, к примеру? А я вам отвечу: фиолетовый цвет — не то что го-

любой, он желтизны не боится, а когда полиняет, так даже еще лучше становится! Теперь пиджак. Вельвет, чтоб вы знали, самая лучшая ткань — ему сносу нет! При том у него вид — артистический! И к телу приятно, а главное — ворса отталкивает грязь! Или вот носков я, к примеру, не ношу: от них одна вонь! А валенки имеют лечебный эффект: грубая шерсть. Если брать большой размер, нога не потеет.

И он сочувственно поморщился на Викины узкие туфельки. Душа прямо вся измаялась! Видела, видела, что не стоит об этом при Вике, что она вот-вот расхохочется! Или расплачется, вон и глаза уже полны слез — сейчас вскочит и убежит, а мамаша не пойдет ни в какой финотдел. И Коля таращился на Б.Б. с мольбой и осуждением. Тоже... проникся...

Нет, не была Вика красива. Но что-то в ней было... Станный наклон фигурки, эти нежеланные слезы в светлых глазах, эти влажные ресницы... Душа все видела и жалела Колю. А Б.Б. тоже видел, но не жалел и раздражался, глядя, как у Коли отчаянными рывками ходит туда-сюда острый кадык. Знал Б.Б., чего в ужасе ждет от него Коля, знал! И в глазах его уже поблескивала веселая жестокость. Но — удержался. Свернул. На каштаны. Погромыхал в валенке, загреб из кармана целую горсть.

— Знайте, вот это — спасение от всех болезней. Если б не это — Борис Борисыча давно уж не было бы в живых. Я, — он сделал паузу, будто боялся оглушить собеседника своим страшным сообщением, — ревматик!

— Да, — с весьма умеренным сожалением покивала Викина мать. — У Викочки тоже ревматизм.

— Что ж вы раньше не сказали! — вскричал Б.Б. так, будто только что узнал, что Вика — родная его сестра по отцу. — Беру, беру, хоть и знаю, что работы негодные! Знаю, как они рисуют у Фроловского: никакой школы! Я всех его учеников доучиваю! В институт готовлю. Общее дело делаем: он любовь к искусству прививает, а я шлифую, можно сказать, брильянты.

Далее Б.Б. перечислил двадцать-тридцать имен, и при каждом имени Вика и мать ее чуть не вздрагивали и обменивались взглядами, полными испуга и удивления.

— Встречу Фроловского — расцелую, — продолжал воодушевленный их реакцией Б.Б. — Брошусь на шею! Большое, скажу, дело делаешь!

— Вы знаете, — деликатно замурлыкала Викина мать, — мы бы не хотели, чтобы Михаил Исаич узнал о том, что мы обратились к другому педагогу... Он человек самолюбивый, можно сказать — ревнивый... И к тому же сердечник, после инфаркта... Не хочется, чтобы по нашей вине...

— О чем речь! — великодушно повел плечами Б.Б. — Никому не скажу! Он, наконец, сел, раскрыл Викину папку и произнес с торжеством пророка, убедившегося в правильности своего предсказания:

— Конечно! Так и есть! Способная девица, но совершенно запущенная! — И застонал капризно: — Если б вы хоть на пару месяцев раньше обратились!

Мать укоризненно кивнула Вику.

— Ну что теперь! — продолжал Б.Б. — Поздно! Сделаю, что могу, но... Ничего не гарантирую. Постараюсь все вложить в самый короткий срок...

Бедная Душа Б.Б. чувствовала себя корыстной лгуньей. Она видела ясно, что подготовить Вику в институт не удастся и за год. Ее рисунки не просто не соответствовалициальному уровню — они как бы настаивали на своей безграмотности с какой-то наглой мощью. Самое странное, что Душу Б.Б. они чем-то привлекали, и она суетливо порхала над папкой, стараясь получше разглядеть с быстрым ветерком сменяющие друг друга листы. По большей части это были портреты, нарисованные жирными черными линиями с небрежной подтешевкой в самых неожиданных местах, создающей иллюзию объема вопреки всем правилам. Очевидно, Душу подкупала какая-то чрезмерная выразительность этих лиц.

Итак, лица были безусловно неправильны. Б.Б. неодобрительно морщился, а вместе с тем, кроме отдельных незначительных мелочей, ни к чему не мог придаться, пока не наткнулся, наконец, на изображение гипсовой головы Вольтера.

— Ну вот! — чуть не захлебнулся он радостной слюной. — Какой же это гипс?! Это ж какая-то проволока гнутая! Где здесь объем? Где здесь фактура?

Душа, растерянно помахивающая крыльышками между рисунком и носом Б.Б., с недоумением сознавалась себе, что почему-то видит и объем, и фактуру, и даже пространство.

— Что это у тебя? Набросок? Гравюра? — продолжал Б.Б. — Сейчас я покажу тебе, что такое настоящий гипс!

Он потянул из-за батареи доску, к которой был приколот Колин Сократ, и скорпризным жестом выставил ее перед Викой.

Коля тут же попытался забрать свой рисунок. Душа Б.Б. его понимала. Как-то и ей самой Колин Сократ вдруг показался скучным и необычайно серым.

Но Б.Б. выдернул у Коли доску.

— Видишь? Все тут на месте! Полная, так сказать, раскладка! Это тебе не то, что пальцем грифель развозить! Это выразительные средства! Тон! Полутон! Валёр! — Голос Б.Б. становился все нежнее. — Сфумато! И, наконец, — блик! — при слове «бллик» глаза Б.Б. восторженно блеснули.

И Викина мама взглянула на Вику так, будто много раз говорила ей о том же, да дочь не слушала.

— И знаешь, в чем корень зла? В том, что Фроловский позволил тебе рисовать мягким грифелем. У меня любому сосунку известно, что гипс рисуют тонким и твердым карандашом! Вот как-нибудь позвоню Фроловскому и скажу: «Что же это ты детей калечишь мягкими карандашами?!»

Тут Вика напряженно вытянулась и, наконец, произнесла свои первые слова:

— Михал... Исаич... ругал меня за то, что я рисую мягким грифелем... Это я сама!

Оказалось, что голос у нее слабый, какой-то напряженно-неуверенный, будто она старается удержать вертикально лист тонкой бумаги. У Коли екнуло сердце. Он испугался, что сейчас этот голос сломается и опадет, и неожиданно для себя пробубнил противным подростковым баском:

— Хорошие рисунки. Если написать, что это Ван Гог, все будут восхищаться.

— Ван Гог! — изумленно взвизгнул Б.Б. и развернулся к Коле вместе со стулом. — Нашел пример для подражания! Может, он «Бурлаков» написал, твой Ван Гог? Или «Запорожцев»? Или «Боярню Морозову»? Да его не то что в институт не приняли бы — он в художественную школу экзамен не сдаст! Он же стул нарисовать не умел! Смотри, как у меня малые дети рисуют табуретку! — Он бросил Вику на колени целую стопку восьмушек с одинаковыми табуреточками, похожими на подтюнированные чертежи. — Видала? А у него, у взрослого мужика, кривые стулья без всякой перспективы!

— А я, — закричала Вика, и слезы покатились-таки по ее лицу, — за один стул Ван Гога отдам ваших... всех ваших «Запорожцев» и «Суворова с Альпами»! К ним по два вьетнамца в день подходят, а к Ван Гогу не протиснешься!

— Ты чего? Ты чего? — испугался Б.Б. — Да я не против Ван Гога! Если хочешь знать, я сам когда-то баловался этим! — Он с вороватой ухмылкой подмигнул в сторону кровати. — Если бы ты увидела кое-что, ты бы со мной так не говорила! Но ориентироваться надо — на высшие достижения! На людей, получивших настоящую школу! А твой Ван Гог, небось, и про плоскость горизонта не слыхал!

Тут Б.Б. пошел толковать про точки схода, про фронтальную плоскость и про сагиттальную, про линию профиля, про лицевые узлы... Душе было так досадно, что он все выдает в первый же день! Так она надеялась, что он хоть про вертушку дополнительных цветов забудет! Куда там, вспомнил и про это! Даже стишок дурацкий про белого медведя выдал сейчас же. Он и сплюсал бы, будь в комнате свободное место, но всюду сидели девчонки со своими папками, табуретками, скрипели карандашами, вякали кисточками в банках с водой — унылые, позабытые Б.Б.

В тот день Вика ушла первая. Мать ее куда-то спешила, и Б.Б. не решился их задерживать. Неизвестно зачем засобирался и Коля, вызвался их проводить. Б.Б. стоял у окна и смотрел, как они идут по дорожке к троллейбусу. Вика с матерью шли под руку, Коля плелся справа от Вики. Ветер дул сбоку, и длинные волосы Вики относило на Коля. Б.Б. было интересно, о чем они говорят. Боялся, что Вика ругает его, и послал Душу следом за ними — проверить. Но волнения его были напрасны. Как раз в тот момент, когда Душа догнала их, Викина мать говорила с большим воодушевлением:

— Вот видишь! Сколько раз я тебе твердила, что ты даром тратишь время у Фроловского! Ты у него за четыре года не узнала столько, сколько этот дал тебе за один день! Кстати, ты все запомнила?

Душа вздохнула. Она знала, что расточительному Б.Б. сказать больше нечего. Что завтра снова будет валёр, и сфумато, и точки схода...

— Ну что ж, — сказала Вика раздумчиво, — может, и насобачусь както на этом дурацком академизме... Одного не пойму, — сурово обратилась она к Коле, — вам-то зачем сюда ходить? Ведь у вас в художественной школе с реализмом вроде бы все в порядке!

— Да... — промычал Коля смущенно. — Привык как-то. Хожу к нему с детства. Он ведь совершенно беспомощный. Я при нем вроде как ињанка. Я хотел вас попросить... Вы там хорошенъко объясните все, в этом финотделе... А то он так испугался, что запретит и мне приходить.

— Да-да, — с одобрением отклинулась Викина мать. — Я все сделаю, можете абсолютно не беспокоиться! Я и по дому ему помогу! Свяжуясь с другими мамашами, и мы проведем у него генеральную уборку.

— Ой, вот это не удастся, — смутился Коля. — Это уже многие хотели сделать. Не дает. Вы видели там натюрморт? Зеленая чашка и кусок пирога с вишней. Это моя мама передала ему еще весной. Я говорю: «Борис Борисыч! Давайте выбросим! Вокруг него мошки летают!» А он как разойдется! Стал обзвывать меня вандалом, геростратом!

Душу слегка задели такие Колины слова, но в целом домой она вернулась успокоенная. Начинались сумерки. Обычно в это время Б.Б. посыпал ее к дверям института поджидать А.Г. Нет чтобы послать утром, по солнышку, когда она идет нарядная, подтянутая, бодро цокая каблуками. Душа различила бы это цоканье даже среди шарканья целой толпы. Нет, именно в сумерки посыпал, когда она тащится, седая, одинокая, на отяженевших неуверенных ногах, ступающих как-то отдельно друг от друга. Душе давно надоело изучать синие жилы на лодыжках А.Г., подсчитывать ее морщины. Она частенько халтурила, не долетала до места и, скротав время в каком-нибудь скверике, докладывала Б.Б.: «Да-да, посмотришь — так тебе в матери годится!» Он особенно и не вникал. И Душу оскорбляло выражение скромного злорадства на его лице.

Так что она была очень довольна, когда Б.Б. послал ее в совершенно неожиданное место. Далековато, правда, но она уже привыкла мотаться туда-сюда и на удивление осмелела. Короче, до «Бурлаков» она добрались через какие-нибудь полчаса. И действительно, в зале оказался один вьетнамец. А может — кореец. Он что-то писал в записной книжке. Оттуда Б.Б. послал ее совсем уж в Лондон, к стулу Ван Гога, но законопослушная Душа его долетела только до границы — и вернулась назад. Впрочем, Б.Б. не сомневался, что Вика и тут права.

Он сел у окна, подпер голову кулаком... Задумался. С одной стороны, новая ситуация даже радовала Б.Б. Столько раз он готов был уничтожить, сжечь работы, увязанные в серой папочке и хранящиеся под кро-

востью! И не уничтожил только потому, что не было никакой возможности совершить это, не привлекая к себе внимания и не оставляя следов. Ведь даже изрезанные на мелкие кусочки, они могли быть извлечены из мусорника и сложены, где надо, в целое. И вот теперь получалось, что эти фитильки, написанные полуслучаю, под чужим влиянием и, возможно, для того лишь, чтобы показать себе и другим: вот, дескать, и я так могу, причем запросто! — эти пустышки способны собрать вокруг себя толпу, способны перевернуть всю жизнь Б.Б., имеют право на будущее... Неужели они действительно стоят больше, чем картины, написанные кровью и потом? В которые вложено столько знаний! столько чувства! И все даром, впустую! Неужели человечество когда-нибудь дойдет до такого безумия, что ради мазни, которую без труда выдаст любой способный семиклассник! снимут «Бурлаков» и сожгут на заднем дворе музея, как его «Клятву другу» и «Пути в будущее»?!

Нет! Такого быть не может! Б.Б. поднялся, вытер со лба холодный пот и заходил по комнате. В крайнем случае, унесут в запасник. А потом, когда пройдет это время безумных заблуждений, достанут — и поймут!

Б.Б. вдруг озарило: может, и его детища цепы и дожидаются где-то своего часа! Во всяком случае — «Пути». Ведь Каганович — не Берия, не так уж сильно он проштрафился. И Б.Б. тут же, не дожидаясь утра, отправил свою неотдохнувшую Душу в Харьков.

Была уже поздняя ночь, когда Душа оказалась в музее. На всякий случай она пролетелась по пустым залам, искала в запаснике, а потом еще в длинном сырьем подвале. Она хорошо видела в темноте, и даже сквозь пыль, но она не выносила запаха мышного помета. Картин было слишком много, приваленных одна к другой, так что протиснуться ей было очень трудно. А она устала. Да и картины все были какие-то... Короче, снова она скользнула. Подумалось вдруг — а что, если слетать в прошлое? И надо же: у нее это получилось со второго раза, причем даже крыльями работать не пришлось. Как-то так вытянулась, напряглась, вроде бы вывернулась наизнанку — и оказалась перед картиной. Краски живые, свежие, как бы даже... с росой. Картина выглядела несколько иначе, чем ей помнилось. Будто и Каганович, и его спутники ушли за эти годы чуть левее и глубже... и не так сильно бросались в глаза, но все равно: ужасно хотелось, чтобы их не было вовсе! Эх, Борис Борисыч! Как она просила его: не надо этих фигур! Лучше без них! Красивое небо! красивый горизонт! Сохнувшие степные травы на переднем плане! Уж как Душа пела, когда он их писал! Говорила ему: «Зачем тебе эти усы да кепки!» — «Нет, нельзя иначе! Требование эпохи!» А она вон как быстро ушла, «требовательная», и картины с собой утащила...

Не любила Душа эту эпоху. Точно так же, как красный дом с колоннами, о котором все сожалел Б.Б. и куда невеста зачем гонял ее чуть не каждый день. Не сочувствовала, когда Б.Б. начинал рассказывать о каких-то забавных случаях, проделках, замечательных событиях своей молодости.

Ей бы утаить от Б.Б. новооткрывшиеся способности, честно порыться в картинах... Ну и поплатилась...

С этого дня стал ее гонять Б.Б. почем зря в лучшие свои времена. Не сразу, конечно. В первый день ему было не до того. Проснулся ни свет ни заря и начал переживать по поводу финотдела. Как там, не забудет ли Викина мать, не передумает ли идти, не перепутает ли часы приема... И что ему тогда делать — забаррикадировать дверь? распустить учеников? Или наоборот — оставить, пусть подтвердят, что денег Борис Борисыч не берет. И как в таком случае поступить с Викой — не выгнать ли ее? Почемуто ему приятно было мысленно прогонять Вику. Мстительно воображал себе, как открывает дверь и холодно говорит через цепочку: «Вы уж извините, мадам тю-тю, но я передумал. Запущены вы! Вам не то что я — вам и Армяков-Козловский — да что там! — сам Чистяков вам уже не поможет, с такой техникой и с таким гонором впридачу!» Захлопнуть у нее перед носом дверь, а перед этим еще станцевать!

Вместе с тем он с нетерпением ждал Вику. Возможно, это был азарт борца, ставшего в стойку в ожидании противника. Так, например, ему очень хотелось, чтобы Вика явилась в своем белом платье с этим гигантским лиловым цветком. Тогда он мог бы ей сказать: «А эти кринолины, мадам, годятся не для работы над произведением искусства, а для лежания в постели до двенадцати часов! Будьте добры, больше не являйтесь на занятия в ночной рубахе!» Б.Б. с наслаждением предвкушал, как у нее повиснут на ресницах слезы, а губы потемнеют и как бы чуть-чуть размажутся... Еще он надеялся, что она принесет свой толстый грифель. И он даст ей начертать рисунок, а потом поднимет на смех, а потом изорвет испорченный лист, а грифель изломает и выбросит в окно! Когда же она снова начнет про Van Гога...

Но ничего такого не произошло. Правда, на Вике снова было белое платье, другое, с бледно-розовыми горошинами. Но при ней оказался фартучек, светленький, с белыми оборками, с вышитым сердечком на кармане. Б.Б. смотрел, как она завязывает сзади длинные ленты, и не знал, что сказать. Душе же все это... как-то нравилось. К тому же мать Вики с порога сообщила, хоть и мельком, но никак не умаляя своих заслуг, что с финотделом вопрос закрыт, с чем последовала на кухню и стала там шумно разгружать сумку, не давая Б.Б. времени насладиться радостью избавления.

— Зачем! Зачем! — огорченно вскрикивал подоспевший Б.Б., водя расстроенным взглядом за пухлой рукой, выгружающей из сумки миску голубцов, банку сгущенки и пакетики концентрированного супа. — Зачем семью обижаете! Вы меня и так спасли! Можно сказать, к жизни вернули! Заберите обратно домой! В семье пригодится, а я же один! Несут и несут! Идемте! — И он распахнул перед Викиной матерью кладовку. Метровая гора суповых пакетиков дрогнула и двинулась на нее из глубины, опасно качнувшись сине-белая башня сгущенки.

Викина мать удовлетворенно кивнула, цепким взглядом оценивая сдержанное кладовки и на ходу корректируя принятное прежде решение. Но уносить домой ничего не согласилась. И вообще стало ясно, что Б.Б. с ней спорить не может. Отчасти из благодарности, отчасти — она подавляла его своей всесторонней мощью, что очень беспокоило Душу: Душа знала, как это может оказаться на Вике. И предвидея, какими катастрофами чревато такое воздержание Б.Б., обмирала от страха.

Но... Но Вика... хоть и в вызывающе белом платье, сидела какая-то неестественно сминая. Придраться к ней было невозможно, как к женщине, которая вышла замуж за нелюбимого, но решила стать ему идеальной женой. Сидела, вытянувшись, так что даже за сутулую спину ее нельзя было ругнуть, и держала наготове твердый карандаш, заточенный как шило. Смотрела выжидающе, готовая принять новую порцию академической премудрости.

Б.Б. начал с того, что посоветовал ей выпивать натощак стакан кипяченой воды с чайной ложкой меда.

— Лучшее средство от прыщей, — провозгласил он, пристально всматриваясь в крошащийся прыщик под воздушной, зачесанной набок Викиной челкой.

Душа боялась, что он начнет еще объяснять механизм воздействия, но имеющий богатый опыт Коля сочинил на ходу:

— У меня, Борис Борисыч, что-то грунт на холсте трескается!

— Ну вот, — шлепнул себя по коленям Б.Б. — Все ясно: завел, конечно, слишком густо клей! Раствор должен быть совсем реденький! чуть желтенький!

Пожалуй, это было единственное, что Вика узнала нового в тот день. Но, в конце концов, повторение — мать учения, так что Б.Б. не только не смущался — он получал не меньшее, чем накануне, удовольствие, произнося звучные слова «валёр», «сфумато», и так же взблескивал глазами при слове «блік». Но Душа!.. Уж так ее воротило от этих бликов! от точек схода! от мудрого завета передвижника Армякова-Козловского: никогда не тереть резинкой вдоль линии, а только поперек! И все эти гипсы, гнилыенатюрморты! Даже дети!

Честно признаться — Душа и их не любила. Ну, сочувствовала, разумеется, Б.Б., который буквально из кожи лез, чтобы натаскать их до необходимой для поступления кондиции, но... Душа имен их не запоминала, тем более что и Б.Б. за глаза пользовался не именами, а характеристиками. «Непийводина зловредная дочка», или — «Вот эта близорукая, что не хочет пить сырье яйца», или — «Та дуреха, которая травилась мухомором, когда завалила экзамен по живописи», «Тот, мордастый, в очках, у которого отец поэт», «Рябая евреечка с задницей», «Деревенская, которая одевается не хуже городских» и так далее. Случалось, правда, и наоборот: прицепится к какому-нибудь имени — и треплет его на все лады: «Эльза-Ильза-Гильза!» Или полюбит какую-нибудь звучную фамилию.

лию — тут уж держись! Замучит! «Ар-тист Бржестинский! Что это за нос вы построили Сократу?!» А нос был как нос. Как на двадцати других рисунках. Признаться честно, Душа и не различала, где чей. И никогда она не могла понять, завершена ли работа. Ни разу не было такого, чтобы Б.Б. сказал: «Все. Довольно. Эта картина готова». Куда там! Только что-нибудь вроде: «Ну-ну! Вот уже начинает получаться!» или «Хороший старт!» А на этом «старте» постылом акварель уже наслойлась грязной сине-коричневой ржавчиной! Ничего! В крайнем случае Б.Б. смоет лишилее жесткой кистью: «Работай, работай дальше!» — даром что желтенькое яблочко сморщилось, стало коричневым, засохло, а по драпировке ползет черная плесень — продолжай, продвигайся к никем не достигнутому совершенству! Да-да, никем не достигнутому, ибо чудо избавления свершалось всегда одинаково — протиралась в бумаге дырка. Не терпела бумага совершенства!

Что же касается Вики, то ватман ее проходился даже слишком скоро, но, к сожалению, не насквозь, поэтому Б.Б. не позволял ей начать новый рисунок. Надо сказать, что Викин «Экорше» был, пожалуй, одним из худших, какие доводилось видеть Душе, — такой бездарностью, такой тоской от него веяло! Казалось, именно Вика — виновница его двухсотлетней скорби. Душа предпочла бы прежние проволочные Викины выверты. Короче, дня через два она потеряла интерес к Вике и стала летать в прошлое, уже по доброй воле. Остановится Б.Б. у Вики за спиной, начнет дышать укоризненно, ругаться за то, что сильно давит на бумагу, или привяжется к Непийводиной дочеке: «Снова ты воду в мыльницу налила!» А Душа — шурх! — и уже далеко.

Было у нее в прошлом несколько любимых дней. Чаще всего она отправлялась в Никольскую слободу. Развалился в траве... всё гвоздички, желтые лютинки... Где-то совсем рядом цимель гудит... Снизу, с речки веет свежий ветерок... по небу тихо передвигаются облака... студенты рисуют... хорошо рисуют, правильно. И такие все молоденъкие, важные... Крестовский в белом костюме... вот-вот влезет штаниной в злополучную краску! И как знать — не за брюки ли за испорченные подбил он Б.Б. нарисовать Берию?! Впрочем, чепуха! Кто ж тогда мог подумать, что Берия — шпион...

Вернется нехотя домой... проверить — как там... А там что — там Коля сидит, Вике в затылок смотрит... и глаза у него — будто решил броситься с моста... Вот Эта, близорукая, в шестой раз покрывает лист желтой акварелью и гадает, зачем его покрывать и для чего она должна оставить нетронутым миллиметровый квадратик белой бумаги в центре листа...

— Как для чего, как для чего? Сейчас сюрприз будет! — Б.Б. щурится на квадратик, будто проверяет, испекся ли пирог. — Ну-ка, скажи, какого он цвета?

— Белого... — говорит девчонка.

— Как же белого! — начинает обижаться Б.Б. — Ты лучше, лучше присмотрись! Ну? Какого цвета?

— Бе-е...

— Какой цвет дополнительный к желтому, тутица ты! — темнеет лицом Б.Б.

— Фиолетовый...

— Ну вот! Теперь еще посмотри! Какого цвета?

— Фиолетового?

— Ну да! Наконец-то! — ликует Б.Б. — Фиолетового! Или, как мы, художники, говорим для красоты, — сиреневого!

Непийводина дочка сидит, съежившись, столкнувшись с ней взглядом — жмуится, как зверек, на которого замахнулись палкой... Тошно, тошно Душе... Она опять в Никольскую слободу. На бережок. Там хорошо... Мотя сидит на сухом стволе поваленной вербы... Платье у Моти розовое, слишком. Ядовитый цвет. Зато как она пахнет, Мотя, — кувшинками! И на шее кувшинка висит... Стебель порезанный — как ожерелье. Темные волосы на висках мокрые... А у Б.Б. футболка белая в голубую полоску...

— Выходи за меня замуж, Мотя! — говорит он.

Тут Душе становится неловко... Знает она, как все будет. Точнее — именно не знает! Вот Б.Б. рисует Мотю в этом самом платье... вот посыпает ей с почты открытку... Вот Б.Б. стоит в кабинете перед Крестовским и Яремичем, клянчит комнату, эту самую свою будущую комнату... Крестовский в белом костюме, Яремич — красавец, рубашка апаш... Вальяжные оба...

— Ну зачем вам жениться, Локтев! Карьера только начинается, все впереди!

А Б.Б. не сдается, на своем стоит. Вот он поясок Моте присматривает в галантерейной лавке... А дальше просто непонятно — куда она делась? Будто и не было никогда... Душа потыкалась туда, потыкалась сюда, да и вернулась.

Снова Коля. Снова Вика. Б.Б. сидит на кухне. На столе. Голый. Позирует Этому, у которого родители поумирали, и он пару раз приходил выпивший. Ему обнаженную натуру сдавать. А где ж возьмешь деньги на обнаженную натуру? Вот и мерзнет Б.Б. на сквозняке, нервнице себе расстраивает. Кухня-то маленькая, рисовать приходится из коридора. А дверь в комнату хоть и закрыта, но все равно страшно. Б.Б. осторожно спускает ногу, касается босыми пальцами пола, бежит на цыпочках посмотреть, не наварено ли в пропорциях, не начал ли этот артист накладывать тон на не-построенной фигуре. Знает его Б.Б.! Сердце так и колотится, так и бухает: вдруг сейчас зловредная дочка Непийводы высунется в дверь! Тогда Б.Б. придется ее убить. Да, так недолго и инфаркт получить, но сейчас ему не до инфаркта. У него на животе появилась сыпь и разбегается с немыслимой скоростью, все выше и выше, все гуще и гуще.

— Видишь, что делается! — скривил Б.Б., уже водворившись назад, на свое место, стараясь не шевелить губами. — Я классический аллерг!

— Да какое там классический! — грубит Этот, что без родителей, что два раза выпивший. — Не надо было столько яиц глотать! Я бы от пятнадцати яиц уже дуба врезал!

Б.Б. вздыхает, подсчитывает: «Вика принесла пять яиц. Та Рябая с задом — десять. Действительно — пятнадцать!» И что это его вдруг понесло! Так весело было их есть! Цокнешь о стенку, отковырнешь скорлупу, припушкишь солью — и в рот! Вроде бы для того, чтобы показать девочонке этой близорукой, что яйца вкусные. А на самом деле из-за Вики.

Душа чувствовала, что именно так оно и есть. Вот уж, кажется, совсем перестал обращать на нее внимание, махнул рукой — и снова... Все-то ему хотелось ее как-то задеть... даже обидеть! или позабавить... похвастать перед ней... Что делать — мужчина...

Постоит над Викой, посопит... и пошлет Душу туда, в дни своего триумфа. Нельзя сказать, что Душа это было неприятно. Аплодисменты, речи, новый костюм (первый в жизни), вручение диплома и медали лауреата, ответное слово... Крестовский... прогулка под руку из конца в конец выставочного зала... Конечно, Крестовский — профессор, но и Б.Б. не просто выпускник — лауреат Сталинской премии! Взд-вперед, под руку... красная дорожка пружинит под ногами... полотна маленькие... полотна средние... полотна на полстены... «Видишь, — самодовольно мурлычет в разлапистый нос Крестовский, — видишь, сколько тут Ленина! А ты тоже хотел. Твоего бы среди этих всех и не заметили бы! Говорил тебе, что будешь благодарен старику за совет!» И у Б.Б. губы дрожат от благодарности... Сам Андронов руку пожимает: «Хорошее начало, молодой человек!»

Или еще погонит Душу в приемную Кагановича. Лазарь Моисеевич согласился попозировать во время работы. «Вы, Лазарь Моисеич, забудьте о моем присутствии, я тут, в уголочке...» Легко сказать — забудьте... Он, бедный, уже и стоит, и смотрит, будто с картины. И посетители его тоже. «Может, вам чаю, Борис Борисыч?»

Но уж в этот день Душу приходилось загонять силой. Она и теплого рукопожатия дожидаться не стала, вынырнула чуть позже... в комнатенку Б.Б., где эти «Пути в будущее» уже целую стену занимали. Восхитилась привычно: красивое небо... какого цвета — и не скажешь... сумерки... темная трава под ногами. И чего тут не хватало без этих мужиков?! Ну что бы ему тогда послушаться ее! Ведь умоляла, убивалась: «Смой их! Смой! Пусть даже рельсы останутся, они не мешают! Девушку какую-нибудь додрисуй в крайнем случае, но не этого усатого с приплюснутым носом! Ведь Крестовский тебе больше не указ!» Душу такая досада взяла! Вцепилась она Б.Б. в свитер, перепачканный краской, затряслася его, завопила в самое ухо: «Ты что, еще одну Сталинскую премию хочешь?! Хватит с тебя премий! Знаешь, какой прок от этой премии будет? Гонорар промотаешь в

два счета, а картина повисит в музее года три — и в мусор! Проштрафится твой Каганович!»

Простая была Душа, думала: вдруг Б.Б. хоть теперь ее услышит... И надо сказать, что лицо Б.Б. выразило некоторое беспокойство... Даже взял вдруг и набросал на бумажке девушку в развевающемся платье... с развевающимися волосами... Душа аж задрожала от радости, решила: наконец-то получается! Вот теперь за раз всю жизнь его исправит! И ну давить: «За А.Г. перестань бегать! Не нужна она тебе с этими тремя языками! с очками, нажитыми от непрерывного чтения! И мать у нее дворянка, а никакая не горничная! Видно ведь! А отец — не иначе как белый генерал! Зачем тебе такие неприятности! На что тебе эти три иностранных языка, если сам ты ни одного не понимаешь! А главное — не оценит она героизма твоего, унизит тебя, опозорит! В загс не придет! Будешь стоять, стоять три часа на солнцепеке в новом костюме с целым кустом белой сирени в руках — всем на смех!»

Но тут уж Б.Б. не выразил никаких признаков внимания. Более того: набросок девушки, повернутой рассеянно, смял и бросил в корзину. А сам принялся за руку Кагановича, устремленную вдаль. Ракурс был сложный — снизу. Такое под силу разве что Микеланджело. А Б.Б. ничего, справился.

Душа покружила над корзиной: показалось ей, что девушка чем-то похожа на Вику. Впрочем, набросок был сильно скомкан. Вздохнула — и вернулась. И так ей дико показалось все вокруг! Валенки... пижамные штаны на тощих ножках... Там Каганович жал руку Б.Б. с сердечной приветственной симпатией — а тут... Викина мать тащит его, как мальчишку, за локоть...

— Нет! Я хочу, чтобы вы заглянули туда! Вы сразу поймете, откуда запах!

— Нельзя! Не смейте ничего трогать! Это же кра-со-та! Это неприкосновенное! Это, можно сказать, — алтарь искусства!

— А это что? А это? А это? — граненым дамским голосом звенела Викина мать. Она потянула за хвостик сгнившее яблоко, причем хвостик вытащился вместе с кочаном. — И это называется реализм: у девочки на рисунке оно желтое, а в натуре — уже все стало коричневое!

От такого аргумента Б.Б. дрогнул.

— Хорошо, — сдался он, — выбрасывайте. Мы его заменим. Найдем похожее.

— Да это что! — не оценила жертвы Викина мать и сунулась толстыми плечами в дебри «алтаря», по дороге зацепив угол зеленого сатина, так что стоявшие на нем бутылка и коробок спичек поехали и грохнулись на пол. — Вы сюда загляните, там сзади — другой натюрморт!

Б.Б. нехотя сунулся за фанерку и отшатнулся так резко, что качнулись Сократ и Экорше, двинулся с места гипсовый шар с угрожающим звуком,

похожим на дальний гром. Там, в полумраке, тоже была драпировочка и плетеная корзинка... возле корзинки громоздилось небольшими кучками что-то темное и... живое.

Б.Б. обмер на несколько секунд, но тут же восхликал с облегчением:

— А!.. подумаешь! Грибы сгнили! Я и забыл, чтоставил Светке грибы!

— Ну так что? Будете их хранить? Или позволите мне вычистить и вымыть хотя бы этот угол?

— Ладно, — вздохнул Б.Б. — Ты помоги, Колька... Неудобно... Там черви...

Коля тут же взялся отодвигать передний натюрморт. Девочки взвизгнули и зажали носы. Вика опрометью выскочила на балкон. Б.Б. направился было за нею, но по дороге отвлекся на трусливо согнутую спину дочки Непийводы, остановился и, звонко хрюснув по ней растопыренной пятерней, заорал:

— Все будет отцу рассказано!

Коля был очень брезглив, но чувство долга в нем преобладало над всеми прочими чувствами. Стараясь не приглядываться, он столкнул гниль в коробку и тут же поспешил с нею на мусорник. Но запах в комнате не только не исчез — он еще и распространился по всей квартире. Такой густой, что даже имел как будто цвет... эдакий серо-коричнево-синий.

Б.Б. пришлось отпустить учеников по домам, а Викина мать сама попросила хлорки и, обвязав пол лица мокрым носовым платком, пошла нагло шуровать повсюду веником и тряпкой.

Колю, ввиду приближающихся экзаменов, отправили на балкон к Вике делать наброски. И он, поколебавшись, согласился. Конечно, он полагал, что обязан принимать участие в уборке, но... побить наедине с Викой!.. Главное — не дать ей уничтожить эти самые наброски! Ибо, в отличие от Б.Б. и от Души его, слишком увлекшейся путешествиями в прошлое, Коля знал, что Вика не забросила свой жирный грифель и в отсутствие Б.Б. извлекает его достаточно часто. Он знал даже, когда это должно произойти. Сначала Вика, как бы впервые обнаружив перед собой замусоленный лист с изображением Экорше, все меньше похожим на оригинал, замирала. Опускала руки. Напряженно закидывала голову. Начинала постукивать ногой об пол. Вот тут и выныривал из папки крамольный грифель и случайные клочки бумаги. Почти не отрывая руки, Вика набрасывала Экорше. Затем по очереди все остальные гипсы Б.Б. Рисунки получались объемные, красивые, похожие. Разве что выражения их были несколько преувеличены. Сократ выглядел чуть тупее, Да Удзано — чуть любопытнее. Такой рисунок занимал у Вики не больше пяти минут.

На законченные рисунки она чинила карандаши. Возмущившемуся Коле Вика объяснила, что утонет в бумагах, если будет сохранять всю свою «пачкотню», после чего Коля стал отбирать у нее рисунки с мрачной пунктуальностью. Вика, удивленная, но и несколько польщенная этим, начала расширять тематику. Она изображала ряд профилей одинакового

размера, находящих друг на друга — как это делается на медалях или знаменах. Сократ, Люций, Никколо... — и передний справа всегда был профиль Борисыча. А то еще набросает одну из гипсовых голов — и пририсует к ней майку, валенки, пиджак, руки в карманах, набитых каштанами. И так точно она передавала позу Б.Б. — его непринужденную стройность, тайную настороженность! Но что поражало больше всего — она, не теряя сходства, и лицам их придавала выражение лица Б.Б.

Самого Б.Б. она могла изобразить, кажется, даже закрыв глаза. Она рисовала его коротеньким, с огромной головой, но это никак нельзя было назвать карикатурой. Представьте: здоровенный валенок, и из него, как чертик из табакерки, выскакивает Б.Б. в своем пиджачке поверх майки, а между пиджачком и валенком — вместо ног — пружинка. Но в том-то и дело, что это не было смешно! Романтичный полет волос! глаза, сверкающие испуганно-восторженным любопытством, вдохновенно-робкие губы... Это был обжигающе живой портрет, полный доброты и сострадания.

Так что Коля не чувствовал себя предателем, когда повесил этот портрет учителя над своим столом. Рядом он прицепил Викиных «Бурлаков». Естественно, что у бурлака на переднем плане, того, что смотрит прямо на зрителей, было лицо Б.Б. Молодому, с запрокинутой головой, она пририсовала профиль Коли, а вдали на барже громоздилась голова Люция Вера.

Была еще другая «копия», с «Утра стрелецкой казни». Б.Б. в грозной позе Петра восседал на коне, на переднем плане на земле валялись отбитые головы Люция Вера, Да Удзано, Экорше и Сократа, а на эшафоте стояли их обезглавленные подставки. Слева плакала сама Вика. Подобных копий она набрасала множество, когда Б.Б. заставлял ее делать схемы композиций...

А в тот день на балконе Вика нарисовала коллективный портрет, вроде фотографий, какие привозят с курортов: Б.Б. в кругу своих гипсовых друзей сидит на лавочке, и на всех — вельветовые пиджаки и валенки. Вика не поленилась подкрасить выступающие треугольники маек сиреневым фломастером. И такую они все вызывали жалость — даже Люций Вер! — что Душа Б.Б., отвлекись она от учиненного Викиной мамой разгрома, не обиделась бы на Вику. Но Душе было не до того. Б.Б. лежал на кровати, с левой рукой на сердце, с правой на лбу. К причудливой смеси ужасных запахов он прибавил запах пролитой валерьянки.

Викина мать мощно возила тряпкой туда-сюда, точно, как Феня, настырная домработница Петровых, и так же выглядывал у нее сзади кружеvной подол рубашки. Б.Б. сознавал, что должен бы быть ей благодарен: интеллигентная женщина... moet... старается ничего не задеть... Ах, как ему хотелось, чтобы она задела! И не какую-нибудь мелочь, а пусть даже Люция Вера! и пусть бы он разлетелся вдребезги — и Б.Б. мог бы с полным правом заорать! замахать кулаками!

Б.Б. хищно следил за нею. Но ничего серьезного она не натворила, и Б.Б. пришлось придраться к мелочи. Освобождая угол комнаты, она переставила свою сумку со стула на подоконник. Б.Б. не сразу обратил на это внимание, но вдруг сообразил! вскочил! забился весь, закричал шепотом:

— Стойте! Что же вы! что же со мной делаете?!! Соседи увидят — подумают, что у меня женщина!

— Да ведь все видели, что я к вам иду, — удивилась Викина мать.

— Не понимаете! Ничего вы не понимаете, какие подлые люди окружают меня! Напишут анонимку, что у меня дом свиданий! И меня выселят, сошлют за черту города! Подождите, не смейте подходить к окну!

Он приволок из передней двухметровую рейку и принялся поддевать ею ручку сумки. Дело оказалось не такое простое, и Б.Б. долго манипулировал рейкой в позе азартного рыболова, пока поддетая сумка не съехала, наконец, ему прямо в руки. Достигнутый успех его несколько умиротворил, но он все же не забыл о кознях соседей и продолжил:

— Собак!.. нарочно под моими окнами выгуливают по ночам собак и гавкают, чтобы я не мог спать! А вот это? Посмотрите! — Он указал на сырое пятно на потолке прямо над раковиной. — Вот вам пример! Софья Исаковна! Я так хорошо отношусь к евреям, а она дырочку просверлила и водой на меня капает!

— Да бог с вами, Борис Борисыч! Это трубы подтекают, надо слесаря вызвать.

— Вы не знаете! — простонал он женским голосом и помолчал, будто не решаясь открыть ей ужасную правду. — Это она мне мстит за то, что я на ее Наде не хочу жениться! У нее там какая-то Надя на фабрике работает! Из села!

— Ну а почему бы не жениться, Борис Борисыч, если женщина хорошая? Надо посмотреть, познакомиться...

— Какая там хорошая! Ей просто из села на работу далеко ездить! Пропишется — а потом отправит какой-нибудь едой вредной! Или скандалить начнет, доведет меня до инсульта. А мне и обратиться будет не к кому: вокруг одни враги!

— ВЫ извините, — сказала Викина мама, — но, по-моему, главный ваш враг — мнительность. Почему вы вообразили, что у этой женщины какие-то корыстные цели? Может, она устала от одиночества, хочет заботиться о ком-то! И потом — что вы все про этот инсульт? С чего бы это у вас должен быть инсульт?

— Что же, — насторожился Б.Б., — по-вашему, мне пенсию даром платят?

— Да нет же! Но люди с третьей группой инвалидности живут абсолютно полноценной жизнью! Объясните мне: почему вы не можете выйти на улицу? Ведь вы же по комнате ходите! Вчера вот камаринскую танцевали. Вышли бы с Колей под руку, походили бы возле дома... У вас стало бы совсем другое самочувствие!

Б.Б. улыбнулся улыбкой Будды и покачал головой.

— Если бы вы знали все...

— Как хотите, Борис Борисыч, но мне кажется, что не так уж страшно вы больны, а просто сами себя до смерти запутали!

Если бы Викина мать три дня придумывала, как задеть Душу Б.Б. всего больнее, она бы не выдумала ничего лучше... Душа Б.Б. так и заметалась, так и затрепыхалась! Это недоверчивое, насмешливое отношение к Болезни Б.Б. терзало ее всю жизнь! И пусть уж Викина мать проявила такое непонимание — что с нее возьмешь, с чужого человека! — но тут прослеживалась цепь, буквально какой-то заговор! Вот, кажется, только что все были свидетелями: у Б.Б. высокая температура... его ударило током... пырнули ножом в плечо — и все волнуются, стараются чем-то помочь... Но что же — стоит Б.Б. чуть оправиться, стать на ноги — и к Болезни его начинают относиться как к комическому эпизоду, им же, Б.Б., и разыгранныму для потехи. А то и... для корысти! Замечала, замечала Душа эти тени язвительных усмешек на губах, это легкое недоверие во взглядах... И то сказать — как-то слишком к месту все это случалось!

Что чужие! Душа и сама начинала порой колебаться: действительно ли... Она еле дождалась, пока уйдут, наконец, Вика с матерью и Коля, пока Б.Б. уляжется на кровати... правая рука — на лбу, левая — на сердце... и опрометью бросилась в тот день, когда Б.Б. с голыми ногами и в сатиновой тунике изображал Менелая на прохваченной сквозняком сцене актового зала. Мартовский ветер приоткрыл форточку, но никто и не заметил: рыженький Женя Любавский, изображавший Париса, подхватил на руки высокую, статную скульпторшу — Елену... На репетициях он ее уносил достаточно легко, но тут вдруг — повернулся, что ли, неудачно? — застягивал посреди сцены с красным от напряжения лицом, и Менелай — Б.Б. — не знал, что делать — получалось, что у него предостаточно времени, чтобы отнять у замершего похитителя жену. Ему бы изобразить оцепенение — а он топнул на Женя, будто выгонял теленка из хлева, и тот, рванувшись, скульпторшу уронил...

Душа устала от громкого хохота и поспешила в комнату, в ту самую, в свою. Было темно... и здание гудело, будто его пытаются изнутри взорвать... и тайный голос выл на лестнице: «А-а-а-а!» А потом смех двинулся вверх по лестнице, зашаркали, застучали в коридоре. Вечеринка, охлажденный за окном лимонад. И все та же тога, сандалеты на босу ногу!.. Недолгий сон перед самым рассветом... смех со сна, как у перевозбужденного ребенка. И уже наутро легкая, но неприятная боль в горле. Б.Б. покашлял, поглотал... Душа удовлетворенно закивала, будто отыскала в книге нужное место. Он даже сказал — и все слышали, как он сказал: «Кажется, меня слегка продуло». И вот только после этого прибежал к ним в комнату Саша Орлов и бухнул с размаху, вопреки правилам приличий того времени: «Миколу Ткача арестовали! Вы как хотите, а я завтра пойду в органы и скажу, что он честный комсомолец! каких еще поискать!» И все

молчали, между прочим. Один только Б.Б. вызвался: «И я с тобой! Это какая-то ошибка!» А уже к вечеру у него было тридцать восемь и две. Назавтра — тридцать девять и шесть. Душа сама проверяла показания градусника — хотела быть объективной. У Б.Б. и голоса-то почти не было, когда он просил Орлова: «Подожди, мне лучше станет — пойдем вместе!» А тот ни в какую: «Нельзя ждать, поздно будет». И снова же все это слышали! Все слышали, как участковая врачиха ужасалась: «Тридцать лет работаю — и не видела такой ангины! Тут же фарш какой-то, а не гланды!» И что же — как только выяснилось, что Орлова в ГПУ задержали, выпустили в одну дверь, а выпустили в другую — догонять Миколу, все стали переглядываться, перемигиваться, будто Б.Б.-предусмотрительно организовал себе эту ангину, чтобы не идти с Орловым... А для верности — еще и осложнение! Вон побегал с мячом три минуты — и брякнулся на скамейку, отдышаться не может, сгибаются, скалит зубы, локоть к левому боку прижимает. А вокруг недоверчивые ухмылки: кончай, Борька, свой спектакль, центрального нападающего не хватает! И шел ведь, хотя Душа подсказывала: нельзя! смотри, до беды доведешь! Но он ее тогда не слушал. Больше, чем беды, боялся этих ухмылок...

И в военкомат ведь сам пошел — добровольцем! Душа и туда слетала, в пятый день войны. «Миокардит», — говорит врач и смотрит так, будто Б.Б. его ловко перехитрил. Может, после этого Б.Б. и стал слегка... не то чтобы наигрывать... но подчеркивать свою болезнь. И хотя осенью всех студентов художественных вузов вернули с фронта и в Самарканде начались занятия, привычка эта у Б.Б. так и осталась.

Ну и что с того? Кто с этим считался? А сам Б.Б. и подавно. Кто, к примеру, посыпал его на ту злосчастную трубу? Сам вызвался! А за Петром Непийводой кто ухаживал, пока его в больницу не отвезли? Душа и не рада была, предостерегала: «Смотри! Заразишься тифом — сердце не выдержит!» А он и слушать не стал. Ну, Непийвода — друг, как было бросить друга в беде, ходить и знать, что он там лежит один, бредит... одеяло с себя посbrasывал... Но вот, спрашивается, с чего он полез разнимать тех узбеков, даже не имея понятия, из-за чего они дерутся! Получил ножом в плечо... Или вот еще, предупреждала: «Не тянись ты за москвичами! Ну их, с их «Красной мебелью», с их Ван Гогами и Гогенами! Ни к чему тебе их буржуазное влияние! Миколу за меньший проступок упекли! Но Микола-то — крепкий, здоровый! А ты что? Тебе там не выжить! А он...

Или взять уже самый конец войны. В Загорске. Душа вспомнила про Загорск и даже изумилась, как это она ни разу туда не выбралась! Тоже, можно сказать, лучшие дни жизни! Купола... расписные терема... и снег, снег, снег... широко, высоко... до самых окон кельи... За стеной кричит младенец. Там тепло: Б.Б. сам сложил печку, сам натянул веревки для пленок. У Таньки Ивановой мастит... Все боятся, как бы молоко не пропало... Б.Б. прикидывает, не видал ли где в городе козы. Идут за дровами.

Б.Б. — а как же без него! — в чужих дырявых валенках... В лесу тепло... такая тишина! Дымок от костра натягивается неподвижной стрункой, не-зримо вырастает все выше, выше... Душа за ним, к небу... А внизу, у костра, разговоры — такие тихие, благостные... «Мы с Таней решили ребенка крестить. Кто хочет быть крестным?» Душа и вернувшись к Б.Б. не успела, а он уже выпалил: «Я!» И по дороге домой все ныла, ныла: «Откажись! Разве ты в Бога веруешь? Ты же комсомолец! Узнают — из института выгнанят! Говорили ж тебе: попы обязаны ведомости в НКВД посыпать!» А все-таки пошел! И ведь что интересно — все ему с рук сходило! Вот и привык ее не слушать, пока не споткнулся на этом Берии.

Да... тут уж она отыгралась! Что же она ему говорила?.. Да то, что и всегда. Что лучше бы он мишек каких-нибудь сунул вроде шишковских, чем галстук и манжеты на брюках выпускывать. Грозилась, что завистники теперь все ему припомнят: и крестины, и москвичей-космополитов. «Подожди-подожди, — зудела, — еще и до Кагановича твоего доберутся!» Он и так, бедный, весь дрожал, скорчился, как зародыш, в одеяло с головой замотался, а она добивала: «Спрячься! Притаись! Хорошо еще, что ты больной! Может, пожалеют, не тронут...» Она ведь чего хотела? Чтобы он меньше высовывался, осторожнее сюжеты выбирал. А он... Вон как вышло! Пульс, хлорка, валенки... «Меланж» под кроватью... ночной поход в уборную на дрожащих ногах... Переборщила, в общем.

И так потрясло ее это открытие, выбило из колеи, так поразило чувство собственной вины, что не могла она думать ни о чем другом. Каждый день моталась в прошлое — то туда, то сюда! Пыталась что-то изменить. Возвращалась разбитая, крыльев не чувствовала от усталости. Так и ковыляла по квартире на ногах, безразличная ко всему, что происходит рядом. Суета какая-то, возня...

Начались экзамены в художественную школу, дочка Непийводы отказалась рисунок перекальывать... Вроде бы Б.Б. ее побил — Душа не помнила точно. Не взволновало ее и сообщение Вики о том, что она едет поступать в Москву. Кто-то посоветовал. А Б.Б. тогда же обрадовался втайне. Отколол с доски Викин рисунок и, сощуриясь на него с портновским снисхождением, предложил: «Скажешь, у тебя, мол, много таких, но ты их дома забыла!» А на следующий день Коля вдруг объявил, что тоже едет в Москву. Тут уж Б.Б. удивился:

— А тебе зачем черт-те куда тащиться? Ты-то подготовлен как следует, тебя тут все знают. Даже если чуть маху дашь на экзамене — тоже ничего. Ты за кем увязался? Эта Вика твоя — вторая А.Г., даже еще хуже! Ты только свяжись с ней — она тебе всю жизнь поломает! Чем в Москву за ней ехать, лучше бы свел прыщи со лба!

Душа Б.Б. высоко ценила понурую Колину доброту, а сам он с Колей всегда был грубоват, не боялся задеть его самолюбие, обидеть. Но на этот раз Б.Б. перегнул палку, и Коля обиделся. Может быть, таким образом он

получал возможность покинуть больного учителя без угрызений совести. Однако недели через две он позвонил в дверь Б.Б.

— Ты что же, — спросил Б.Б., впуская «блудного сына» в дом и пытаясь разгадать, что это в нем так изменилось, — экзамены завалил?

Комната была полна маленьких девочек, которые успели появиться за время отсутствия Коли. С любопытством аборигенов они уставились на нескладную фигуру вошедшего, его ежиную шевелюру.

— Завалил, — как-то гордо ответил Коля.

— И эта — Тю-тю-тю, — конечно, тоже?

— Нет, — не без злорадства ухмыльнулся Коля. — Она сегодня сочинение сдаст.

— Как это?! — взвизгнул Б.Б. и осел на счастливо подвернувшийся стул.

— Да так. Она им на первом экзамене поясной портрет как завернула этим своим толстым грифелем... Экзаменатор его сразу отложил. А мне еще на просмотре педагог сказал, что я не пройду. «У нас, — говорит, — не в моде уже эти площадочки».

— Не в моде?! — возмутился Б.Б. — Не в моде... А как иначе передать реальный объем?!

— Ну... — улыбнулся повзрослевший Коля, — Тициан и Леонардо как-то обходились без площадочек. Тоже ничего были художники, не хуже передвижников. А, кстати, я что-то и у передвижников не вижу никаких площадок...

Тут бы Б.Б. полагалось схватиться за сердце... упасть. «Скорая помощь», похороны. Раскаяние... Похороны... Все бы вам похороны! Народил он на Колю, вот и все.

ЭПИЛОГ

И Коля уехал во Львов, где еще принимали документы. Он поступил на факультет графики. На втором курсе женился, и в родной город вернулся нескоро, отцом двоих детей. После сложных междугородных квартирных обменов. Измотанный не по годам, разрывающийся между мастерской и преподаванием в художественной школе, он не забыл своего чудака-учителя, но так и не выбрался к нему, а к известию о его смерти отнесся с грустью чисто философской. Не екнуло у него сердце и тогда, когда на афише выставочного зала он прочел имя Вики. Сперва он даже не вспомнил, кто такая Виктория Карева. А вспомнив — прошел мимо. Но вдруг остановился. Длинные, мягкие волосы коснулись его щеки, внезапно, будто рука слепого наткнулась — и испуганно опала... Коля замер, посмотрел на часы.

Работы Вики занимали две большие стены и еще узкий коридорчик. Они резко выделялись среди картин других художников, создавали в зале особенное напряженное пространство. Коля... Нет, он не был разочарован... Медовое спокойствие странных Викиных картин околдовало его.

Но он ожидал чего-то другого — какого-то продолжения тех дерзких, нетерпеливо-корявых и пугающие живых набросков. Он пожалел о том, что Вика, по-видимому, совсем забросила свой былой гротескный стиль. Подумал, что было бы очень неплохо выставить в маленьком коридорчике ее графику. Впрочем, он допускал, что Вика давно уничтожила свои ранние работы.

Коля с удовольствием подумал о том, что где-то среди его бумаг должны валяться несколько портретов Б.Б., наброски гипсовых голов, комические сценки... Глядя на размытые очертания двух женских фигур, особенно пленивших его странными оттенками красных и охристых тонов, он мысленно создавал новую картину. Безумное, ликующее лицо Б.Б., такое, каким изображала его Вика, коротенькая фигурка, провалившаяся в валенки, но написанная в новой манере Вики и в этой же красно-охристой гамме, которую очень освежил бы маленький сиреневый треугольник майки. Коле померещилось даже, что он ощущает запах чеснока и хлорки.

— Каково?! — триумфально-радостно взвизгнул за спиной у Коли знакомый голос, не считаясь с музейным благочинием зала. — Г-гениальная девица! Тоже у меня училась!

Коля обернулся. По скользкому, как стекло, паркету, быстро перебирая палочкой и подтягивая правую ногу, с поджатой к груди рукой, в коричневом костюме, в наглаженной белой рубашке с галстучком и в лакированных старообразных туфлях, с неседеющей своей шевелюрой, спешил ему навстречу Б.Б.Локтев.

— Где ж ты был?! — приветствовал он Колю с радостной укоризной. Так приветствуют человека, с которым вчера договорились о встрече и разминулись минут на пятнадцать.

— Да... во Львове... — начал приходить в себя Коля. — Я бы зашел... но мне сказали... что...

— Умер! Ха! И Петье Плюшу так сказали! Вот люди! Вечно пустят сплетни! Это у меня инсульт был! Ногу, руку вот парализовало! Чепуха! Напрасно так боялся! Ничего страшного! — И он ободряюще похлопал Колю по плечу, будто Коля стоял следующим в очереди за инсультом. — Писать, правда, больше не могу. Покончено с живописью. Но и у меня кое-что припасено! Пора! пора достать и показать людям! Посмотришь, какой поднимется переполох! Узнают, кто есть Борис Борисыч! Ты до мой?

— Нет. Я только что пришел.

— Ну, ладно, пойдем. Я с тобой еще раз посмотрю!

— А вам не трудно?

— Да ты что! — изумился Б.Б. — Нога у меня — ничего. Рука хуже, но тоже есть определенные удобства. Видишь? — Он повесил свою палку ручкой на согнутый локоть. — Хорошо еще на часы смотреть: всегда время перед глазами!

— А по хозяйству? — робко поинтересовался Коля.

— По хозяйству — Надя. — Он хлопнул себя по лбу. — Женился я! Жена у меня!

— Хорошая? — обрадовался Коля.

— Любовь! — выкрикнул Б.Б., и глаза его сверкнули так счастливо, что Коле вспомнился Викин рисунок, тот, на пружинке, из валенка.

Речь у Б.Б. была несколько затруднена. Возможно, поэтому он почти каждую картину кратко объявлял гениальной. А по залам он ковылял так быстро, что Коле много раз приходилось его догонять.

На улице Б.Б. показался Коле еще бодрее. Бросив на прощанье «Не бойся! На меня не поедут!» — он ринулся через дорогу на желтый свет.

Действительно, машины нетерпеливо урчали, но ждали, пока Б.Б. перейдет, а затем рванули с места. Б.Б. оглянулся и приветственно помахал Коле палкой, как дрессировщик, исполнивший сложный трюк.

И когда через неделю кто-то сказал в учительской, что Б.Б. умер, — Коля только плечами повел и рассмеялся. Однако наутро в вестибюле школы висело наскоро написанное плакатным пером извещение о смерти Б.Б. с его адресом, датой и точным временем похорон.

Все-таки похороны... Задал Б.Б. напоследок зрелище всему дому! Никто и представить себе не мог, что проститься с ним явится столько народа — и какого народу! Постаревшим соседкам Б.Б. не были, разумеется, известны славные имена, но гордые седые гривы! но казацкие усы и шкиперские бороды говорили сами за себя. А вышивные сорочки! а вдохновенные взгляды сквозь золотые очки! а царственные поступи и бюсты с лауреатскими значками и медалями!.. Более того! Выяснилось, что и Б.Б. — лауреат! Любовно начищенная медалька блестела на исколотой казенной подушечке. Соседки шепотом обсуждали неожиданную новость, оттесненные в сторонку, под буйную зелень, сожравшую просторный когда-то двор.

Б.Б. лежал в красненькком гробу, поставленном на две табуреточки, точно такой, каким появился в этом доме. И столько раз его здесь принимали за покойника, что и теперь смотрели с недоверием. Надо сказать, что вид у него действительно был какой-то... не вполне мертвый. Не улекавшийся. И что-то неугомонившееся таилось в уголках губ. Казалось, сейчас он вскочит, весело подмигнет и призовет всех последовать его примеру.

У изголовья гроба беззвучно и непрерывно, как раненая береза, плакала испуганная Надя. Была она крупненькая, и вся как-то грушкой наливалась к груди и плечам. Казалось, она старается занимать на земле как можно меньше места и чувствует себя виноватой, поскольку это у нее не получается. Треугольное ее лицико, с покорными карими глазами и бледными веснушечками, вызывало у всех симпатию.

Душа Б.Б. стояла тут же, под табуреточкой. Она видела, что окружающие относятся к Наде, как к доброй няньке, которая честно исполнила

свой долг и честно заслужила квартиру. Душе было очень обидно за Надю. И за Б.Б. В последние годы она редко оставляла Б.Б., все больше пребывала на месте. Разве что слетает, посмотрит: что это Надя с работы не идет... Поэтому теперь ей было особенно бесприютно. Вокруг стояли давно уже ставшие чужими люди. Под ногами рассеянно топтались их души, посматривали на нее, как дети, которые видятся только по большим праздникам и дичатся друг друга. Одну она и вовсе не узнала, понятия не имела, чья это. Чудная какая-то. То улетала, то возвращалась. Крыльшки четкие! будто только что сделаны! личико аккуратное, строгое... И вся такая нервненькая, как трясогузка.

Потом уж, на поминках, стало ясно, чья она: только заговорят об А.Г. — так вся и встрепенется, забеспокоится...

Вообще, разговоры были для Души Б.Б. неприятные. Сначала дочка Непийводы стала рассказывать, как Б.Б. лупил ее кулаками. Выпила водки на голодный желудок — и понесла.

— За что он меня так ненавидел??!

— Потому что своевольная была! — стукнул по столу Непийвода. — Не тебе клеветать на него! Он твоего отца от смерти спас в эвакуации!

— Он меня раз чуть не прибил! Вот в этот угол загнал! Вика Карева собой заслонила! А он сбоку! через плечи ее! Кулаками! А я, я... честное слово!.. я ни разу это мыло в воду не бросала!

— Да успокойтесь! — просил Коля. — У него всегда была такая девочка... которая его раздражала. Всегда черненькая, между прочим, и полненькая.

— Да конечно! — вмешалась самая видная из дам. — На него обижаться грех. Он был психически больной человек!

— Почему это?! Почему это он психический?! — обиделся Непийвода. — Просто он веселый был, Боря.

— Как же не больной! Человек двадцать лет не может ходить, а после инсульта начинает бегать по всему городу!

— Как это — бегать?! — зашумели за столом.

Оказалось, что большинство присутствующих не знает и об инсульте.

— Когда же это он инсульт перенес? — обратился к Наде интеллигентный горбун.

— Не знаю, — испуганно заморгала она. — Когда мы поженились, он был уже после инсульта.

— Теперь ясно, — обрадовался быстро хмелеющий скульптор. — А то иду как-то по улице, вижу: человек с палочкой, а бежит, как таракан — вылитый Борис! А это он и был!

— А я его на Бессарабке встретил. «Борис, — говорю, — ты куда?» — «В ботанический! — отвечает. — Поехали со мной, там сирень цветет!» Я думал сначала — обознался, потом решил — галлюцинация!

— Я тоже! — усмехнулся Коля.

— А все Анечка Гречанинова! На ее он совести! Видите — вот и на похороны не пришла, — сказал длинный с пудреной лысиной.

— Чепуха! — перебила дама. — Она бы пришла, но у нее давление высокое, а завтра ее аспирант защищается. Потому она и не вышла за Борю, что побоялась связать свою жизнь с психически больным человеком! Мне кажется, он таким стал после того случая с трубой.

— Скорее, после истории с Берией, — задумчиво промычал с другого конца стола бородатый. — Помню, когда Берию расстреляли, захожу к нему, а он мне дверь открывает в одеяло замотанный... «Все, — говорит, — мне конец». Там еще раньше было дело: он во время войны формализмом что-то немножко увлекся. Какие-то у него были работы с того времени. Мне покойный Витька Мороз рассказывал. Он к нему приходил, просил, чтобы Витька у себя несколько картин спрятал.

— Ну?

— Конечно, Витька побоялся. Такое время было... А Анечка тут ни при чем.

— Нет, — настаивал на своем лысый. — Она виновата хотя бы в том, что дело до загса довела. Выставила парня на посмешище!

— Точно! — подхватил Непийвода. — Мы там три часа на жаре стояли! Он, бедный, сначала боялся, что букет завянет... Помню эти глаза голубые, отчаянные, коричневый костюм... Как увидел его сегодня в этом же костюме... — И он заплакал.

— Странная ведь! — снова вступил горбун. — Вы заметили? Боря в течение жизни совершенно не менялся! Как будто он и родился таким. Кстати, кем были его родители?

Все стали переглядываться, пожимать плечами.

— Может, он детдомовский? — предположил кто-то.

— По-моему, — припомнил Непийвода, — он сестре писал, когда на Моте хотел жениться...

— Интересно, почему у них не сладилось? Вроде бы он комнату просил в общежитии...

— Нет. Все-таки Мотя была для него слишком простая.

— Ага! — возликовала дама. — Мотя для него простая! Задурил девочке голову, а потом уехал — и тю-тю! А он для Анечки, выходит, не простой? Вы же знаете, я любила Борьку. Но иногда у него бывало лицо... трактирного или приказчика...

— Я не согласна с тобой, Таня! — внятно, как читают детский стишок, заговорила длинная стриженая старуха, похожая на кенгуру в золотых очках. — Он был очень интеллигентным человеком — внутренне, от природы. И такая образованная девушка, как Анечка, могла его развить, дотянуть до своего уровня. Ты вспомни — по-моему, он чудесно писал небо! Вот бы увидеть те работы, что он хотел у Вити Мороза спрятать. Я уверена, что это были замечательные работы! Он был очень талантливый. А какой славный! Я тогда ходила домой через спортплощадку и всегда

останавливалась посмотреть, как он играет в волейбол. Мне всегда казалось, что он вот-вот взлетит следом за мячом! У него футбольочка была голубая с белым, под цвет глаз. А глаза были действительно небесного цвета! И эта его деликатная губка... Такой весь чистый! светлый! радостный! Я смотрела на него и думала: вот он — воплощенный облик нашего времени!

— Вот это правильные слова, — оживился Непийвода. — И не будем их портить. Давайте лучше споем. Какая была его любимая песня?

Никто не знал. И Непийвода запел свою любимую:

Сто-ёрь гора-а-а висо-о-кая-а,
Поп-ід горо-ю га-ай, га-ай...

Привольная грудь его вздымалась под богатой кремовой вышиванкой.

Душа Б.Б. решила взглянуть, как отнеслась душа А.Г. к словам старухи, но под столом уже никого не было: разлетелись кто куда. Только правильная душа Непийводы скучала на его здоровенном ботинке, слушала. Потом и она улетела — слишком длинная была песня.

Як хо-о-ро-ше-е, як ве-е-се-ло-о
На бі-і-лім сві-і-ті жи-ить!..
Чо-го-о ж у ме-е-не сер-де-ень-ко-о
і мліє... і бо-ли-ить?..

Душа еще не обвыклась в новом своем положении, не знала, куда ей деваться без Б.Б. Дверца стенного шкафа была приоткрыта, и оттуда виднелся вельветовый пиджак. Душа сгоряча ткнулась головой в карман — забыла, что Надя давно зашила дырку, — посидела на плече, подумала, зачем-то прошуршала, как моль, сквозь левый рукав и, разочарованная, поспешила вон из шкафа. Она решила, не откладывая, выяснить, может ли по-прежнему наведываться в прошедшие времена. Старательно напрягаясь, вывернулась — и оказалась в точности там, где хотела. Рамка тихого света окаймляла незапирающуюся дверь кухни. Голубой умоляющий глаз Б.Б. прижался к щели. Оттуда опасно дуло. Надя, освещенная сбоку настольной лампой, сидела на своей раскладушке, в ночной рубашке, украшенной по вырезу вышивкой с дырочками. Лоб ее, как всегда на ночь, был повязан красным шерстяным платочком от мигрени...

— Надя! — жалобно позвал Б.Б., — можно, я посижу с тобой рядом?

— Можно, — ответила совестливая Надя. Она не считала себя вправе отказать и потянулась за халатом.

— Не надо, — робко попросил Б.Б., и Надя покорно оставила халат на стуле.

Б.Б. протиснулся между дверью и холодильником. Сел. Сквозь дырочки была видна смуглая Надина кожа. Белая рубашка, крепко накрахмаленная, под мышками сложилась в две маленькие буквы «у», а между ногами и туловищем — в одну большую «Т».

— У нас дома такие занавесочки были, — умиленно сообщил Б.Б. и добавил, помедлив: — Можно, я погляжу тебя?

Надя промолчала, но он придвинулся к ней совсем близко и здоровой рукой обнял за спину, а больную приложил к ее плечу. Со стороны было похоже, что он собирается сидя танцевать с нею лезгинку. Застенчивая лампочка оставляла все вокруг в мягком полумраке и подливала во все краски желтоватый оттенок...

Душа не знала, что с нею будет дальше, но решила, что — при возможности — здесь, в этом самом вечере, и будет проводить время. Но на этот раз не стала задерживаться и вернулась назад. Гости допивали чай. Отраженный свет заката заливал пустую комнату, широкий стол, аккуратно застеленную кроватку Б.Б. с гипсовыми головами, составленными в рядок. Они были похожи на родственников, терпеливо ожидающих, когда для них освободятся места за столом. Один Люций Вер восседал на своей табуретке слева от Непийводы и смотрел в тарелки — нахально, будто подсчитывал, кто сколько съел...

— Я хочу посоветоваться, пока вы все тут, — обратилась к гостям Надя. — Как мне быть со статуями? Я — человек простой, одинокий, я ответственности боюсь. Борис Борисыч даже пыль с них стирать не разрешал! Я решила отдать в музей. Просто так, безвозмездно.

Гости помолчали, растроганные, но все-таки не выдержали и рассмеялись.

— Это немузейные вещи, — виновато объяснил Коля. Да Удзано устался на него выжидающе. Сократ тупо смотрел прямо перед собой, Эктор готовился завыть в голос. — Может, в какую-нибудь студию...

— Да нет! — перебил лысый. — Они же все дефектные! Это ж Рябоконь — как испортит по пьянике отливку, так и тащит ее Борису. Узнайте, нет ли тут кружка при ЖЭКе, для них сойдет. А то выставьте их возле мусорника — кому надо, сами заберут.

— Тогда пусть здесь остаются, — отрезала Надя, как добрая мачеха, которой предложили сдать в приют непутевых детей покойного мужа.

Провожая гостей к дверям, она была вежлива, но не могла скрыть некоторой холодности, и только Колю попросила задержаться.

Коля догадывался, зачем, и с тоской сознавал неотвратимость надвигающегося. Он стоял и покорно слушал, как Надя шарудит в кладовке. Давно уже у него не было прежнего любопытства к неведомым шедеврам учителя.

— Вот, — сказала Надя и положила перед Колей серую папку и стопку тетрадей, зеленых, с красными корешками. — Это наследие Бориса Борисыча. Пожалуйста, сдайте его на выставку или еще куда там надо...

Коля раскрыл папку. Ему улыбнулось хорошенькое лицико узбекской девочки, и достаточно свежо написанное. К сожалению, левую сторону лица портило фиолетовое плоское пятно, изображавшее, по-видимому, тень. Оно явно было намазано поверх обычной незамысловатой живопи-

си. Следующим оказался старик с таким же пятном, но синего цвета, и невнятными разводами на заднем плане. Коля полистал еще для приличия и предложил:

— Оставьте себе что-нибудь на память.

— Нет, — светло улыбнулась Надя. — Он для людей старался. Для народа.

Коля направился к троллейбусной остановке. Она оказалась на старом месте, но больше не была конечной. Вместо пустыря, огороженного забором, отходили далеко на запад густо застроенные улицы.

Троллейбус подкатил почти пустой. Коля уселся у открытого окна, пристроил сбоку папку и зеленые тетради Бориса Борисовича. Он вспомнил вдруг, что сидел точно на этом месте, когда впервые возвращался из новой квартиры учителя. Вспомнил, как читал листки из его дневника, подобранные под лестницей.

Коля сдвинул бечевку и вытащил наугад одну из тетрадей. Раскрыл ее. И сразу наткнулся на свое имя.

«17 ч. 00 м.

Уже третий день, как терплю невыносимую муку. Что-то натянулось между поясничным позвонком и печенью. Чувствую, что если оно разорвется, произойдет внутреннее кровотечение. Пожаловался Кольке — а он и слушать не стал. Совсем испортился! «Вызывайте, — говорит, — врача!»

Врача... Знаю я этих врачей! Начнешь им что-то объяснять, а они тебя поднимут на смех.

А все на нервной почве, от Софии Исаковны. Опять приставала со своей Надей. Вот ей Надя! Фигу я на ее Наде женюсь!

19 ч. 00 м.

Приложил перцовый пластырь. Слабительное не действует.

Верхняя часть мозга сжимается и разжимается наподобие гармошки.

Дочка Непийводы нарочно оставила в уборной свет. Злорадствовала за спиной.

22 ч. 08 м.

Итальянцы, итальянцы! Что — итальянцы?! Дутые величины! Вещи у них, конечно, красивые. Но вопрос — почему? Потому что натуру красивую выбирали. Наряды богатые, кружево, драгоценности. Невелика хитрость красивую картину нарисовать! А ты попробуй свою «Мону Лизу» в пиджаке нарисуй, с перманентом! А я посмотрю! Ага? То-то! Вот и нет ваших итальянцев! Создали куль! Кто из них сдал бы вступительные экзамены в институт? Ботичелли? Или Перуджино со своими куколками? Может, только троих бы и взяли: Леонардо, Рафаэля и Микеланджело. Но, сказать по правде, НАСТОЯЩЕГО, АКА-

ДЕМИЧЕСКОГО рисунка и у них не было! Если хорошо посмотреть, так и ошибок полно. Взять хоть «Мадонну Литту» — голова у ее младенца откуда растет? А нога у «Раба умирающего» почему в яме? Почему? Пропорций не рассчитал ваш Микеланджело! Вот и пришлось в подставку вгрызаться! А взять его последние работы... Так лучше бы он их вообще не делал, не портил впечатление! Не говоря уж о Рембрандте! У Саскии шея свернута, плечай под платьем нет, глаза смотрят в разные точки! Да ему бы Армяков-Козловский больше тройки за эту картину не поставил! А Колька, дурак, повторяет чужие глупости! У самого лоб весь в прыщах, а он за этой фифой в Москву потащился! Святыни попирает! А она хуже любой А.Г.! Видно, мир перевернулся, раз таких стали в вузы принимать! Передвижники им не вершина! Да только с них и пошел настоящий реализм! Только с них и началась настоящая школа! Да, я не отрицаю: итальянцы, голландцы, фламандцы были гениями, но по грамоте они уступают любому современному студенту-второкурснику!

Не надо мне было вообще сюда переезжать! Остался бы при Армякове-Козловском. Разве тут были педагоги такого масштаба?! Крестовский? Ха-ха! Да вся моя жизнь пропала к черту из-за Крестовского! Как я хотел? Хотел просто пейзаж написать, вид из собственного окна. Вот эту самую весну, когда зелень только появляется! И все видно насквозь, а сбоку подсвечено закатом! «Не успеешь! — говорит. — Таких всего три-четыре дня!» А я говорил ему: успею, успею я за три дня, захвачу! А он: «Может солнца не быть, может погода испортиться... Зачем такой риск?.. И вообще бесперспективно это! Не соответствует духу времени!»

Ну ладно, с Берией — он меня подвел. Но Кагановича — кто заставил меня рисовать?! Столько труда, столько сил пропало даром! А может, есть оно где-то, не сожгли? Может, когда-нибудь пересмотрят, вернут на законное место? Поймут, что главное — это живопись, Мастерство, а не кто там нарисован. Веласкеса же не повыбрасывали из музеев за то, что он Оливареса рисовал! А тот, небось, был похуже Кагановича...»

Февраль 1998 г.



Яков Лотовский

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЬ ЗЕМЛИ

Не знаю, отчего я набрал именно этот номер, ища в своём блокноте среди множества московских телефонов один, где можно было попросить ночлега для нас с женой. Прибыли мы из Киева в столицу для собеседования в американском посольстве, поскольку вознамерились жить в США и просили на то позволения у американских властей. Собеседование уже было позади. Нам предстояло переночевать в февральской Москве, чтобы завтра узнать, переменится ли наша судьба. Ход собеседования не оставил нам особых надежд. Теперь мы рассчитывали найти ночной приют у кого-нибудь из моих московских друзей.

Но подвернулся под руку телефон человека, которого нельзя было назвать моим другом, однако хотелось бы. Встречались мы прежде от силы три-четыре раза. В основном, по весёлым поводам — именины, свадьбы, отпуска. Привозила его в Киев многолетняя его подруга, дама сердца, по-разительно молодо глядевшая, очень женственная, игравая. В редкие случаи нашего с ним общения, он был расположен ко мне, звал в гости, когда буду в Москве.

Я знал, что Федя — профессиональный композитор, что сочиняет серьёзную музыку, что каждое лето проводит в подмосковной деревне, снимая избу на сезон и вывозя туда рояль. Я себе ярко представлял иной раз этот его «стейнвай» в бревенчатой избе и местного пса во дворе, с которым Федя делит своё летнее затворничество. Не знаю отчего, но мне винилась это картина сверху, как бы с высоты, скажем, ангельского полёта (поскольку прозревалось как-то сквозь крышу): чёрный лакированный рояль, седоголовый Федя и пёс во дворе.

Случалось мне слышать, как он музиковал в доме моего друга на пианино, к которому никто обычно не прикасался, и оно пребывало здесь в виде символа культурных семейных начинаний. Он извлекал из него звучные пассажи и целые пьесы, и хозяевам было удивительно, что эта чёрная мебель, используемая только под хрустальные вазы, статуэтки, салфетки, способна издавать такие благородные звуки. Меня влекло к этому человеку, выбивавшемуся из обывательского нашего круга, хотелось сойтись короче, поговорить по душам, но такой возможности всё не выпадало. Расставаясь, он всякий раз приглашал к себе в Москву, — конечно, только не летом. И всё же это не могло быть поводом, чтобы вот так внезапно сваливаться на голову. Да ещё с ночлегом. Тем более — вдвоём.

Однако желание его видеть взяло верх над щепетильностью. Тем паче, что голос Феди в телефонной трубке звучал радушно, он настаивал на нашем приезде и тут же пустился в пояснения, как к нему проехать, и сказал, что будет ждать нас на остановке трамвая.

Уже сгостились фиолетовые сумерки, когда мы с женой сошли с трамвая. На противоположной стороне улицы под фонарём, среди сугробов и снежных вихрей стояла одинокая фигура. Я издали махнул рукой. Ответного приветствия не было. Мы подошли ближе. Это был он. Мы обнялись, он поцеловал руку моей жены в перчатке — и мы последовали за ним мимо девятиэтажек, с аляповато измазанными смолой панельными стыками, мимо сугробов, по расчищенной и снова полузанесённой тропинке. Оборачиваясь к нам, он рассказывал об этом уголке Москвы, его истории и топонимике. Похоже, он был нам рад, но всё же угадывалась какая-то в нём озабоченность. Мы спросили, не нарушили ли его планов? Нет-нет, отвечал он поспешно и, видимо, гоня прочь свои заботы. Только оказавшись в его квартире, находившейся в одной из этих девятиэтажек, мы поняли, что вторглись не вовремя.

Его жилище состояло из комнаты и кухни и имело запущенный вид. Немытая посуда, какие-то коробки, окурки, пивной ящик с пустыми бутылками в ячейках. В комнате на обеденном столе разложены были большие ватманские листы бумаги, с крупно расчерченным под линейку нотоносцем.

Я поинтересовался — отчего такие огромные листы?

— Плохо видеть стал, — сказал он беспечально и махнул рукой: ерунда.

Оттого и не ответил на улице на мой приветственный взмах издали.

Я всегда его помнил седым. Теперь седина была снежно-белой, даже чуть шибала синевой, как рафинад. Волосы не поредели. Зато зубы поредели куда уж больше: торчал единственный зуб — большой, жёлтый, точно из слоновой кости.

Когда он снял шапку-ушанку, голова его не осталась непокрытой, на темени сидела странного вида вязаная шапочка. Видать, с ней он не расставался, вот даже ушанку надел поверх, будто дал зарок не снимать её. Шапочка придавала ему вид посвященного в какие-то тайства, вид мастера.

На кухне мы накоротко соорудили застолье с водкой и пивом. Моя жена отварила гору сосисок. Хлеб, консервы, сыр. Типическая московская кухонная пирожка, на которой обсуждаются и обыденные, и всемирные вопросы.

Погруженный в свои мысли, он довольно равнодушно выслушал моё сообщение о нашем решении покинуть родные края, о сегодняшнем испытании в американском посольстве, сцены которого всё стояли у меня перед глазами. Я был непрочно излитъ свои впечатления и чувства, но он больше вслушивался в себя, что-то в нём там варилось, не отпускало.

И я ограничился сухим сообщением.

И всё же Федя в самом деле был рад нам. Особенно, когда малость выпил. Он время от времени отрывался от застолья, чтобы броситься к роялю, косо отрезавшему половину комнаты, и сыграть Шумана, Шопена,

Рахманинова, доставить нам удовольствие и дать себе полный роздых, раз такая оказия. Его рабочий инструмент был превосходно отлажен. При трудных пассажах он приоткрывал рот и показывал свой большой, как клавиша, зуб. Сыграв, он возвращался к водке, что была ему в охотку.

Моя жена — утренняя птица, и особой радости от ночных посиделок получать не умеет. Она вскоре была препровождена ещё незахмелевшим хозяином в гостиную и расположившись на кушетке, на выданной свежей постели, уснула. Мы же продолжили с ним откровенное пьянство и скромственный разговор.

Он рассказал об обстоятельствах его теперешней жизни. Жена его год как умерла. Подруга уехала в Израиль с мужем и детьми. Об этом он не сказал, но мы знали помимо него — сами такие, норовим улизнуть. Осталася замужняя дочь, которая время от времени проведывала его. Он же с головой ушёл в сочинение заветной своей симфонии.

В наследии великого русского композитора Скрябина Федя нашёл наброски замысла симфонического триптиха «Метаморфозы». Реализовать этот грандиозный замысел стало делом его жизни.

Уже написаны им две части. Первая была исполнена в 1973 году в Московской филармонии большим Государственным симфоническим оркестром и Российской академической хоровой капеллой под управлением Юрлова, с органом и фортепьяно. Дирижировал знаменитый Кирилл Кондрашин, впоследствии уехавший в Америку. Это был единственный случай, когда Федина симфония была исполнена на родине и записана на пластинку. Вторая часть в России не исполнялась. Она игралась в Германии, Японии, Англии, в других странах, где угодно — только не дома. Типичный у нас ход вещей. Теперь последовал заграничный заказ на третью, завершающую часть, над которой он запойно трудился, целиком отрешась от мира.

— Сплю четыре-пять часов, — сказал он. — Остальное время тружусь. Работу необходимо сдать заказчику к маю, на сентябрь намечено её исполнение в Лондоне. На дворе уже середина февраля, а работы ещё уйма. Наш внезапный визит несколько выбивал его из колеи. Но он уверял нас, что и сам нуждается в перерывах.

— Хорошо, что приехали, — повторял он в возникавших паузах, стараясь как бы убедить в этом самого себя. — Надо отвлечься. Адское напряжение.

— Расслабиться надо, — подтверждал я, разливая водку по бокалам и имея ввиду давешние треволнения в американском посольстве. Так что повод выпить был у нас у обоих.

— Желаю успеха вашему делу, — сказал я, поднимая бокал.

— А я вашему, — отвечал он, поднимая свой, но я не совсем уверен, что он понял, какого свойства наше дело.

Опрокинув бокал в рот, Федя поглядел на меня из-под нависших белых бровей, прикидывая что-то в уме. Я, наверное, был первым существом, попавшим в поле его слабеющего зрения с тех пор как он ушёл в творческий запой, имея перед глазами только расчерченные листы и клaviaturу. Не считая дочери, что иногда приносила в прокуренную его берлогу провиант и свежий морозный воздух.

— Эта веещь будет последней, — сказал он.

— В каком смысле? — спросил я довольно беспечно.

— В буквальном. Надо успеть закончить, пока жив. Закончу — умру, — сказал он просто и даже буднично, стараясь подгадать кусок сосиски под свой одинокий зуб.

— Лебединая песнь? — тут же отозвался я расхожей фразой, как и надлежало представителю мирской обыденности.

— Именно так, если угодно, — сказал он.

И, остро посмотрев на меня, добавил:

— И не только для меня.

Я молчал.

— И мир погибнет, — сказал он, опустив голову; и седая прядь как-то очень по-русски свалилась ему на лоб.

— Что вы имеете в виду? — спросил я, насторожась.

— Скончание мира, — сказал он, и снова без никакого пафоса.

— Как?! — замер я от восторга. Восторг мой был связан, ясное дело, не со скорой кончиной Земли. Я был в восторге от безумного его размаха, уж больно по-русски выходило.

— Вот так, — сказал он просто, как о деле решенном.

Мы долго молчали. Я первым нарушил паузу:

— Зачем же я пью за успех вашего дела, Федя?

Он грустно ухмыльнулся.

— Нужно успеть управиться, пока жив...

— Кто? — не удержался я.

— Мир.

— Простите, Федя... Ваш внутренний мир?

— И внешний.

Я невольно направил взгляд за окно на «внешний» мир. В соседних многоэтажках кое-где ещё светились окна. В окне напротив женщина взмахивала свежими простынями, стеля на ночь. Моя жена, положив, по своему обыкновению, щеку на пухлый свой локоток, спала за стеной, в комнате, где на обеденном столе располагались *in folio* листы — с расчерченным нотоносцем, чтоб виднее было Феде записывать партитуру, — проект окончания света. Спала то есть рядом с «ядерной кнопкой».

— И вам не жалко?

— Жалей — не жалей... Начертано.

— А если не закончите, мир уцелеет?

Он посмотрел на меня тревожно.

— Обязан закончить, — сказал он.

После новой паузы я сказал:

— Знал бы ваш заказчик, какие последствия возникнут...

Федя пожал плечами:

— Всему свой черёд. И заказчику тоже.

— Знаете что, Федя? Давайте выпьем за успех вашего шедевра, независимо от судьбы мира.

Он снисходительно усмехнулся, показав зуб, и чокнулся со мной.

Многолетняя дама его сердца, говоря кстати, была зубной врачихой и приложила много стараний, чтобы наладить ему зубы, когда рот его был еще не совсем разорён. Я и сам помню, что на вид их было числом поболее, этакий полуразрушенный частокол. Но что там зубы — да пропади они пропадом! — когда есть на свете вещи, как видите, куда важнее, когда твои песочные часы перевёрнуты и надо успеть исполнить своё предназначение. Ему, композитору, имеющему дело с временем как с одной из двух составляющих музыки (как известно, нота состоит из высоты звука и времени её звучания), жалко было расходовать впустую этот строительный материал.

Это теперь я держу чуть шутливый тон. Но должен сказать, что вполне допускал роковой исход его затеи, его последнего дела, когда мы с ним полуночничали, поскольку и сам не лишён был эсхатологических замашек. Особенно, в отроческом возрасте.

Водилась за мной тогда странная черта, сокровенный такой страх-соботаж: если произнести два-три слова, каковые ещё никому не приходило в голову поставить рядом, что-то произойдёт страшное, мир рухнет — сорвётся с винтов и рухнет. И я, замирая от ужаса, всё-таки бормотал редкие словосочетания, будто чёрт меня дёргал. Мне и сейчас иной раз делятся страшно от такой моей всё ещё не изжитой фобии.

И вот я встречаю ещё одно существо за похожим магическим занятием. Была конечно разница между нами: я допускал такую возможность — он верил в это. Мною двигало голое любопытство — им движет желание настолько познать и выразить мир, что дальнейшее его существование теряет свой смысл, то есть с помощью как бы сухой возгонки мир должен перейти в свою квинтэссенцию, выраженную в звуках. Общим было то, что мы оба считали: судьба мира может зависеть от усилий частного лица.

Так что я вполне умел понять его. Как понимает, скажем, композитора Адриана Леверкюна повествователь Серенус Цейблом в романе Томаса Манна «Доктор Фаустус», понимает и жалеет. Что-то наподобие того было теперь и у меня с ним.

Кстати говоря, в ходе ночного разговора всплывало имя Артура Шёнбергера, который и послужил прототипом образа Леверкюна, хоть Томас Манн и не хотел этого признавать. Среди музыкальных же столпов, названных Федей, было одно русское имя — Скрябин, конечно. Оно стоя-

ло в таком ряду: Бах, Моцарт, Бетховен, Шуман, Малер. Федя считает, что после ничего равного им в музыке не было. И вот — мой сегодняшний собеседник, субъльник, на котором всё и завершится, если, конечно, он управится к маю, чтобы сдать работу иностранному заказчику. В сентябре новый его опус обязан прозвучать в Англии. Дирижировать оркестром будет сам автор.

Тут трезвая сторона моей натуры не совсем понимала: как он сможет дирижировать, когда не только его самого не будет на свете — света самого уже не будет. Впрочем, он мог считать окончанием работы окончание исполнения, когда оркестровая кода совпадёт с кодой всего сущего. Дирижёр даст финальную отмашку, оркестр умолкнет и — всё провалится в тартары.

Подмывало ещё кое-что спросить. Будет ли, скажем, в финале звучать труба архангела Гавриила? Как можно продолжать работу, зная такой её печальный исход? Вставит ли он по этому случаю зубы, чтобы представать приличней пред почтенной публикой? Но не хотелось быть дотошным в столь серьёзной атмосфере нашего полуночного бдения.

Затем он предложил прослушать запись 1973 года. Я, естественно, согласился, хоть и сразу был несколько встревожен таким оборотом дел. На дворе стояла полночь и, поди, всё вокруг уже спало перед завтрашим рабочим днём.

Мы перенесли из комнаты, где почивала моя жена, в кухню его стереосистему с колонками, расположили на подоконнике полуоткрытого окна, и он врубил её на всю мощь, обрушивая на уснувшую Москву могучие рокировки большого симфонического оркестра, объединённого с хоровой капеллой и органом. Мне было жутко не по себе от такой бесцеремонности.

Я попытался было ему внушить, чтобы поубавил громкость. Он лишь в ответ махнул рукой в сторону окна — дескать, потерпят, всё равно осталось недолго.

Когда сокрушительное финальное «тутти» умолкло, установилась такая тишина, что, казалось, мир и в самом деле умер.

— Грандиозно, — сказал я, с облегчением переводя дух.

Не знал я, что он горазд на такую могучую музыку. Затем я что-то там умничкал по поводу одночастного построения, фортепианной партии без соло и каденций, ещё о чём-то. Поздравив его с шедевром, предложил выпить. Предложение моё само собою напрашивалось и, конечно, нашло поддержку у автора.

Когда мы закусили, я спросил о второй части. Спросил и напрягся: вдруг он опять устроит прослушивание. К счастью для окрестностей, записи второй части у него не было. Но он рванулся было к роялю, чтобы сыграть куски клавира, но вспомнил, что там спит гостья. Меня тронула его обходительность.

— Славная шапочка на вас, — сказал я, чтобы в ответ сделать ему приятность.

— Жена связала, — сказал он. — Она для меня была самым дорогим человеком. Шапочка её всегда на мне — согревает.

— Грешен я перед ней, — сказал он вдруг и поник головой, пригорюнясь. Видимо, имел ввиду отношения с прелестной его подругой.

Он наполнил наши бокалы, и мы помянули его жену.

Я понял, что есть связь между смертью жены и отъездом в Израиль dame его сердца. Схоронив жену, он, видимо, порвал и с другой женщиной, что также в нём души не чаяла, и той ничего не оставалось, как укатить в Израиль с мужем и взрослыми детьми.

Чтобы переменить тему, он спросил, как наши дела. Я махнул рукой: какие-то могут быть дела по сравнению с тем, что тут происходит, и не стал рассказывать о сегодняшнем интервью, что мы прошли в американском посольстве, которое на улице другого композитора — Чайковского. Пришлось бы вдаваться в не очень приятные и довольно унизительные для меня подробности. Я и без того чувствовал себя чем-то вроде дезертира, покидающего эту землю в трудную минуту, когда жизнь у всех пошла теперь кувырком.

Мы бежали от национальных репрессий, которые мы несколько драматизировали, от антисемитизма, с которым вполне сжились. От этого мои изменические чувства усиливались. Приехал сдаваться, спасая свою шкуру. Было ощущение, что просто сыграл на ситуации. Видать, мало хлебнул горя.

Интервью носило уничижительный характер. Иммиграционный чиновник, чинивший нам допрос, был поляк. Дурная молва о нём прокатывалась по толпе искателей счастья, заполнивших приёмную. Здесь были не только евреи, но и всякий сущий язык. Евреев больше. Пожалуй, половина. Среди этой половины и ходил слух, что в кабинете № 6 сидит антисемит. Евреи страшились попасть в этот кабинет. Сквозь закрытую дверь пробивались какие-то нервные, даже истерические крики. Надо понимать, кричали допрашиваемые, доведенные до отчаяния. Кричали порой навзрыд. Выходили с красными, бледными, прыгающими лицами. Из других же дверей народ выходил, просветленно лучась. Мне хотелось, чтобы нам достался именно кабинет № 6. Есть во мне род фатализма.

Получится, нет — пусть решит судьба. Уехать, конечно, хотелось. Америку я всегда любил. Джаз, Голливуд, Бруклинский мост, «Рапсодия в стиле блюз». То есть — любил — романтически. Но как там сложится у нас? Я взбадривал себя так: многие мои ровесники стали помирать, отправляясь в мир иной. Ведь и я вполне мог быть в их числе. Так что на Америку, что бы там меня ни ожидало, я смотрел как на вариант того света, далеко не худший вариант. А не примут — что ж, остаться на этом свете тоже не так уж худо. Мне было что терять на этой земле, в Киеве. Не буду перечислять что именно, дабы не ударяться в сантименты. Антисемитизм? Да. Есть и был. Но где его нету? Он везде, где живут евреи. И где нашего брата больше, там и антисемитизма больше. Разве только в Изра-

иле нет. Но и там, кажется, есть что-то наподобие того по отношению к русским евреям. Антисемитизм — это тень еврея галуга. И не всегда он продиктован ненавистью. Можно сказать, это форма интереса к еврею, нездорового интереса. Так сложилось искони. Часто, правда, интерес был настолько нездоровым, что приводил к очень печальным последствиям. Сию чашу, слава Богу, мне не пришлось испить. Пока.

Я представил чиновнику весь свой, перефразируя Маяковского, «перечень еврейских болей, бед и обид». Повторяю, я сгущал краски, и сосало душу греховное чувство лжесвидетельствования. Ведь бывал же я счастлив в этом kraю. Ну, хотя бы на той же рыбакской зорьке; или когда мой младенец сынишка сладко зевал и от этого звука делалось так уютно в нашем транзитном земном существовании, что на мгновение казалось, что никакого транзита нет, что ты сошёл вот на этой тихой станции и ехать дальше никуда не надобно; или в то больничное утро, когда родная моя сестрица, что была здесь сестрою не только мне, но и всем, то есть медицинской сестрою, весело махнула рукой из открытого окна противоположного корпуса, и мы перекинулись несколькими обычными словами и как бы «одомашнили» разделявшее нас пространство; или пронизанный лучами утреннего солнца стакан железнодорожного чая в блистающем подстаканнике, а за окном вагона, кажется, Наро-Фоминск, и впереди желанная сердцу Москва... Да мало ли их было — мгновений тихого внезапного счастья... И дней. Я бы мог представить чиновнику куда более длинный перечень радостей, которыми меня судьба не обделила на этой земле. Но было у меня кое-что и для иска — бытующему у нас порядку вещей и особо властям предержащим — об ущемлении моих человеческих прав, наших прав. Однако на каждый мой пункт чиновник отвечал: ну и что, может, вы малообразованы, может, вы плохой работник, может, вы плохой писатель, не только вас не принимали, не только вы были безработным, не только вас не печатали. Скажи я, допустим, даже про Бабий Яр, он бы ответил: ну и что, не только евреев там расстреляли. В приёмной народ рассказывал, что с этим своим «ну и что» он якобы брякнул даже такое: ну и что, я тоже не люблю евреев. В конце допроса я сказал, что, несмотря на всё, не держу сердца на эту землю и всегда по возможности буду поминать её добром. В заключение чиновник надменно процедил, что очень сомневается, что нам дадут вид на американское жительство. Мы покидали посольство почти уверенные в отказе. Тем более, что жена и её американский брат — от разных отцов, а документа, что они единогубые, не было. Чему быть, того не миновать — решили мы, вывалившись из иностранной территории снова в московскую зиму. С этим фаталистическим настроением, способствовавшим безудержному загулу, я и пребывал теперь у Феди.

Но что был мой фатализм по сравнению с Фединым! Мой фатализм был пассивным, его — деятельным. Я ожидал решения судьбы — он решал судьбу. Я ожидал решения нашей семейной участи — он решал

участь мира. И выходило, что наша судьба вершилась не в американском посольстве, а в этом доме. Такая вот судьбоносная случилась ночь. И потому пили мы с ним много. Очень.

Да, он был маэстро не только в музыке, скажу я вам. Но если по части музыки я с ним тягаться и не брался, то по части выпивки — вполне. В этом деле я представлял ту же, московскую, школу пития. Я проучился здесь шесть лет в Литинституте, не столько учебном, сколько, я бы сказал, питейном заведении. Питие там было чуть ли не лозунгом, эгидой. Есенинщина дурного толка была стилем поведения. Институтское начальство смотрело на эти забавы сквозь пальцы. Пусть пьют, лишь бы не вольнодумствовали. Шутливый обряд посвящения в студенты состоял в том, что ты на сцене, перед лицом зрительного зала должен был одним духом выпить бутылку вина. Жил я в институтском общежитии, славном на весь Останкинский район столицы тем, что его обитатели пили и дебоширили с большим энтузиазмом, чем изучали учебный курс. К тому же я имел честь быть в семинаре Николая Борисовича Томашевского, литератора и знатока латинской культуры, академика Флорентийской Академии искусств, славного также своей неутомимостью за пиршественным столом. Я имел удовольствие быть ему частым компаньоном, так как питал он ко мне расположение. Прибавьте сюда и изрядный период, когда я работал грузчиком по выгрузке спиртного, нигде не найдя себе иной работы с моим высшим литературным образованием, но еврейским происхождением, зато найдя работу, вполне достойную выпускника высшего питейного заведения страны, — и вот вам портрет матёрого выпивохи, которого судьба миловала, не дав стать пьянчугой. В нашем роду я был не только первым интеллигентом, но, видимо, и первым выпивохой. Пьянством я старался преодолеть в себе традиционный еврейский стереотип и выпил за свою жизнь столько, сколько, возможно, все мои предки вместе взятые.

Думаю, и русские предки Феди не приняли бы столько горького зелья в один присест, сколько мы в ту ночь. Заедали мы давно остывшими, сморщенными сосисками. Вodka у него катилась хорошо, управиться же с сосиской ему не удавалось. Никак не мог подгадать её под зуб. Похоже, что на протяжении ночного нашего сидения он всё гонял во рту первый кусок. Когда мы, прежде чем отправиться на боковую, заключили друг друга в тесные объятия и сердца наши несколько минут стучали рядом, сосиска эта всё была у него во рту, и он, в конце концов, выплюнул её в руку и брезгливо швырнул в мусорное ведро, промахнувшись.

Уснул он в своей шапочке, съехавшей набекрень.

История эта, как видим, должна была стать куда более роковой, чем в случае с моцартовским «Реквиемом» и его заказчиком в чёрном плаще. Был ли в чёрном Федин иностранный заказчик? Но нет, здесь речь должна идти не о моцартовском, а о есенинском «чёрном человеке», так как Федя человек русский, и представления его обо всём — русские. И неваж-

но, был ли в чёрном его заказчик, важно, что — иностранец, извечный роковой искуситель России.

Впрочем, моцартовский «чёрный человек» — это ведь персонаж пушкинский и, стало быть, из той же русской оперы. Моцартовский «чёрный человек» плюс есенинский — и не сумма их, а произведение — задали апокалиптический пафос его шедевру, последнему на Земле. Вряд ли Скрябин (и кто-либо ещё на свете) мог придавать столь роковую роль своему творению. Скрябинская идея в процессе развития стала Фединой апологией, обросла пророчески-фатальным ореолом. Замысел состоял в том, чтобы показать весь цикл, пройденный вселенной от ее рождения до смерти. Федя сперва, может, и опасался (как и я в своих отроческих словесных пробах), что своим сочинением завершит вселенский круг. Но почувствовал, что дело и без него к тому катится, и надо успеть управиться к урочному часу. Затем он уже не различал, где причина и где следствие, всё перепуталось и слилось: и конец работы, и конец его жизни, и конец всему. И он очертя голову создавал свой бессмертный опус. Больше чем бессмертный опус. Куда, казалось бы, больше? Есть куда. Он создавал смертный опус, лебединую песнь Земли.

Русская натура всегда идёт ва-банк. Русский художник, чтобы творить, должен себя изводить, терзать, убивать себя. Если не возьмёт это на себя власть и общество. И чаще всего испытаным средством — пьянством. Он как бы включает форсаж. Жжёт свечу с обоих концов, обостряя ощущение скоротечности земного бытия, драматизма своего существования. Я знал таких. И я умел их понимать. Меня восхищала их самозабвенная, беспощадная к себе — убийственная — увлечённость, и жаль было покидать такую Россию.

На другой день, мы, искатели иной судьбы, собрались у посольской ограды и краснощёкий американец, что выскочил налегке, выдыхая зимний пар изо рта и ноздрей, стал оглашать список получивших разрешение жить в Америке, слышали и свою фамилию и получили большие пакеты, заключавшие в себе путёвку в иную жизнь.

Когда мы расставались, Федя записал мне на аудиокассету первую часть триptyха, исполненную Кондрашиным, а также подарил партитуру своей симфониетты для струнного оркестра, изданную в 1991 году «Советским композитором» в Москве. Я тоже оставил ему на память свои «17 кг прозы», изданные в том же 91-ом «Советским писателем» в Москве же. 1991-й был последним годом официального хождения слова «советский».

Так и не знаю, довёл ли он до конца свою работу. Но судя по тому, что мир пока ещё жив, Федя то ли не закончил, то ли не довёл до роковой кондиции свой шедевр. Позднее дошёл до меня окольный слух, будто он женился. Выходит, внезапный наш приход и всеохватное пьянство размагнитили его. Так что, покидая Россию, я ненароком перебил ему рабо-

ту и, значит, избавил, или, по крайней мере, оттянул обе кончины — его и мира.

Лишь затем в Америке я понял, что всё-таки он не сильно ошибся со своей отходной. Разве только несколько преувеличил значимость своей работы, как это бывает у русских гениев с их мессианской увлечённостью, преувеличил катастрофичность происходящего в мире. Это была не гибель Земли, а только шестой её части, точнее, гибель эпохи в России.

России, которую я покидал.

МИРА МОЙСЕЕВНА

Приятель мой, Женька, отправляясь в долгосрочную командировку, которой суждено было злую судьбой стать для него бессрочной, просил навестить иной раз его бабку, Миру Мойсеевну. Она ему была всегда вместо матери и оставалась теперь в доме одна. Мать же много лет обитала в больнице Павлова, то есть в киевском сумасшедшем доме, будучи помешанной на идее регенерации сгоревших электролампочек, которой она придавала решающее для страны значение, называя свой проект «вторым планом ГОЭЛРО». Женька всегда конфузился на людях ее манер и речей. И поскольку мать вынашивала такие громадные планы, Женька чуть ли не от рождения находился под опекой Миры Мойсеевны.

Я иной раз вспоминал о Женькиной просьбе, но выбираться к Мире Мойсеевне все как-то не удавалось. Тем более, что они переехали с Подола на окраину. Лишь в конце марта, случайно оказавшись в их краях, решил ее навестить.

Это был новый жилой массив. Улица, куда их поселили, носила имя генерала, чьи доблести были оттиснуты на мраморной доске, приделанной к стене первого в шеренге типовых домов, как бы стоявших во фронт по одну сторону улицы. На противоположной стороне стоял лес.

Квартиру здесь они получили в конце прошлого лета, когда к нам на Подол врезался Метрострой, что своими железными плечами раздавал тесные улички, руша дома на своем прямолинейном пути, сминая устоявшийся жилой уют.

Мира Мойсеевна долгую свою жизнь прожила на кривой теплой улочке. На ее памяти она переименовывалась раз пять, но Мира Мойсеевна называла ее старым именем. Там ее окружали соседи, с которыми она зналась чуть ли не с детства, ссорилась, мирилась. Переезд, как она говорила, «к черту на куличку» дался ей тяжело, по сути, был для нее эмиграцией. На новом месте ею тут же овладела кручина по Подолу, по друзьям своим и врагам, она откровенно загрустила в этом продуваемом всеми ветрами жилом массиве, в новом доме без примет. Лес ее пугал. Ее угнетало одиночество.

Соседями оказались молодые семьи, которые с радостью вселились в стандартные квартиры и взапуски принялись за благоустройство. Вечерами, возвращаясь с работы, они тут же хватались за молотки и дрели и с упением стучали в стены до полуночи, приколачивая карнизы, полки, вешалки, покупаемые тут же в мебельном магазине, на первом этаже их дома. Она сидела среди этого перестука и глядела на лес. Вечно куда-то спешащий внук тоже успел втащить новый мебельный гарнитур, но расставить не успел — умчался в очередную командировку. В Сибирь на этот раз. Для него Сибирь находилась ближе, чем для нее теперь Подол с ее насыженной квартирой. Она выслушала весь не очень разнообразный репертуар песен, что распевали охмелевшие новоселья то слева, то справа, то снизу. Песни были сельские, чужие, «гойские», на ее слух, похожие одна на другую, как и дома на этой «чертовой куличке». Она глядела в окно, на заснеженный лес, и он виделся ей Сибирью. Тою же зимой она слегла.

Я не знал всего этого, когда пришел к ее двери и надавил на кнопку звонка. У порога лежал знакомый половичок, о который я часто обтирал ноги в их прежнем доме. Теперь он был чистый, несмятый, и в этом я усмотрел упрек себе. Половики у остальных дверей площадки были мокры, заслежены.

На площадке пахло свежей краской и борщем. За соседней дверью пел девчоночный ломкий голосок: «Ты такой холодный, как айсберг в океане...» На стене лестничного марша по свежей краске было нацарапано гвоздем слово «жид» и, видимо, другой уже рукой перечеркнуто крест-накрест.

Никто мне не открывал. Я позвонил наново, потом еще раз, невольно подумав: а жива ли? За соседней дверью девочка прервала пение и звонко позвала:

— Папка! Там, кажись, доктор к бабушке.

Щелкнул соседский замок и из квартиры вышел отец девочки. Вместе с ним на площадке усилился запах борща. Сосед был подпоясан передником. Похоже, он и варил борщ. Он осмотрел меня с головы до ног. — Вам кого треба? — спросил он настороженно и снова осмотрел меня, остановив взгляд на моих ботинках, оставивших грязный след на половичке. Я невольно сошел с половика.

— Я к Мире Мойсеевне.

Он поправил ногой половик.

— А по какому делу?

«Что еще за допрос?» — возмутился я про себя.

— Она дома или нет? — в свою очередь спросил я, поправляя половик с другого конца, и этим как бы заявляя и о своем праве допрашивать его. Он заметил мой жест и спросил уже не так настороженно:

— А вы, извиняюсь, кто такие будете?

Тон его вопроса на этот раз я посчитал приемлемым и представился.

— Она дома, но не слышит. Трохи оглохла после болезни. Зараз вам открою.

И он ушел к себе, по-женски утирая руки передником. Из неприкрытой двери на меня смотрела девочка, таким же настороженным взглядом.

Он появился уже без передника, еще раз искоса окинул меня взглядом и стал отпирать дверь привычными движениями, не путаясь в ключах.

В квартире, куда мы вошли, стоял запах лекарств. Я проследовал за соседом через переднюю, через гостиную, загроможденную нерасставленной мебелью, обращая внимание на то, как он уверенно распахивает двери.

В спальне на старой тахте лежала Мира Мойсеевна под одеялом. Она не заметила, как мы вошли, поскольку лежала к нам головой. Сквозь лекарственный запах я все же ощущил душок прежнего ее подольского обиталища. Я узнал овальный стол, эту тахту, стулья с высокими прямыми спинками и рядами медных кнопок по черной коже, древнейший телевизор с мизерным экраном. Уверен, что ей пришлось выдержать бои с Женькой, чтобы отстоять для себя эту старую рухлядь. Телевизор стоял на табурете у нее в ногах, чтобы она могла глядеть передачи. Шла трансляция хоккейного матча.

Сосед предстал перед ее глазами и громко объявил:

— До вас пришли, Мира Мусиевна! Он указал на меня рукой и поправил сползшее одеяло. Я поспешил войти в поле ее зрения.

— Здравствуйте, Мира Мойсеевна, — поклонился я, ставив с головы шапку. Она тут же отбросила одеяло и спустила на пол худые свои ноги.

— Морочу я вам голову, доктор? — восхликала она не без некоторого кокетства. Она приняла меня за врача.

Я слегка опешил от вида тоящих старушечьих ног.

— Мира Мойсеевна, не узнаете меня? Гриша я, Гришка.

Ничего она не расслышала и принялась стаскивать с себя ночную рубаху. Мне не приходилось видеть голых старух. Невеселое это зрелище. Сосед бросился ее унимать, прибивая вниз подол приподнятой рубахи хватками движениями, какими гасят парашют.

— Що вы робыте?! Цэ ж не дохтур! — кричал он ей в самое ухо, укрощая ее и одергивая рубаху.

Он подхватил ее ноги и положил на тахту. Мира Мойсеевна при этом развернулась, как муляж, вокруг своей оси. Он накрыл ее одеялом и с новой настороженностью зыркнул на меня.

— Мира Мойсеевна, это же я — Гришка!

Я приблизил к ней свое лицо. Она сильно изменилась за зиму: усохла, пожелтела. Лишь выпущенные ее глаза остались прежними, глядели с напором. Она прищурилась и как-то по-собачьи повернула голову набок, глубже вдавила ее в подушку. Я повернул лицо так, чтобы падал на него свет из окна.

— Гришка я, ну? Женъкин товарищ! Внук мадам Цимбалист.

Оглохла начисто. Никак успела меня позабыть? И тут дошло до меня, отчего она не признает меня: осеню я завел бороду, пустил по всему лицу.

— Я завел бороду. Она меня не узнает, — пояснил я соседу.

Он, снизойдя к моим усилиям, и сам наклонился над ней и прокричал:

— Цэ не дохтур! Цэ Женькин кореш!

— Вот беда, — сказал он мне, но в его взгляде я прочел недоверие к моей персоне.

Мое положение начинало выглядеть странным. Было нелепо оставаться здесь непризнанным. Еще нелепее выглядел бы мой уход.

И тут вспомнилось, как однажды я чмокнул ее в руку — полуушутя, в виде благодарности за вкуснейший ее струдель, которым она угостила. Не было в нашем кругу такого обыкновения — целовать женщинам руку. Ей как-то запала в душу моя игривая выходка, и она не раз вспоминала, что, вот, даже муж, когда был женихом, не целовал ей руку... А как было тогда не поцеловать. Любой, отведав ее струдель, преисполнился бы восхищения, и если бы и не поцеловал рук, то уж точно сказал бы с чувством: «Чтоб вам руки не болели, Мира Мойсеевна!» Стряпухой она была мирской на весь Подол. Ее часто звали поварихой на свадьбы. Как-то после войны ее забрали в милицию с Житного базара, где она продавала свои струделя. По дороге в участок, дотерпев до тихой уложки, она предложила милиционеру отведать кусок струделя. Покосясь по сторонам, он решился отправить в рот ее изделие и тут же резко сбавил шаг от непривычного вкуса. «Забирайте все, — шепнула она, — а я пойду себе». «Только гляди у меня, мамаша, еще раз попадешься, оштрафую», — произнес он, жуя божественное ее печенье, и отпустил. Руку, конечно, целовать не стал.

Я взял ее широкую, костистую руку, поцеловал и снова положил на одеяло. Тотчас рука дрогнула.

— Гришка, это ты, Гришка? — крикнула она, приподнявшись на локте, и рассмеялась. — Ой, не выдержу от него!

Я и сам не ожидал такого эффекта. Это было как «сезам». Я посмотрел на соседа: и он тоже удивленно улыбался.

— Гришка! — продолжала кричать она. — А я себе думаю, кто такой. Думала — доктор. Он тоже с бородой. Зачем ты так зарос, Гришка? Нет, это надо уметь так зарастить бородой! Ты же молодой парень, зачем тебе такая борода?

— Я сильно болела, Гришка. Думала, уже пойду афи енэр вэлт. Зашел бы когда-нибудь, — без тени упрека сказала она. Я готов был провалиться сквозь землю.

— Думала пойду на тот свет, — повторила она. — Если бы не он...

Она выпростала руку из-под одеяла и указала пальцем на соседа. Кожа некогда полной ее руки болталась, как рукав халата.

— Это мой сосед, чтоб ему руки не болели, — продолжала она дрожащим пальцем указывать на него. — Если бы не он, я бы знала где? Афи енэр вэлт. Чтоб я так жила!

Она перевела палец на меня и сказала соседу:

— Гришка — это Алика товарищ. Она спутала имя внука с именем сына, то есть Женькиного отца, который погиб на войне. За ней и раньше такое водилось. Сосед путанице не придал значения. Он подал мне руку. Рука была небольшая, очень твердая от мозолей, точно пластмассовая, и ничуть не поддалась моему пожатию.

— Мицко, — назвался он.

— Если бы не он, я бы уже лежала на том свете, — снова сказала она. — Он русский, но он лучше, чем еврей.

Я не знал — радоваться ее открытию или проглотить пиллюлю в свой еврейский адрес. Мицко же махнул на ее слова «пластмассовой» своей ладошкой и, напрягаясь, крикнул ей:

— А яка разница — русский, чи яврэй чи татарин? Абы чоловик був.

— Чо? — ничего не поняла она.

Он безнадежно махнул рукой на ее глухоту и посмотрел на меня интернационально-чистыми глазами. Среди седеющих волос, что беспорядочно располагались на его голове, торчал вихор, придававший ему вид школьника, которого похвалил учитель. Некоторое время мы все трое молча следили за хоккеем на телевизоре,

— Наши — молодцы, хорошо играют, — сказала Мира Мойсеевна.

Интересно — кто там «наши»? Играли шведы с финнами.

— Ну, я пойду, — сказал Мицко. — Может, вам чего надо? Я иду в гастроном, дак куплю може шо? — натужно крикнул он.

— Чо? — не расслышала она и посмотрела на меня. — Что он хочет? Будто я мог пояснить ей громче.

— Может, надо чего? Дак куплю в гастрономе? — заорал он что было сил в самое ее ухо. — Вот беда, — посмотрел он на меня.

— Чтоб мои враги так слышали, как я слышу, — также обратилась она ко мне с извиняющейся улыбкой.

Когда он ушел, мы снова взорвались на экран.

— Наши — молодцы, — опять сказала она, и я понял, что сейчас она заговорит о Женьке, это в его честь она смотрела хоккей и повторяла его реплику.

Он был для нее светом в окошке. Она вывела его в люди, дала образование. Стал он инженером. Как отец. Он и внешне был отцовской копией. Где-то в Сибири монтировал сейчас какие-то турбины электростанции.

— В последнем письме пишет, что жив-здоров, все в порядке... — сказала она. Но что-то ее мучило, поскольку сказано было это без обычной гордости за него.

Она некоторое время молчала, переведя взгляд в окно, и вдруг спросила:

— Что это за котлы такие? Ты не знаешь?

Я не понял, о чем она и, следя ее взгляду, тоже посмотрел в окно. За стеклом лежала широкая пустынная улица. За нею — лес. По улице на полной скорости несся, раскачиваясь, красный чешский трамвай. Какие еще котлы?

— На тебе — «котлы»! Что за котлы? Причем тут котлы? — недоумевала она. — Пишет: перевели на котлы.

Вон в чем дело! Она поняла так, что внука понизили в ранге, переведя на котлы (видимо, на монтаж котлов). Хватит того, думала Мира Мойсеевна, что она, безграмотная, всю жизнь при котлах да кастрюлях. Пусть хоть внук будет «большим человеком». А тут — на тебе! — и его на котлы.

— Это не те котлы! — как можно звонче и лучезарнее провозгласил я.

Она, конечно, ничего не рассыпала, и я стал жестами и мимикой показывать, что такое эти Женькины котлы, хоть и сам очень отдаленно представлял себе, что это такое на самом деле. Я показывал руками нечто необъятное, могучее, работающее, — заботясь об одном: чтобы мой показ никак не напоминал ее котлы и кастрюли, хоть меня все подмывало изобразить, как там булькает вода. В довершение всего я стал пыхтеть, будто выпуская пар, и по-паровозному двигать как бы шатунами. Так, видимо, она и поняла, что — паровоз. Это ее несколько успокоило.

Вскоре вернулся Мицколя, груженый хозяйственной сумкой.

И вот тут, поманив меня с грустным лицом на кухню, наповал ошаршил: Женьки нет на свете, погиб на строительстве ГЭС. Он достал из внутреннего кармана телеграмму. Там было сказано, что администрация Запсибгидрочертзнаеткакогототаммонтажа извещает с прискорбием, что инженер Евгений Александрович Гольдин погиб на трудовом посту в результате несчастного случая.

Пережиная, пока я совладаю с собой, Мицколя со скорбным лицом осторожно выкладывал на стол свертки и банки.

— Я ей ничего не казав. Не могу я... боюсь. А она обижается, шо он полтора месяца не пишет. — И, помолчав, добавил: — А як он напыше... Мабуть, там и поховалы... И шо его делать, не знаю...

Я все пытался постичь факт, что Женьки, моего приятеля, уже нет на белом свете. Никак не укладывалось в башке.

— Может, вы скажете ей? — поднял он на меня просительные глаза. — Она почти выздоровела. Не знаю... Ей-богу, не знаю, шо його робыть...

Он тихо перевел дыхание, выложил на стол мелочь от сдачи и ушел, сказав напоследок:

— Будете уходить — просто дверь захлопните.

Я опустился на табурет. Сидел неподвижно. Телеграмма лежала предо мной. «На трудовом посту...» Вторая для нее похоронка. Телеграфный бланк был изрядно потрепан, в некоторых местах наклеенные полоски от-

стали, подзагнулись. Микула, видно, не раз доставал ее из кармана, чтобы вручить адресату.

— Гриша! Гришка! — позвала из спальни Мира Мойсеевна. — Ты не ушел?

Я припелся к ней в комнату, стараясь не смотреть ей в лицо, чтобы не выдать себя. Телеграмма осталась на кухне.

— Гришка, я уже, нивроку, очухалась. Уже встаю. Только не слышу, когда звонит в дверь доктор и когда приносят пенсию. Геворн а тойбе. Пожалуйста, сделай мне, чтобы лампочка загоралась, а?

Ее просьба сразу напомнила мне о забытой Женькиной матери в больнице Павлова, где она решает проблему воскрешения лампочек Ильича, и тут же пришел на ум русский мыслитель Федоров с его воскрешением умерших, и Женя со своими электростанциями, и ГОЭЛРО, Ленин со Сталиным, Сибирь, Подол, слово «жид» на стене, Микула, что, видимо, его и перечеркнул наивной своей рукой, Мира Мойсеевна, что путает в голове сына и внука... Все это пронзительно полыхнуло, пронеслось в голове и подкатило спазмом к горлу, ударило колко в нос. Я только то и сумел, что, глядя в пол, кивнуть головой на просьбу Миры Мойсеевны.

Вскоре простился и ушел, захватив телеграмму. Несколько дней отсрочки ничего не переменят. Отсрочка нужна была мне самому, чтобы подготовиться к трудной миссии горевестника.

Три дня спустя я снова влекся по лесной этой улице с мотком провода, лампочками, молотком и прочим инструментом. Погода установилась уже весенняя — сухо, теплынь, ручьи. Снег в лесу почти сошел, лишь кое-где остались грязно-белые островки. На деревцах, высаженных осенью вдоль улицы, набухали почки. Но некоторые саженцы не прижились, не перенесли зимы на новом месте.

На лестнице встретил Микулу с хозяйственной сумкой.

— Ну что? Скажете ей?

— Сначала установлю лампочки.

Он тяжко вздохнул, мы поднялись к ее двери. Он отпер мне, а сам, вобрав голову в плечи, побрел вниз.

В квартире уже пахло не лекарствами, а чем-то вкусным. Миру Мойсеевну я нашел на кухне. Она хлопотала у газовой плиты. Седые ее с чернью, как весенний снег, волосы были коротко и не очень аккуратно подстрижены, точно садовыми ножницами. Двигалась она с присущей ей порывистостью. Моего прихода пока не заметила, поскольку стояла ко мне спиной. И ладно. Я прикрыл дверь кухни и принялся за проводку, ни на секунду не переставая думать о роковом моменте, что предстоял. Работал не спеша, чтобы оттянуть его.

Когда я привинчивал шурупами патрон к дверному косяку спальни, в гостиной появилась Мира Мойсеевна.

— О! Это ты, Гришка? Ты уже пришел? — по-подольски спросила она.

Будь это иной случай, мне полагалось ответить ей в тон: «Нет, это не я. Я еще не пришел», нажимая на «не» и подчеркивая этим нелепость вопроса, не допускающего отрицательного ответа. Сейчас мне оставалось только проглотить ком в горле и поздороваться, стараясь до срока не встречаться с нею взглядом.

— Видишь, уже хожу. Варю обед. Так захотелось флэйш мит фасолес. Будем обедать. А на кухне тоже сделаешь лампочку?

Я кивнул головой и показал ей второй патрон.

— Видишь, у меня новая прическа. Мицела, чтоб ему руки не болели, состриг мои патлы. Так легче. Алик приедет — меня не узнает.

Господи, опять Алик! Она, как обычно, спутала их имена. Но сейчас озnob подрал по коже от этой путаницы. Ни тот, ни другой не приедут. Оба не приедут. Проклятый шуруп наскоцил на сучок и не лез.

— Жалко, что его нет. Кто ему там даст флэйш мит фасолес, в этой Сибири? — сказала она, поднимая крышку над кастрюлей.

«Его! Кого из них она имеет в виду? Нет ни Алика, ни Женьки. Теперь путаницы не будет. Или наоборот — легче спутать? Мне хотелось бросить все эти лампочки и шурупы и сгинуть, лишь бы не видеть и не слышать всего этого.

Когда я управился с работой, Мира Мойсеевна поставила передо мной тарелку фасоли с мясом, достала из старого буфета вишневую наливку, которую не забыла прихватить, убывая с Подола. Она и теперь хранилась за той же резной дверцей под ключом, чтоб Женька не прикладывался к бутыли без ее надзора. Наливки в бутыли почти не осталось, одни только ягоды пьяной вишни. Она их клала в свой знаменитый струдель. Чтоб нацедить мне, ей пришлось почти вверх дном перевернуть бутыль. Пересыпавшись, вишня навалилась на марлевую повязку, которой перехвачено было горло бутыли, и сквозь слой ягод нацедился мне полный стакан рубинового вина. Тут же привычно заперла бутыль в буфет.

— Пей и кушай, — сказал она и села напротив.

— А вы? — спросил я, хоть и знал — она никогда не ела при ком-либо.

— Кушай, кушай. Я уже поела.

Я взялся за стакан, но не знал, пить мне за здравие или за упокой. Выпил молча. Кусок не лез в глотку. Спазмы, перехватывавшие горло, перешли в непрерывную оскомуину. Но есть следовало, потому как отказаться от еды в доме Мирзы Мойсеевны значило сильно ее обидеть. Она сидела напротив и смотрела, как я ем, давясь. Потом она стала большой своей, с узловатыми пальцами рукой поглаживать скатерть и смотреть на лес. Сейчас пожалуется, что Женька не пишет, — возможно, назовет его Аликом, — и пробьет час исполнения моей жуткой миссии. Я уже знал, как поступить. Объявлять вслух — не рассышит. Показать телеграмму — увязнет в длинных казенных оборотах, тем более, что читает по слогам. Напишу ей коротко и ясно на ключке бумаги, потом вручу телеграмму.

— И что это он так долго не пишет? — задумчиво произнесла она. — Микола два раза в день ходит к почтовому ящику. Говорит, что может кто-то письма вытаскивает. Чтоб ему уже руки отсохли, кто это делает!

Я достал из кармана записную книжку, оторвал листок и крупно написал: ЖЕНЯ ПОГИБ. Она приняла от меня листок, увидела буквы и пошла искать очки. Я отодвинул тарелку с фасолью и стал смотреть на лес, который все не мог избавиться от остатков снега.

Наконец, она принесла очки, надела их, сев к столу, стала складывать буквы, шевеля губами. Прочтя, наморщила лоб, потом вздохнула и произнесла:

— Да. Я знаю. Под Москвой. В сорок первом я получила похоронку.

Странный механизм ее рассудка сыграл спасительную роль. Ее сознание не принимало даже и мысли о гибели внука. Жизнелюбивая ее натура отвергала губительную информацию. Я отвернулся к буфету, чтобы она не видела моего лица.

— Тебе еще налить? — так расценила она мой взгляд на буфет. Я с усилием овладел собой, взял из ее рук бумажку и написал на обороте: ЖЕНЯ ТОЖЕ ПОГИБ.

Я протянул ей листок снова. Она посмотрела на меня тревожными глазами. Мне привиделась в них даже мольба о пощаде. Я одернул руку с листком и скомкал его.

Не мог, ну не мог я устраивать ей новое испытание на жизнестойкость! Она одолела болезнь и смерть, пережила эмиграцию из Подола и эту долгую зиму. Пусть переведет дух, чуть передохнет от испытаний.

Я простился и ушел.

Она заслужила право хоть на краткий покой и надежду.

Вардан Варжапетян

Вардан Варжапетян — президент армяно-еврейского клуба «Ной», автор многих книг, в том числе «Число бездны», посвященной Катастрофе европейского еврейства.

В 1992–1997 гг. писатель издавал армяно-еврейский вестник «Ной» (вышло 20 номеров), способствовавший установлению дипломатических отношений и расширению культурных связей между Арменией и Израилем.

Помещаем в альманахе 2 главы из ещё неопубликованного романа «Возвращение Ноя».

СТОРОЖ КАИНА

В Дахау я так и не попал — по понедельникам концлагерь не работает. Открыты церковь, магазины, пивные, пекарня, ателье, аптека... Концлагерь закрыт. Его узниками стали двести пятьдесят тысяч людей, семьдесят тысяч из них погибли — это больше, чем нынешнее население уютного баварского городка. Многие родились здесь. Многие жили здесь тогда — работали, молились, пили пиво, набивали кишки фаршем с чесноком — варили колбасы, любили. Мирные, трудолюбивые люди. Люди? Увы! Вместо «мирные, трудолюбивые» можно написать «ужасные, тупые, бесчеловечные» — это ничего не меняет и уж тем более не объясняет. И то, что идёшь чудесным солнечным днём по булыхным улочкам между пряничными домиками, увитыми глициниями и розами, ничего не объясняет — ты в Дахау.

ДАСНАУ

Огромные синие буквы на фронтоне вокзала. И на платформе — на железной вывеске. Под ней на скамейке целуется парочка, им лет по пятнадцать, в паузах между вполне профессиональными поцелуями она жадно затягивается сигаретой, он, чмокая, пьёт «пепси» из бутылочки. Это последнее, что я вижу из окна поезда, увозящего меня из Дахау. Надеюсь, навсегда. И от Шимона Леви, стерегущего Каина. Интересно, записал диктофон нашу беседу? Он иногда такое может выкинуть — какую-то скороговорку вместо речи, или просто шипение.

Я увидел Леви перед входом в Кельнский собор — он раздавал картонки, на которых каждый мог написать всё, что хочет; картонки прикрепляли скотчем к длинным бечёвкам, натянутым между колоннами — издали они напоминали кирпичную стену, их так и называли: *Klagetauer — Стена плача*. Картонки раздавал старый еврей grenaderского роста, его нельзя было не заметить. К тому же он говорил по-русски. И мы познакомились. А когда я узнал, что он живёт в Дахау, я просто направился к нему в гости, на Гёте-штрассе, в старинный двухэтажный домик, где на первом этаже магазинчик «Уголок гномов», торгующий дет-

скими колясками. Когда я увидел выставленные перед магазином разноцветные коляски, подумал, что их отняли у арестантов, которых только что пригнали в лагерь, они уже скрылись за углом, слышно только шарканье подошв... это было какое-то мгновенное помешательство, но в Дахау оно длилось двенадцать лет, с марта 1933-го, и весь город был населён безумцами, вся Германия.

Нельзя сказать, что Шимон Леви обрадовался моему визиту, — я чувствовал, что неприятен ему, да он и не скрывал этого.

— Вы нечистый человек, с вами тяжело говорить... Это не помешает беседе, но так мне будет легче.

Совершенно не смущаясь, Леви поставил между собой и мной старую ширму, три деревянных рамы, соединённых петлями, с натянутым грязным щёлком, вышитым цаплями или аистами, какими-то горами, облаками, кривыми соснами; такие ширмы можно было увидеть после войны в московских коммуналках. Что ж, мне даже удобнее так — можно включить диктофон. Но я не собирался делать вид, что мне привычна эта ария певца за сценой, кое-что о Леви я успел узнать. Он родился в еврейском mestечке недалеко от Воложина, рано проявил выдающиеся способности в математике, в пятнадцать лет стал студентом Харьковского университета, даже решил какую-то задачу, считавшуюся неразрешимой. Сейчас ему, вероятно, за семьдесят.

Странно сидеть лицом к ширме и говорить с тем, кого не видишь, чем-то похоже на спиритический сеанс. Какие-то скрипь, шорохи, я уже включил диктофон.

— Как мне обращаться к вам, господин Леви?

— Шимон. Просто Шимон.

— Шимон, однажды я беседовал с армянским епископом, и он рассказал мне, как, будучи молодым монахом, стажировался (если это слово можно применить к схимнику) в духовной академии Троице-Сергиевой лавры — это недалеко от Москвы. Его поселили в одной келье со служкой, который топил печи, носил воду, подметал двор. Человек тёмный, невежественный, он имел обыкновение перед сном подходить к двери и крестить дырку от сучка, чтоб сатана не забрался в келью. Армянскому монаху это казалось смешно, ведь он знал, что сатана вездесущ, его не остановить затычкой, всяkim «чур меня, чур!» Вы меня слышите, Шимон?

— Я слушаю внимательно.

— А как вы бы отнеслись к тому, что делал служка?

— Мне кажется, епископ рассказал вам про этого человека что-то ещё. Или я ошибаюсь?

— Верно, — удивился я. — Он сказал мне, что только спустя много лет понял, насколько вера того служки была крепче, чем у него, монаха.

— Человек не всегда знает, что защитит его от зла. Иногда для этого приходится воздвигать настоящую крепость вокруг себя, иногда можно заслониться движением руки, а, бывает, лучше остаться незащищенным.

Чтобы рана быстрее затянулась, её иногда оставляют открытой. Но зри-
мая или незримая преграда злу должна быть обязательно, и тут самое
надёжное: избегать нечистого, держаться подальше от него. Понятия чи-
стое и нечистое имеют универсальный смысл. Мы сами постоянно излуча-
ем одно или другое, даже когда спим.

— А что вы думаете о евреях, которые переезжают жить в Германию?

— Думаю, они делают большую ошибку. Может быть, самую боль-
шую — уже в у словии задачи, которую пытаются решить. И тут нель-
зя помочь. После 1492 года, когда евреев изгнали из Испании, наши пред-
ки наложили на неё «херем»*, остававшийся в силе больше четырёх
веков. Первыми этот запрет нарушили интербригадовцы — те, кто при-
ехал сражаться против Франко. Но всё-таки больше четырёхсот лет про-
клятье удерживало евреев. А для Германии нужен ещё больший срок, мо-
жет быть, тысячу лет она должна оставаться для нас чумным бараком. Но
некоторые евреи побежали сюда, когда ещё не остывли печи крематориев.
Как крысы за салом. Они не понимают, что немцы просто пополняют
ими исчезнувшую популяцию, вроде животных, которых нет в зоопарке:
непорядок, должен быть представлен каждый вид.

— Шимон, евреев убивали не только в Германии. А Украина, Латвия,
Россия, даже Франция...

— Евреев убивали везде. Всегда и везде. Но только здесь их уничтожа-
ли в соответствии с законами государства, вменившего ненависть к евре-
ям в обязанность своим гражданам. Я знаком со здешними евреями —
они сыты, но не уверен, что они спят спокойно. Один из них рассказал
мне случай, может, вам будет интересно... Он приехал сравнительно не-
давно — известный физик, профессор. Знакомые решили показать ему
страну, устроили поездку на автомобиле. И вот в одном месте господин...
допустим, Лившиц... восхитился цветущей яблоней, она так дивно цвела,
что он не удержался и сломал ветку, чтобы преподнести жене, оставшейся
в машине. Вдруг видит: к нему бежит немец, грозя кулаком, с криком:
«Грязная еврейская свинья!» Оказалось, земля принадлежит этому запы-
хавшемуся господину. Профессор извинился, заверил, что глубоко со-
жалеет о своём поступке и просит великодушно его извинить: он всего
неделю в Германии, плохо знает немецкий, а ветку он сорвал, чтобы пре-
поднести жене, ей после операции трудно ходить, но он, конечно, возмес-
тит ущерб... Лившиц достал бумажник, но хозяин принял извинения и
был так добр, что сам срезал несколько роз для фрау: он понимает, как
даме будет приятен такой знак внимания. Короче, немец и еврей расста-
лись совершенно довольные друг другом. И тут профессор спросил: «Ска-
жите, а как вы с такого расстояния разглядели, что я еврей?» Немец по-
бледнел, стал извиняться, он даже вспотел от волнения. «Я не знал, что вы
еврей, я просто рассердился и совершенно не имел вас в виду». Понимае-

* Херем — отлучение, изгнание, проклятие — одно из самых суровых наказаний, нала-
гаемых еврейским духовным судом.

те? Этот немец может осуждать нацизм, гестапо, Гитлера, он пожертвует десять марок на памятник замученным евреям, но у него в подкорке отгиснуто как самое страшное ругательство — «грязная еврейская свинья». Я в своей жизни много чего изучал, в том числе и русскую поэзию. Блок, Кузьмин, Гумилев, Мандельштам, Ахматова... А где-то на чёрной лестнице этого великолепия пребывал Александр Тиняков. Не слышали? Так вот, он соединил в себе «серебряный век» русской поэзии с «золотым веком» русского антисемитизма, он поэт распада, мерзости, свинства. Есть у него такие строчки:

Мне теперь не страшно беззаконье,
Каждый звук равноб во мне звучит:
Хрюкнет ли свинья в хлеву спросонья,
Лебедь ли пред смертью закричит.

«Я люблю смотреть, как умирают дети» Маяковского — это на публику, он был презритель: не мог пить из чужой чашки, не брался за перила, ручку двери обертывал носовым платком, а Тиняков естественен в своём скотстве, в своём дерзьме, ему действительно равноб хрюканье и лебединый крик, свинья и жаба для него, как для Хафиза — соловей и роза. И знаете, как он оправдывался? Он Ремизову писал: «Я ни в коей степени не подлец, а просто *крайне* своеобразный человек». Так вот немцы — *крайне* своеобразная нация. Возможно, только русские в этом отношении *ещё крайнее*. Именно это и имел в виду Достоевский, говоря: «Широк русский человек, я бы сунул». Хотя про Россию даже не Достоевскому, а Брему бы писать!

— Вот вы сказали, что евреи, приехавшие в Германию, вроде крыс, почувствовавших дармовое сало...

— В каббALE есть такое понятие «хлеб стыда», когда работник ест незаработанный хлеб, опустив глаза, стыдясь взглянуть в лицо своему хозяину.

— Но почему же в Израиле еврей, ни дня не трудившийся на это государство, получает пенсию и не считает её «хлебом стыда»?

— Вы сами ответили на свой вопрос. Он еврей, и деньги он получает в еврейском государстве. Разве в семье, где кормят немощного человека, ему это в тягость, постыдно для него? Нет, ему в радость, что близкие заботятся о нём.

— Шимон, тогда почему вы сами здесь остались? Когда вас освободили из Дахау, вы же могли уехать куда угодно.

— Вы не читали повесть Вацлава Кубацкого «Грустная Венеция»? Там герою повести тоже задают похожий вопрос. И он отвечает: «Я потерял всё. Сберёг только одно — свой мозг. Теперь этот мозг должен «размышлять о многом». О чём же? Не вижу задачи более благородной, чем обдумывание того, чтобы потоп не повторился». Но потоп не повторится, Господь обещал Ною пощадить род человеческий, больше не истреблять его. Моя задача: крикнуть Авелю, когда Каин занесёт камень над ним. Вы

говорите: «почему вы не уехали». Куда? У меня не осталось никого, все погибли здесь. Я сторож Каина...

— ...убившего шесть миллионов Авелей?

Тень метнулась по ширме — видимо, Леви вскочил и ходил по своей половине, я чём-то сильно его рассердил, я слышал его громкое дыханье.

— Никогда не называйте это число!

— А разве оно неверно? — удивился я.

— Это *число бездны*. Называя число, вы стираете память о мучениках. Это число должно стать запретным, как имя Творца. Евреи не произносят имя Бога, они говорят «Га-Шем» — «Это Имя», то есть Имя Всевышнего. Профессора Бар-Иланского университета обратились в Кнессет, чтобы депутаты приняли закон, запрещающий евреям упоминать число жертв Шоа, или Холокоста. Не уверен, примут ли депутаты такой закон сейчас, но убеждён: Израиль станет первой страной, где такой закон будет принят. А если кто-то всё же захочет назвать ЧИСЛО БЕЗДНЫ, он должен будет написать число, состоящее из 5 820 960 цифр — именно столько жизней, известных сегодня, оно поглотило. Да, люди не цифры, и прав Гёте: «Не всё сущее делится на разум без остатка». Пифагор придавал числам моральное значение: *единица* — означала разум, *двойка* была первым женским числом, *тройка* — первым мужским числом, *четыре* означало справедливость, *пять* — супружество (соединение женского и мужского начала), *шесть* было первым совершенным числом, так как его делители 1, 2, 3 в сумме ($1+2+3$) дают 6, *семь* хранило тайну здоровья, *восемь* — тайну любви. Вы помните, что такое «простое число»? Число, которое делится только на само себя и на единицу — например, 2, 3, 5, 7, 17, 113 и т.д. Первую таблицу «простых чисел» составил древнегреческий математик, астроном и поэт Эратосфен, живший в III в. до н.э.; он же первым вычислил, что окружность Земли равна почти сорока тысячам километров, ошибся всего на несколько километров. Начав считать, люди уже не могут остановиться. В начале века самое большое из известных тогда простых чисел было семизначным, но уже в 80-х годах чикагские математики с помощью компьютеров высчитали простое число, состоящее из 258716 знаков. В 1991 году они же побили свой рекорд, определив «простое число» уже из 378632 знаков. Ни одно информационное агентство, сообщившее о числовом открытии, конечно, не могло его воспроизвести — оно заняло бы всю газету целиком. Впечатляет, не правда ли?

А вот другое «простое число», которое вы только что произнесли — 6000000. Число евреев, погибших в годы второй мировой войны. Почему же истребление целого народа, заранее обдуманное, рассчитанное, методично осуществляющееся долгие годы, не ужасает, не сжигает разум жаром преисподней? Потому что это — мёртвое число, его убили повторением всеу, лишили содержания и смысла.

«Шесть миллионов» — пустой звук, нули, убийство уже не людей, а самой памяти о них, оно ничего не значит даже для многих евреев, они про-

сто не воспринимают его. Шесть миллионов... людей, свиней, тонн, штук, экземпляров — какая разница, если число не взрывает мозг, не разрывает сердце. Что такое миллион? Вы хотите знать? Тогда возьмите пачку бумаги и пишите палочки — ровно, аккуратно, как вас учили в первом классе. Хотя бы сто тысяч палочек. Попробуйте, и вы убедитесь, как трудно, невероятно долго их надо выводить. Всего лишь палочки. Всего лишь написать.

«Свастика» по-немецки Hakenkeuz, крюк-крест. Вот на этом мясницком кресте они хотели вздёрнуть наш народ. Они начали с Германии, с Хрустальной ночи — погрома синагог, магазинов, аптек, с костров из книг, с глумления над стариками. Нет, это было в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, а в марте 1933-го они уже построили Дахау. Гитлер сказал: «Народы, не остерёгшиеся евреев, были обречены на гибель. Примером являются персы, которые были когда-то великим и гордым народом, а теперь влачат жалкое существование в качестве армян».

— Но армяне никогда не были персами, — возмутился я.

— Так и Гитлер никогда не был историком.

Леви опять замолчал. Слышино было, как шуршала бумага, очень долго, и вдруг громадная, неправдоподобная стопка исписанных листов поднялась над ширмой — не меньше метра в высоту, а рука Леви всё накладывала на неё новые листы.

— Я мечтаю издать эту книгу, в ней будет помянут каждый еврей, погибший в годы Холокоста — книгу, которой мир ещё не знал, потому что впервые люди смогут увидеть это страшное, непостижимое, неисчислимое число.

— Вы сумасшедший! Число из шести миллионов цифр?! Да чтобы его написать, понадобится несколько томов!

Сумасшедший? Шимон Леви не стал опровергать ни вслух, ни мысленно. Может быть. В Торе 400945 букв (будь благословенна каждая из них!), так вот пусть тот, кто сидит сейчас за ширмой и всё записывает, посчитает на калькуляторе... Всё равно что пятнадцать раз переписать Тору, и ни в одной букве нельзя ошибиться, ни в одной цифре. Он не ошибётся. Он слишком долго прожил среди этих цифр, говорил с ними, некоторых знал с тех пор, как помнил себя: отец, мать, сестра, братья, родственники, соседи, знакомые, незнакомые... лица отступали всё дальше, обесцвечивались, размывались, слабели голоса, но это ничего не значит — он продолжал блуждать по дремучему лесу чисел, откуда ему уже не выйти никогда.

— Такое число нельзя даже произнести!

— Вы были в Яд Ва-Шем, в Иерусалиме? Вот там его пытаются произнести — уже много лет, изо дня в день, называя поимённо каждого погибшего. Здесь их убивали, там воскрешают из небытия. Но Дахау не просто Дом Каина — здесь одна из величайших святынь человечества. Здесь нацисты, сами того не подозревая, совершили величайшее научное открытие, куда более важное, чем открытия Евклида, Архимеда, Коперника,

Ньютона, Менделея, Эйнштейна, Фрейда. Дахай стал лабораторией, где отрабатывалась система уничтожения человеческого в человеке. Здесь истребляли людей со всей Европы, десятков национальностей, вероисповеданий, разных сословий, профессий, возраста, достатка, умственных способностей. И вот здесь, в преисподней, где человек абсолютно обречён и неоткуда было ждать спасения, большинство людей до последнего вздоха оставались людьми. Однажды кто-то из нашего барака стацил в кладовой несколько картофелин. За такое преступление обычно вешали. Кражу обнаружили, и лагерное начальство приказало выдать виновного, иначе весь лагерь не получит пищи. И две с половиной тысячи человек предпочли голодать, хотя для нескольких несчастных, самых истощённых, это означало верную смерть в тот же день. Вы можете понять, что это значит? Это чудо! Самый поразительный научный результат, касающийся человека. Вроде бы за лишний черпак брюквенной баланды, кусок хлеба, ещё один день жизни, ещё один глоток воздуха человек должен предать себя, близких, совершив любую подлость, превратиться в животное, но на сотрудничество с палачами шло меньшинство — это самый страшный опыт и самый обнадёживающий результат за всю историю человечества. Нацисты неопровергимо доказали, что человек по природе своей добр. Ни наследственность, ни воспитание, ни идеология, ни страдания, ни даже смерть не могут отменить закон сохранения человеческого в человеке. Он так же универсален, как сила тяготения и скорость света. Человек создан добрым, он изначально добр — и это доказала нелюдь. В лагере я впервые понял, что совесть не химера, а самый прочный сплав души. Я долгие годы задавал себе вопросы, метод моего мышления приблизился к школе перипатетиков... если спрашивать бесконечное число раз, формулируя вопрос всё отточеннее и острее, в конце концов забрезжит свет. Теперь, по крайней мере, я знаю, на какие вопросы следует искать ответ. Короче говоря, постепенно я пришёл к выводу, что альтруизм заложен в самой природе человека. Но гораздо яснее эту гипотезу сформулировал генетик Эфроимсон, и, кажется, тоже в лагере: альтруизм с точки зрения эволюционной генетики.

— Тогда ваш закон, если он действительно может считаться достоверным, по аналогии с законом Бойля-Мариотта следовало бы назвать законом Сталина-Гитлера, ведь Сталин раньше стал строить лагеря.

— Вы правы... Первое место должен занять Сталин, вернее, Ленин — Сталин. Но тут важны не имена, а итог. Конечно, коммунисты тоже уничтожали людей всех национальностей, профессий, возрастов, религиозных убеждений, политических взглядов, истребили целые сословия: аристократию, интеллигенцию, духовенство, купечество, казачество, крестьянство, был подписан смертный приговор целым народам. Но и в сталинских лагерях доля людей, отрекшихся от человеческого в себе, была примерно такой же, как в Дахау и Освенциме, — так что никакого противоречия в моих рассуждениях нет. Просто человеческое сильнее проявляется в без-

оружном, а не в вооружённом, в жертве, а не в палаче. Мы располагаем результатами опыта, когда проводился тщательный подсчёт. Во время войны в Корее 7140 американских солдат попали в плен. Условия там были тяжёлыми, от голода, болезней, пыток погибли 2701 человек. С корейцами, если судить по документам, согласились сотрудничать всего 20 американцев. Но пусть даже их было в десять раз больше — двести. К тому же надо учитывать, что речь идёт только о мужчинах — молодых, сильных, обязанных выполнять присягу, и — ещё очень важное обстоятельство — верящих, что страна помнит о них и сделает всё ради их спасения. В сталинских и гитлеровских лагерях всё было иначе, гораздо безнадёжнее, невыносимее, но даже там более двух третей узников до конца оставались людьми. Это великое утешение. И величайшее открытие: *человек добр*. Он не стал таким в результате эволюции, он изначально сотворён таким. Человек — единственное существо, в котором заложена «функция» добра. Из этого вывода следует ещё более фундаментальный: человек сотворён Господом. Человеческое и есть частичка Божьего в нас, искра той первосущности, которая отличает человека от всех тварей земных, морских и небесных. Если бы человек не был изначально, извечно, первородно добр — в нём не было бы точки опоры, опираясь на которую он стоит на земле и стремится к небу, начинает бесконечное восхождение к праведности — через бездны страданий, как в Дахау, или через высоты познания, как мудрецы в Цфате. Есть много путей, и много вершин.

— Шимон, правильно ли я вас понял?.. По-вашему, нелюдь доказала, что человек добр, а безбожники доказали, что Бог есть? Послушать вас, так ваши слова должны вселять надежду, но, извините, от них несёт могильным холодом: не может быть утешения, добытого такой ценой! Нежели, чтобы понять, что человек способен чувствовать боль, надо его зарезать? Разве для этого недостаточно порезать палец? Вот уж поистине: кто умножает познание, тот умножает скорбь.

— Слова Екклезиаста многие понимают поверхностно. Познание не добавляет скорби в мир — это делает невежество. Познание лишь умножает скорбь о том, что мир несовершен, и прежде всего — сам человек, сам познающий. Вот о чём сокрушался Екклезиаст. Память — это уже надежда, что на развилке добра и зла человек выберет путь к свету.

— Так говорите вы, переживший Дахау?

— Именно в Дахау я и понял это, и тот день стал самым счастливым для меня.

— Похоже, вы любите парадоксы.

— Нет, не люблю.

— Но разве не парадокс всё, что вы говорили? Не парадокс то, что вы, еврей, остались жить в Дахау?

— Тут ничего общего с парадоксами. Жаль, что вы этого не поняли. А сейчас я должен попрощаться с вами. Да и кассета в вашем диктофоне кончилась.

Действительно, через секунду-две щёлкнуло, диктофон перестал записывать. Я бы не удивился, если бы Шимон Леви усилием воли или уж не знаю как просто стёр запись с магнитной плёнки. Но он почему-то этого не сделал. Наверное, потому что был сумасшедшим.

ЕВРЕЙ, КОТОРОГО ПОХОРОНИЛИ В СУББОТУ

Два могильщика сняли с катафалка большой ящик, покрытый талесом, с просверленными в днище дырками; в нём находились останки одного из пассажиров «Синей птицы» — Аарона Майзеля.

В Москву он летел по делам, а ещё — чтобы выполнить давнюю просьбу матери: отыскать Самуила Векслера, если он жив — самого старшего из четырнадцати братьев и сестёр, где мать Майзеля Сара была самой младшей, а Самуил — первенцем. Аарон отыскал дядю (как, об этом надо рассказывать отдельно) в ста или даже больше километрах от Москвы — в каком-то Сергаче, на поездку куда требовалось специальное разрешение, — в какой-то грязной избе; переводчик «Интуриста», сопровождавший мистера Майзеля, ничего не смог объяснить этому дяде, не помогли даже фотографии с подробными объяснениями, что это вот сам Самуил, ещё дитя, на коленях у дедушки, вот он уже молодой человек, а маленькая девочка рядом — его сестра Сара. Самуил ничего не хотел вспоминать, что-то осмысленное в его гноящихся глазах мелькнуло только при виде долларов — он скжал их в слабом, как у ребёнка, кулачке да так и не выпускал. Вот, Бог дал, и свиделись племянник с дядей.

Внуки, бережно поддерживавшие Сару, были в чёрных костюмах с надрезанными лацканами — знак разодраных одежд, с чёрными шёлковыми кипами на чёрных кудрях, а она — в чёрной шляпке, плаще из искусственного шёлка цвета крепкого чая, — маленькая старушка, даже шляпой она не доставала до плеч рослым внукам, так что им пришлось вести ее пригнувшись, словно сгорбившись. У могилы стояли родственники, что-то тихо, но оживлённо обсуждали; чуть в стороне, на присыпанной хрустящим гравием дорожке — немолодой еврей с окладистой бородой, кто бы мог подумать, что он не родственник, не друг покойного, а водитель автопоезда багажных тележек аэропорта Кеннеди, и он же — сотрудник Шоковой бригады авиакомпании «Орион». Центр аварийного командования и Шоковый центр — важнейшие подразделения современных авиакомпаний. В случае необходимости Шоковый центр мгновенно разворачивается в бригаду, задействующую сотни добровольцев, набранных из бывших и действующих сотрудников компании, каждый из которых прошёл специальную подготовку в Управлении несчастных случаев армии США; эти добровольцы знали, как хоронят католиков, мусульман, иудеев, буддистов, синтоистов, они слушали лекции психологов о том, как сообщать людям самые страшные новости, как переживают утрату

близких родители и дети, женщины и мужчины, личности с различным типом психики; их обучали вежливо, но твёрдо общаться с полицией и репортёрами; отвечать на все вопросы, связанные с заполнением необходимых анкет, страхованием, получением багажа и личных вещей, медицинской экспертизой, погребением или кремированием, перевозкой останков в другой город или страну. Через десять часов после взрыва «боинга» люди из Шоковой бригады известили семьи погибших (а они находились в шести или семи странах) о трагедии.

Могильщик, стоявший в яме, снял с ящика (трудно назвать гробом эту грубо сколоченную «тару» для покойника) талес, отдал его напарнику, потом осторожно уложил ящик себе под ноги, что-то при этом бормоча; Марку Шапиро, стоявшему рядом с раввином, даже послышалось что-то вроде: «Устраивайся поудобнее, тебе придется очень долго ждать», но, скорее всего, у репортёра просто разыгралось воображение.

— Залман, а...

— Марк, хотя бы здесь воздержись от вопросов.

Раввин Залман Овручер укоризненно покачал головой. Наброшенный на плечи талес с синими полосами подчёркивал жгучую смуглость измождённого лица, по самые глаза заросшего густейшей рыжей бородой. Он поправил тяжёлые роговые очки с толстыми стеклами и каким-то другим голосом, совершенно не похожим на тот, каким только что выговаривал Марку, начал читать кадиши.

— Да возвеличится имя Его и станет светлым в мире, который создал Он по воле Своей...

Мерные звуки древней арамейской речи мгновенно смели с лиц стоявших вокруг могилы всё сиюминутное, оставив их один на один со смертью, Богом, вечностью; это одиночество всегда так непереносимо, что человек чувствует себя ребёнком, потерявшимся в дремучем лесу, и громко взывает к матери, жива она или не жива, и к Господу, если он у него есть.

Ни мать покойного, ни дети его, конечно, не были в морге графства Суффолк, где патологоанатому доктору Корсак пришлось потрудиться, чтобы собрать по кусочкам нечто, имеющее право покоиться под именем Аарона Майзеля. Достоверно покойнику принадлежала кисть правой руки со следами ожогов (в детстве он схватил раскалённый утюг), часть нижней челюсти, что-то ещё и ещё что-то, и короткая косточка луз, самый конец копчика.

Однажды римский император Адриан спросил у рабби Иошуа бен Хананы:

— Из какой части тела Бог будет воскрешать мёртвых?

— Из позвоночной кости луз, — ответил рабби Иошуа.

— Откуда ты знаешь? — удивился кесарь.

— Прикажи принести эту кость мне, и я докажу.

Когда принесли косточку (быстрота, с которой, как свидетельствует древнее предание, исполнили повеление императора, особенно поражает

автора: ведь не было же во дворце отдела судебной медицины или кабинета с анатомическими препаратами; видно, схватили первого попавшегося раба, разрубили на куски и принесли, наскоро вырезав и промыв нужную косточку), рабби попросил её раздробить, но тяжёлый пест не смог истолочь её в ступе; он попросил её перемолоть в мельнице, но бронзовые зубья обломались; косточку бросили в огонь, но она не сгорела, и в щёлке не растворилась; тогда рабби Иошуа положил её на наковальню и ударил молотом — молот треснул, а кость осталась цела!

Известно также: когда Господь обрушил потоп на землю и сорок дней лил дождь, то каждая капля этого жуткого ливня кипятилась в геенне огненной, и дождь был таким горячим, что заживо сварил людей, животных, птиц, каждую тварь, — спаслись только рыбы, ибо они не грешили. Конечно, это был не просто небывалый ливень, а истребление рода людского. Все человеческие тела разложились, не осталось ни одного скелета, даже маленькой косточки. Так что, когда призовет Господь восстать мёртвых, дабы судить их по делам их, то восстанут из могил все мёртвые, только из Поколения Потопа некому будет восстать, — так яростно истребил их всех Господь.

В кабинете доктора Сьюзен Корсак, возглавлявшей группу патологоанатомов, Марк Шапиро и познакомился с раввином Овручером, хотя ему доводилось слышать о нём раньше. Репортёр еврейской газеты даже не подозревал, что в Нью-Йорке и вблизи него так много еврейских кладбищ: для сефардов, ашkenази, фалашей, хасидов, ортодоксов, реформистов, — короче, для потомков всех двенадцати колен Израилевых. Одно из них находилось в Ист-Хэмптоне, на берегу океана, и называлось Грин Стоун — Зелёный Камень.

Тихо... Слышно, как шурша осыпается земля, и напряжённый голос Залмана Овручера, и вечные слова поминальной молитвы. Марк почувствовал, как защипало глаза, он ничего не мог с собой поделать. Древние слова, выкованные его праотцами тысячи лет назад, были так же горячи, как в миг творения, не утратив ни силы, ни огня, ни великого смысла; они жгли сердце, жар и жалость ко всем ушедшим объяли сердце Марка, и он заплакал.

— Аарон Майзель, все это мы сделали в твою честь. И если мы что-то сделали не так, прости нас.

Раввин Овручер бросил горсть земли в могилу. Потом Сара Майзель, её внуки, родственники, Марк Шапиро, водитель автопоезда багажных тележек. У ворот кладбища Марк попрощался с маленькой женщиной в чёрной шляпке с вуалью.

— Миссис Майзель, вот моя визитная карточка. Если что-то могу для вас сделать...

— Вы и так нам помогли. Спасибо.

— Тысячу извинений, но разрешите всего одни вопрос: почему вы так настаивали, чтобы вашего сына похоронили сегодня, в субботу?

— Я не хочу об этом говорить.

Внуки помогли бабушке сесть в чёрный «кадиллак», специально арендованный авиакомпанией; за всё время эти молодые люди не сказали ни слова. Родственники разошлись по своим машинам. Репортёр, открыв дверцу «вольво», сел за руль, рядом с ним устроился Овручер.

— Залман, если я когда-нибудь накоплю достаточно денег, чтобы оплатить ваш приезд в Москву, можно будет похоронить моих родителей так, как сегодня хоронили Майзеля? Знаете, почему я сегодня плакал, когда вы читали кадиш? Я вспомнил, как умирали мои родители — в смрадной палате, на загаженных простынях, а у меня не хватало сил, чтобы перестелить им бельё, переодеть их в чистое. И как их хоронили... В мокрой глине, пьяные могильщики, мат-перемат... Я был плохим сыном, если гозволил им так умереть.

— Не вы один. А родителей не надо тревожить. Они ведь вместе? Сказано: «Не следует слишком скорбеть об умерших, а кто скорбит слишком, на самом деле скорбит о другом». Вы, Марк, скорбите о себе, и, видимо, у вас есть причины.

— Закурите?

— Нет, я не курю.

Марк прикурил от бензиновой зажигалки «Зиппо», которая безотказно давала огонь уже лет двадцать — под ветром и дождём, в любую погоду.

— Вам часто приходится иметь дело с мёртвыми?

— Конечно. Это же моя работа. Я окончил иешиву Бардина в Детройте, но первый год, как все студенты, учился в Израиле, и там впервые увидел людей из «Хевра кадиша»*, и они показали мне, что значит быть евреем. Вернувшись в Детройт, я стал работать в «Хевра кадиша». Вообще-то, я не первый, кто занимается этим в нашей семье. Моя бабушка обмывала трупы; когда её звали, она всегда брала меня с собой, и я не пугался мёртвых, мне даже было интересно. Но тогда всё было иначе — человек умирал дома или в больнице, а теперь он выбрасывается с двадцатого этажа, падает в ковш для разливки чугуна, его отдирают от стен, как после взрыва в Тель-Авиве, или вылавливают по кусочкам в океане, как Аарона Майзеля, капитана Даниэля Розенталя и всех, кто летел этим злосчастным рейсом. Но кто-то должен похоронить их по-людски, поэтому многие звонят мне, и тут неважно, где я нахожусь, чем занят, — я бросаю всё и еду туда, где я нужен. Самое страшное — жертвы автокатастроф, иногда буквально соскребаешь шпателем то, что от них осталось.

— Залман, это же надо иметь стальные нервы.

Раввин улыбнулся, отчего очки поднялись на лоб, так подпирала их буйная борода.

— Всякое бывает... Случается, тебя выворачивает наизнанку, и ничего нельзя поделать. Переждешь рвоту, и продолжашь обмывать тело. Не-

* Погребальное общество «Хевра кадиша» (арам. «Святое общество») — готовит опочивших к погребению, совершает все, что положено для похорон, от омовения до погребения.

приятнее всего — говорить с родственниками. Некоторые первым делом спрашивают: имел ли покойник при себе деньги, кредитные карточки, драгоценности? Помню, как-то я нашёл в кармане одного человека, в которого выпустили очередь из автомата, восемьдесят тысяч наличными. Когда отдал деньги его вдове, она была поражена. А когда умер Ирвин Абрамсон, помните? О нём написала даже «Нью-Йорк таймс». Ему было за восемьдесят, всю жизнь он жил как нищий, питаясь бесплатными завтраками в синагоге, не потратив за последние 25 лет даже 10 центов на шнурки для ботинок. Когда полиция взломала его квартиру, он лежал в ванной и по нему ползали черви. Даже полицейские не смогли там находиться, они задыхались от смрада, а я убрал червей, обмыл Абрамсона и завернул в саван. В его квартире нашли грязное бельё, заплесневевшие продукты и документы, из которых стало известно, что его годовой доход составлял триста тысяч долларов. Всё своё состояние этот нищий (или богач, не знаю уж, как называть его) завещал иешиве, которую я окончил, дому сирот в Израиле и медицинскому колледжу имени Альберта Эйнштейна. Видите справа коттедж с уютным садиком?.. Здесь жил Пауль Тиллих.

— А кто это? — спросил репортёр.

— Протестантский теолог. Когда нацисты пришли к власти, он эмигрировал в Штаты. Один семестр я слушал его лекции в Чикагском университете. Он тоже похоронен в Ист-Хэмптоне.

— Залман, а почему всё-таки Сара Майзель захотела устроить похороны в субботу? Даже звонила в редакцию, и я дал ей телефон похоронной конторы. Ей просто повезло, что она связалась с вами.

Но раввин, казалось, не слышал, что говорит Шапиро. Только когда «вольво» съехала с моста Куинсборо в Манхэттен, он вспомнил, о чём его спросили.

— Вы, журналисты, даже не понимаете, какую боль причиняете своим дурацкими вопросами.

— Но почему дурацкими? Ведь другие раввины отказываются хоронить в субботу, а вы хороните.

— Потому что я из реформистской синагоги. Вы в 91-м ещё были в Москве?

— Нет, уже уехал.

— Значит, вы не видели похороны трёх молодых людей, погибших в дни коммунистического путча.

— Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов.

— Да. Так их хоронили в субботу. А что было делать близким Ильи Кричевского? Московский раввин отказался его хоронить. И тогда мать погибшего обратилась к реформистскому раввину Зиновию Когану, и он прочитал кадиш.

— Мы здорово умеем осложнять себе жизнь, — заметил Шапиро.

— Я так не думаю, — возразил Овручер.

— Значит, вы никакой не реформист, а самый закоренелый догматик.

— В некотором роде так и есть. Когда у вас будет время, подумайте, почему бриллиант ценится гораздо дороже алмаза?

— Потому что он огранён.

— Совершенно верно, огранён, то есть ограничен гранями, каждая из которых — итог упорного усилия, тщательного труда, чтобы как можно полнее раскрыть красоту камня, его блеск. Еврей должен соблюдать 613 заповедей-мицв; каждая из них — новая грань его совершенствования, приближение к тому, каким он угоден Господу. Многие думают, что «мицва» это «доброе дело», хотя между добрым делом и заповедью огромная разница: первое подразумевает добровольный поступок, а второе — обязанность.

— Но ведь то, что человек делает по своей воле, куда важнее того, что сделано по принуждению? Разве не так?

— Конечно, не так! Доброе дело можно сделать, а можно и не сделать. А заповедь надлежит исполнять во что бы то ни стало. В Талмуде об этом прямо сказано: «Более великим является тот, кто обязан и так и поступает, нежели тот, кто не обязан, но так поступает». Вряд ли сейчас найдётся кто-то, кто исполнял бы все 613 заповедей. Но каждая грань, которую ты в себе осуществил, отшифовал в себе духовным усилием, помогает тебе ещё больше почувствовать себя человеком, вочеловечиться!

— Сдаюсь, уважаемый раввин Овручер. Я проспорил...

— А это не спор, Марк, это нормальный разговор двух евреев в Нью-Йорке, или в Москве, или в Хевроне. Когда мы встретились, вы сказали мне: «Надо сделать всё, чтобы узнать правду о гибели рейса 401». Но ведь и Тора к тому же призывает: «Правду, правду ищи». Без правды нет справедливости. «Пусть справедливость хлынет, как вода, и правда — как неиссякающий поток», — воззвал пророк Амос. Наверное, ии одно понятие люди не толкуют так предвзято и противоречиво, как «справедливость». Я упомянул, что первый год учёбы в иешиве провёл в Израиле. Как раз в то время туда приехал архиепископ Десмонд Туту из Южной Африки. И вот он заявил, что пришло время простить нацистов за убийство шести миллионов евреев — это сказал человек огромного мужества, истинный христианин, может быть, даже великий человек. Но сама мысль о том, что убийцы могут остаться без возмездия, поразила израильян, для них это означало бы торжество несправедливости... Чуть не проехал! Марк, остановите за перекрёстком, нет, за следующим, у мексиканского ресторчика «Гусано рохо».

— А это что такое? Падре, по-моему, вы и на этот вопрос сумеете ответить, а?

Раввин ударил его ладонью по колену, как старшие шлёпают расшалившихся детей, и улыбнулся.

— «Красный червяк» — так по-испански называется самый лучший сорт текилы. Мы как-нибудь её попробуем. Отличная водка!

— Только, чур, без червяков. Секунду, Залман. Последний вопрос «Джуиш экспресс»: вам нравится картина Эль Греко «Вид Толедо»?

— Никогда не видел, даже репродукцию.

— А она рядом, в «Метрополитен-музее». Мозес Зингер, один из пассажиров «Синей птицы», последние шесть лет был смотрителем зала, где выставлена знаменитая картина Эль Греко «Вид Толедо». На рейс 401 он сел в Париже. А знаете, что он делал в Париже? Приехал туда по приглашению некоего месье Жильбера Коэна; мне удалось выяснить, что он работает в Лувре смотрителем зала, где выставлена картина Эль Греко «Св. Людовик, король Франции, и паж». Никогда не думал, что есть такие вот неведомые нам содружества смотрителей, поваров известных ресторанов, даже швейцаров отелей «Шератон» и «Риц», в какой бы стране они ни находились. Такие маленькие кланы посвященных... возможно, они ещё таинственнее и недоступнее для чужаков, чем орден иезуитов или мафия. Я тоже раньше не видел «Вид Толедо», а сегодня специально пришёл к открытию, хорошо, музей рано открывается — в полдесятого. Только непонятно, почему Эль Греко висит не в зале испанской живописи, а с какими-то итальянцами.

— До свиданья, Марк.

— Счастливо, Залман.

Раввин захлопнул дверцу «вольво», и Марк быстро отъехал от тротуара — стоянка здесь запрещена. Он только хотел спросить Овручера, что, по его мнению, должен чувствовать человек, который шесть лет смотрит на картину «Вид Толедо»? Но что мог ответить на такой вопрос Овручер, да и любой другой человек на свете, кроме Мозеса Зингера! Впрочем, не следовало ждать какого-то откровения и от него; возможно, он чувствовал всё, а может, ничего. Странно, что репортёра не интересовало: а что почувствовал Мозес Зингер, поняв неизбежность своей гибели? О чём он думал? Как себя вёл в последние минуты? Ведь не думал же он в тот миг о картине Эль Греко.

Однажды Шапиро видел интервью с Бобом Николсом, уцелевшим при взрыве самолёта. Машина оказалась просто развалюхой, давно отлетавшей своё. Самолёт взорвался в воздухе, взрывом вырвало громадный кусок крыши, и пассажиры видели вокруг небо и океан, куда они падали с огромной высоты. Тогда Боб Николс нацарапал на страничке журнала прощальную записку семье:

«В салоне над рядами с 1-го по 9-й вырвало крышу. Взрывом вытянуло массу вещей. Самолёт трясёт и он быстро падает вниз. Кабину пилотов, наверное, тоже сорвало, потому что они молчат. Когда упадём, не знаем. Земля стремительно приближается. Я люблю тебя, Джейн. Любовь моя! Люблю Джейн! Роберта! Времени больше нет. Люблю! Папа».

Невероятно, но Боб Николс и ёщё восемьдесят восемь пассажиров выжили. Один из них вспоминал: «Вы не представляете себе, как мы плохнулись! Когда я лежал в шоковой терапии и жена пришла навестить меня, я

спросил: а как там остальные? Она заплакала, потом сказала: «Не всем так повезло».

После гибели «Синей птицы» Шапиро собрал две папки с материалами об авиакатастрофах. Больше всего его поразило, какие нелепые причины иногда приводят к гибели людей — нелепые до идиотизма. Например, рейс 225 компании «Нортвест». Экипаж торопил пассажиров на посадку, спеша прибыть в пункт назначения до 23.00, когда начнёт действовать запрет на шум и громкие звуки. МД-80 вырулил на взлётно-посадочную полосу и начал разбегаться, но в спешке пилоты забыли опустить закрылки — это означало, что они не могут взлететь. Самолёт снёс две аэродромные вышки, врезался в здание проката автомобилей, выкатил на шоссе и превратился в гигантский факел. Его бросало вправо и влево. Страшный взрыв превратил лайнер в огненный смерч, унёсший 156 жизней. А вскоре такая же страшная трагедия повторилась в Далласе, на рейсе 1141. Пилоты снова забыли о закрылках, потому что решили расслабиться и поболтать о девочках. «Мы решили обсудить, как наши стюардессы занимаются сексом и записать всё на «чёрный ящик» — ну, на тот случай, если вдруг разобьемся, тогда хотя бы журналисты получат горячий материал, плёнку с перчиком. Ха-ха! Фил, ты помнишь ребят из «Эйр Континентал»? Они разбились в Денвере, обсуждая как раз эту тему. Если мы грохнемся, нашим жёнам и детям тоже будет что послушать. Верно? Питание включено. Режим работы двигателей нормальный. Набор скорости восемьдесят узлов. Что это?! Отказ двигателя! Нам с этим не справиться! Врубаем полную мощность!» Потом «чёрный ящик» записал только скрежет и треск, когда «боинг-727» ударился о землю сперва хвостовой частью, перевернулся и вспыхнул. Погибли двенадцать пассажиров, а три пилота-недоумка остались живы.

Марк видел «чёрные ящики» на пресс-конференции, которую руководство Федерального управления авиации, Национальное управление безопасности на транспорте и компания «Орион» провели в отеле «Рамада» аэропорта Кеннеди — четыре ярко-красных шара, напоминавших спущенные футбольные мячи: два крепятся в левой кормовой части фюзеляжа, рядом с туалетами, над отсеком для верхней одежды, ещё два — в месстах, которые известны только специалистам; каждый «ящик» стоит 18000 долларов — как раз столько, сколько в месяц получал командир «Синей птицы». «Ящики» нашли очень быстро и сразу отправили в Технический центр Федерального управления авиации в Вашингтоне, где над ними колдуют эксперты из Управления безопасности. Конечно, речевые самописцы сохранили каждое слово экипажа, короткие, в несколько слов, разговоры друг с другом и с диспетчерской службой Лонг-Айленда, но крики, мольбы, рыдания пассажиров никто никогда не услышит. Возможно, когда-нибудь научатся записывать их, хотя вряд ли самим пассажирам это понравится. Может быть, к лучшему, что их последние слова никто никогда не услышит.

Кто-то когда-то вывел изящную формулу утешения: «Пока я есть, смерти нет; когда наступит смерть, меня уже не будет». О, если бы всё обстояло так изящно: человек заснул — и не проснулся, или смерть разила бы мгновенным ударом молнии. Тогда незачем и думать так мучительно, что же такое смерть. Тогда спасение не воспринималось бы как чудо, хотя на самом деле каждое спасение — отсрочка, не более того. Признать, что смерть — ничто (или превращение в ничто), исчезнение, аннигиляция — значит признать, что и рождение — ничто. Признать, что после смерти ничего не будет, — значит признать, что и до рождения не было ничего. А это так же нелепо, как путнику отрицать пройденное: мол, есть только то, что впереди, а позади нет ничего. Но ведь было! Отец и мать, предки, пращуры. Значит, и после смерти живы они в человеке частичкой себя: лепкой лица, цветом глаз, рисунком мочки уха, манерой говорить, улыбкой, походкой. Явным или неявным проявлением, но ты останешься в потомках, а значит, будешь жив в грядущем, не говоря уже о том, что твоё (и всех людей) имя и дела останутся навечно, со временем они просто гаснут, бледнеют, становятся прозрачными, но не исчезают совсем, они как соль или сахар, растворённые в воде — «вкус» твоей жизни всё равно останется. Тысяча лет — это всего лишь 33 поколения. Автор припоминает рассказ своего старшего друга Александра Ефимовича Лазебникова, который, будучи начинающим репортёром и хорошо зная французский язык, сопровождал приехавшего в Москву Пьера Дегейтера (Лазебников произносил: Дежейтер), написавшего музыку «Интернационала» — тогдашнего государственного гимна СССР. И вот знаменитого француза везут в Общество политкаторжан, где его встречает легендарный шлиссельбуржец Николай Александрович Морозов, что-то спрашивает, рассказывает сам, угощает чаем. «Товарищ Пьер, вам заварить покрепче?» — «О, нет, мерси, я пью некрепкий чай». — «А! Вы пьёте такую дрянь, какой однажды Маркс потчевал меня в Лондоне!»

Когда Лазебников рассказал мне это (а даже самые забавные истории он рассказывал с грустной улыбкой, да и страшные тоже), я поразился: вот я слушаю человека, который сидел с человеком, который хорошо знал Карла Маркса, родившегося в 1818 году, т.е. пять поколений назад. Так что 33 поколения это не так уж много. А тысяча поколений — это 30000 лет — вся известная человеческая история. Да неужели десять миллиардов нервных клеток человеческого мозга не способны вместить память (или какую-то другую информацию) обо всех этих годах, веках, тысячелетиях?

А репортёр «Джуиш экспресс»... Может, он по-своему прав, заинтересовавшись не тем, что пережил Мозес Зингер в последние минуты, а тем, что он видел последние шесть лет. По крайней мере, благодаря этому Марк Шапиро увидел знаменитую картину «Вид Толедо». Её ещё называют «Толедо в грозу». Эль Греко написал её незадолго до смерти.

Іцхак Башевис-Зингер

*Предлагаемый рассказ Нобелевского лауреата
Ицхака Башевиса-Зингера впервые переведен с идиши
Файнай Браверман-Горбач.*

ОКОШКО В ВОРОТАХ

I

Как-то меня пригласили в Южную Америку. Я достал кабину-люкс, с коврами, мягким диваном, мягкими креслами, ванной и письменным столом. Из двух больших окон открывался вид на океан. На корабле — по крайней мере, в том рейсе — обслуживающих было больше, чем пассажиров, и все норовили меня обслужить. За моим столом в обеденном зале стоял стюард, за тем только следивший, чтобы мой бокал не оказался пустым. Стоило мне только отпить глоток из бокала, как он уже хватался за бутылку. Музыка играла и в обед, и в ужин. Прослышиав, что я польский еврей, капельмейстер старался каждый день включать в репертуар польские и палестинские мелодии.

При всем этом я изрядно скучал. Поговорить «по сути» было не с кем. Да и знакомлюсь я не очень легко. Почти все пассажиры разговаривали на испанском. У меня с собой были шахматы, но никто здесь не хотел со мной играть, и я спустился во второй класс поискать партнера. На пароходе было только два класса.

Если первый класс был наполовину пустой и очень тихий, то второй класс кишел пассажирами и шумел. В большом зале пассажиры пили пиво из огромных кружек, гремела, оглушая, музыка — духовая и струнная, испанцы играли в карты, шашки, домино. Женщины распевали страстные испанские песни. Моему взору предстали диковатые лица, которые встретить можно только среди простолюдинов: одни напоминали зверей, другие — птиц. Голоса у всех были грубые, хриплые. Толстенные женщины с невероятными бюстами и задницами с трудом протискивались в двери.

И в этой толпе вдруг узнаю пассажира первого класса. Как и я, он обедал за отдельным столом на верхней палубе. На нем никогда, даже за вторым завтраком, не было галстука. А здесь он расхаживал в расстегнутой рубашке, обнажившей его волосатую грудь. Белобрысый, с красным лицом, мясистым в красных бугорках носом, он показался мне испанцем. Но к удивлению своему я увидел, что он держит в руках и читает старую еврейскую газету, нью-йоркскую. Я подошел к нему и сказал:

— Коль скоро вы еврей, то шalom алейхем.

Удивленно посмотрев на меня своими карими глазами со свисавшими под ними мешками, он ответил:

— Вот как? Алейхем шалом.

— Что вы здесь ищете, во втором классе?

— А вы что тут делаете?

— Пойдемте, поднимемся на палубу.

Мы поднялись на палубу и устроились на двух чужих лежаках.

Погода стояла тихая. Полуобнаженные матросы сидели на скатанных канатах, играли в засаленные карты. В воздухе стоял запах несвежей рыбы и морской воды.

— Здесь пассажирам веселее, чем нам наверху.

— Конечно, поэтому-то я сюда и прихожу. Там одни аристократы. Вы живете в Нью-Йорке? — спросил он.

— Да, в Нью-Йорке.

— А я в Лос-Анджелесе.

— Ну, тогда вы круглый год живете в раю.

— Не круглый год, и не в раю. Зимой там холодно. Но все олрайт. Мой дом на холме, при доме — сад, и все что хотите. Вы знаете Лос-Анджелес?

— Был там всего несколько дней.

— За деньги все можно достать.

— Откуда вы родом? Я вижу, что вы не коренной американец.

— Я из Варшавы. А вы?

— Тоже оттуда.

— Мы жили на Гжибовской, 5.

— А я ходил в хедер на Гжибовскую, 5.

— У Мойше-Ицхака?

Услышав это имя, я снова почувствовал себя дома. Огромное расстояние, океан, прожитая в чужой среде жизнь, — все отступило вдруг, в одну секунду. Того еврея звали дома Шмуэль-Меир, но здесь, уточнил он, его зовут Сэм. Из Варшавы он уехал пятьдесят с лишним лет тому.

— Как вы думаете, сколько мне лет? — спросил он.

— Около шестидесяти.

— В ноябре мне исполнится семьдесят три.

— Вы хорошо держитесь, не слазить бы.

— Вэлл. Был у меня дедушка, он прожил девяносто восемь лет.

Здесь, в Америке, пока не заболевают сердцем или раком, живут. На прежней родине часто умирали от тифа или даже от голода. У моего отца в Варшаве были лошади и конюшни, конюхи. Ни в чем не нуждались. Я учился в хедере. Отец нанял еще учителя, он обучал меня русскому, польскому, чему хотите. Мать была из более почтенной семьи, ее отец был адвокатом — не таким, как здесь, он не учился в университете. Он писал прошения, давал под заклад деньги.

Короче говоря, моя мама хотела вывести меня в люди, но учеба не лезла мне в голову...

— У вас есть время?

— Много времени.

— Поскольку вы еврей, да еще варшавянин, то с вами есть о чем поговорить. Почему бы нам не сидеть за одним столом?

— Был бы весьма рад сидеть рядом с вами.

— Я поговорю со стюардом. Сидишь один, и порой так тоскливо становится, не знаешь, куда себя девать. Кушаешь и набираешь в весе. Испанцы могут есть не переставая. Вы видели их женщин? Как можно иметь дело с такой горой мяса? В Штатах все на диете. Здесь они жрут, аж лопаются. То же самое было в Варшаве. Пиво пьете?

— Нет.

— А я закажу кружку.

II

— Пока ты молод, — заговорил Сэм, — не очень-то задумываешься о будущем. Но когда становишься старше, хочется иметь рядом человека, которого любишь и который любит тебя. Что толку в любви за деньги? Познакомился я с девушкой с Гнойной улицы, звали ее Хавеле, как ту Хаву, что дала Адаму яблоко, — он его съел, и все люди стали смертными. Славная была девушка. Как говорили в Варшаве, девка как писанка, с точеными ножками и всем остальным. Ей было восемнадцать, а в ту пору это был уже не очень молодой возраст. Мама моя не одобряла мой выбор: отец у девушки был бедняк, он подрабатывал у мясника, торговавшего кошерным мясом. Детей было у них много. У девушки моей ни гроша приданого не было. А мне его и не требовалось.

Короче, сначала все обговорили, а затем составили письменное брачное соглашение и разбили тарелки, как положено при помольке. Я далеко не святой. В субботу я водил ее в театр, а в будние дни мы частенько заходили в деликатесную закусочную, чтобы поесть горячих сосисок с горчицей и хрустящими булочками. Таких булочек, какие тогда выпекали в Варшаве, на целом свете не сыщете. Они хрустели под зубами, таяли во рту. От кружки пива она тоже не отказывалась. Короче говоря, у нас была любовь.

В те годы жених и невеста не позволяли себе то, что нынешние позволяют. Девушка соблюдала свое целомудрие до свадьбы. Зато целовались мы, аж искры летели, обещали друг другу тарелочку с небес, обсуждали, сколько детей у нас будет. Помню как сейчас: я хотел шестерых, а она — десять. Свадьба была отложена по желанию ее отца на более поздний срок, и для меня время до свадьбыказалось вечностью. Мы одарили ее подарками: золотые часики, цепочка, брошь. Ее отцу подарки были не по карману. Я уже приобрел серебряный бокал для кидуша — субботнего освящения вина, время шло в ухаживании, я сгорал от любви.

Теперь я расскажу вам такое, от чего и сейчас, когда вспомню, меня обжигает вот тут, под сердцем.

Была суббота, мы побывали в театре, а вечером пошли в ресторан к Котику. Устроили настоящий праздничный ужин — рыба, мясо, чего

только не заказывали. Отец Хавеле требовал, чтобы в 11 вечера она возвращалась домой, иначе он мог бы снять пояс и отлупить ее как маленькую. Мне это нравилось. Не хотелось получить в жены легкомысленную особу, которая где-то шатается до полуночи. Я хотел а балебатиш кинд*. И только такую.

После помолвки я прекратил свои шалости с шиксес. Она о них догадывалась и прямо мне сказала: что было, то сплыло, а теперь ты мой. Не так было легко сдерживаться, у нас была прислуга, я иногда наведывался к ней ночью на кухню. Но я поклялся Хавеле, что буду держать себя, как говорят, в строгости.

Короче, поели, попили мы тогда, сели на дрожки и поехали к ней на Гнойную. Происходило это после Пейсаха. В те годы ворота запирали в половине одиннадцатого. Мы стояли у запертых ворот, целовались еще и еще, затем я позвонил, и сын сторожа отпер ворота. Звали его Болек. Гру比亚н и забияка, всегда в сопровождении собаки. А девушек у него было больше, чем у меня волос на голове.

— Ворота в Варшаве чаще всего были с крошечным окошком, — продолжал рассказывать Сэм, — через которое сторож видел, кто звонил. Мог позвонить бандит или нищий. Мне никогда не приходило в голову, проводив Хавеле, заглянуть в окошко. Зачем? Что там увидишь? В тот раз меня охватила такая по ней тоска, что мне захотелось посмотреть, как она проходит двором. Заглядываю в окошко — и мне становится темно в глазах. Оказалось поблизости пропасть, я бы бросился в нее как в могилу. Я увидел Хавеле в объятиях этого мальчишки. Стоят и целуются. Мне подумалось — не привидение ли это, не умопомрачение ли? Он ее тискает, целует, она отвечает поцелуем. Так продолжалось минут 10. Если меня не хватил тогда удар, то я крепче железа.

Не буду длинно рассказывать подробности той ночи. Меня колотило как в лихорадке, я хотел наложить на себя руки. Зашла мама и спросила: что с тобой, сын мой? Уласи Б-г, заболел? Не мог я ей рассказать свою беду. Придумал что-то, чтобы ее успокоить. Меня лихорадило, я извивался, как уж, до рассвета. Под утро я уснул, а проснулся с ощущением горечи во рту, как будто съел отправу.

Я больше не мог оставаться в Варшаве. В те годы участились отъезды в Америку. Для этого нужна была только виза. Визу можно было достать у агента, выплатить эту визу нужно было в Америке. Я стоял перед выбором — повеситься или уйти куда глаза глядят. У нас была домашняя касса, куда отец складывал деньги. Я знал, где прятали ключ от кассы. Когда отец ушел к лошадям, а мама за покупками, я открыл кассу и взял оттуда двести рублей. Денег было много, тысячи, но я не вор. Первый свой зарплаток в Америке я отоспал домой.

* А балебатиш кинд — умеющий вести дом, преданный дому (букв. Хозяйственный ребенок).

Не будем, однако, вылавливать рыбу, не вытянув сеть. Прежде всего я побежал к своему тестю. Обычно я приходил туда по субботам и средам. Вхожу в квартиру к ним и вижу — она стоит на кухне и жарит себе что-то вкусное на второй завтрак. Больше никого в доме не было. Сейчас все хотят быть изящными, а тогда девушки не прочь были набрать в весе. На дачах взвешивались, и если девушка не прибавляла за сезон 15 фунтов в весе, то считали потраченные на дачу деньги выброшенными. Подкладывали подушечки спереди и сзади, чтобы приобрести округлость.

Когда я вошел, лицо ее засияло как солнце.

— Шмуэл! — и бросается целовать меня. Я ее останавливаю:

— Смотри, чтобы не подгорел твой завтрак.

— Почему ты пришел в воскресенье, так рано? — спрашивает она.

— Мне сказали, что ювелир, у которого мы купили твои подарки, мошенник. Золота не 14 карат, а с примесью серебра.

Она испуганно на меня посмотрела. Сняла сковородку с конфорки и пошла за украшениями. Я все спрятал в карман и схватил ее за волосы. — А это за что? — спрашивает она, бледная как смерть. — Вчера вечером я видел в окошке, чем ты занималась с Болеком. За что?

Она лишилась дара речи.

Я так съездил ей по морде, что она стала сплевывать зубы. Вот так, как слышите — один, затем второй, затем третий. Ни один дантист не справился бы лучше. Я готов был убить ее. Но я ведь еврей. Плюнул ей в физиономию и ушел.

— Дорогой мой человек — как вас зовут? Ицхок? — дорогой Ицхок, с тех пор я не видел ни отца своего, ни маму, ни брата своего Беньомена, — никого. Побежал на вокзал и купил билет до Млавы. Я знал, что там можно перейти границу в Пруссию. Тамошние контрабандисты за три рубля перетаскивали через границу. У меня с собой ничего не было, даже сменной рубашки.

В Млаве спрашивает меня контрабандист: где твоя пачка? А я ему отвечаю, показывая на сердце: — Вот тут она, моя пачка. Он все понял. Ночью я перешел границу, а утром уехал в Гамбург. Там я достал визу и билет до Нью-Йорка, и еще оставалось прилично денег. Продал украшения, купил себе белье, костюм и другие нужные вещи. Здоровье у меня было лошадиное.

Плыл я тогда, как и другие, не первым классом. Несмотря на мое легкое поведение, я все же трефное не ел. И вообще ничего не мог есть. Большинство пассажиров страдали морской болезнью и рвали желчью. От одной вони можно было заболеть. А у меня болело здесь — в голове. Мне все казалось, что я схожу с ума. Я возненавидел всех женщин. Воздев руки к небу, я дал клятву никогда не жениться.

— И сдержали ее? — поинтересовался я.

— У меня внуки.

III

— Рассказывать дальше? Будете слушать? — спросил Сэм.

— Да, конечно.

— Длинная это история. Но я постараюсь не очень вам надоест. Разве всю жизнь расскажешь? В еврейских газетах печатают такие истории, которые растягивают на месяцы, даже на годы. Я все это читаю, я люблю читать. Писатель для меня дороже раввина или доктора. Он знает, что у вас на душе, как если бы сам побывал в ней. Но переезжая с места на место, я не всегда могу доставать эти газеты. Их для меня собирают, и когда возвращаюсь домой, то застаю целую кучу.

Да, я дал клятву, но оставаться одному тоже невозможно. В те годы пассажиры, плывшие на одном пароходе, легко сходились и становились как бы одной семьей. Так и называли друг друга: корабельные братья и корабельные сестры. Еда была — картофель в мундирах, приправленный селедочным рассолом. Это копченая пища. В Берлине я сделал запас копченой колбасы и всех понемногу угощал, что вознесло меня до небес. Женщины и девушки, приходившие попросить колбасы, обнимали меня и целовали. Но я понимал, что это плата за колбасу. После постигшего меня с Хавеле я уже никому не верил.

Плыла на том пароходе миловидная миниатюрная женщина, уже устроенная в Америке, приехавшая в Польшу за своей теткой. Мы все для нее были бандой неискушенной зелени. Они с теткой занимали отдельную каюту, но тетка вскоре слегла, и эта женщина проводила все время с нами, зелеными. Муж, по ее словам, был шойхетом в Бронзвиле. Нам Бронзвиль ни о чем не говорил.

У нас, в Польше, жена шойхета надевала на голову парик или чепчик, но эта женщина ничем не покрывала свою голову. Как она выглядела? Брюнетка, ее глаза всегда смеялись. Никогда в жизни не встречал подобной хохотуньи. Шутки-прибаутки сыпались у нее как из рукава, и каждый день она получала у меня кусок колбасы. Она прозвала меня бейби. Я был парнем рослым, крупным, а она была крошечной, ее можно было уложить в пакет. Но я был для нее бейби.

Остроумной она была, чертовка, палец ей в рот не клади. Стоило ей взглянуть на вас, и она все угадывала, как цыганка. Как ее звали? Бетти. Еврейское имя ее было Брайнда, а в Америке она стала Бетти. Никогда не встречал таких шустрых женщин, порхала как птичка, всюду все выведает, обо всем знала, умела разговаривать по-английски.

Как-то обращается она ко мне с такими словами: если одна женщина тебя предала, то не все в твоем горе виноваты. Есть и порядочные женщины. Откуда вы знаете, что меня предала женщина? — спрашиваю ее. А она в ответ: да это у тебя, бейби, на лбу написано.

Пригласила она меня в свою каюту. Тетя ее лежала как мертвая. Морская болезнь вещь страшная. Мне показалось, вот-вот скончается ее тे-

тушка. А сама Бетти смеется и знаком показывает, мол, наклонись. А сама становится на цыпочки и так меня целует, что я до сих пор помню тот поцелуй. Чтобы жена шойхета целовала чужого мужчину — такое было для меня еще в диковину.

Спрашиваю ее: ты не любишь своего шойхета? — Люблю, — говорит, — но он там в Бронзвиле режет цыплят, а я здесь. — Знал бы он, чем ты тут занимаешься, он бы тебя тоже зарезал, — возразил я. — Если бы люди знали правду, мир распался бы как карточный домик, — был ее ответ.

Дорогой мой друг, началась между нами тайная любовь. Никогда не мог себе представить, что такая крошечная женщина может быть такой жаждущей. Не я ее, а она меня доводила до изнурения. Но считала себя набожной. В канун субботы она ставила три свечи в три картофелины, покрывала голову шалью, прикрывала глаза ладонями и произносила как ребеци молитву благословения свечей.

Вот так мы и прибыли в Америку. Толпа народу встречала зеленых, и мое «приобретение» узнает своего шойхета. Бейби, — обращается она ко мне, — слушай меня внимательно. Между нами ничего не произошло. Мы абсолютно чужие. Запечатай уста свои. Затем я увидел, как она целуется с мужем. Она целовала и плакала, а я снова поклялся. Шмуэль, — сказал я себе, — этот мир фальшив. Годы спустя я услышал слова одного раввина: в Торе написано, что все люди лжецы.

— Не в Торе, в Псалмах, — заметил я, — сказано: кол гаодам козав — всякий человек обманщик.

— В те времена пассажиров с парохода увозили на Элис-Айленд, остров слез, как его называли. Но я был здоров как медведь, и деньги водились. Меня сразу отпустили.

Приходили к пароходам агенты с различных фабрик, и как только зеленый ступал на сушу, его тут же брали на работу. Платили не более 3 долларов в неделю, а то и меньше. А так как у меня были деньги, то я и не торопился закабалить себя.

Рабочий и ремесленный люд отправился искать работу в район, который назывался свиной рынок. У каждого в руках орудие его труда — портной несет головку швейной машины, например. В Америке так: в одном деле нехватка рабочих рук, в другом — избыток, а у нас все определяется сезоном. Ко мне агенты пристают один за другим, а я отвечаю: хочу поглядеть, присмотреться.

Встретился мне молодой человек, он сказал мне: не на улице же ночевать, давайте поищем квартиру. Пошли мы по этим стрит. Полно народу, прямо на улице едят, читают газеты. Подошла девица и предложила повести нас к себе в подвал за четвертак, но мы отказались.

Молодой человек был, очевидно, посредником. Он повел меня на третий этаж дома, в котором брали квартирантов, и представил меня хозяинке, ее звали Мале. Имя это ирландское и еврейское тоже, у меня у самого

была тетя Мале. У этой хозяйки были еще два квартиранта. Туалет был в коридоре, а принять ванну можно было только в парикмахерской.

За два шмоляра в неделю я получил у этой миссис еду и ночлег в одной комнате с двумя другими квартирантами. Она как раз оказалась порядочной женщиной, готовила нам еду и стирала наше белье. Муж ее был майором, она полностью отдавала себя мужу и детям. А он, хозяин, позволял себе таскаться с другими. Доченька у них была Сузен, уже все повидавшая. Возвращалась домой в час ночи, перед дверью тискалась с парнями.

Кормила нас Мале по-царски. Как ей это удавалось за два доллара в неделю? На рынке она искала мецес — дешевые продукты, а на Орчард-стрит, где продают овощи с повозок, все можно купить за полцены.

Дорогой мой, прошло так десять лет, я удержался от женитьбы. Я не философ, но смотрю на все открытыми глазами. Задумываясь над жизнью, я понял, в чем дело. Пока была вера в Бога, в наказание за грехи, был страх перед геенной огненной. Когда же еврейские газеты начали писать о том, что нет Бога, что Мойше-рабину был капиталистом и бизнесменом, то кого же бояться? Да, о главном я забыл. В те годы в Америке уже появились автомобили и даже такси. Но товары перевозились главным образом конными экспрессами. На стритах стояли корыта, из которых поили лошадей.

А так как в Варшаве мы держали лошадей, то я сразу же вошел в экспресс-бизнес. Поначалу погонщиком чужих лошадей, затем приобрел собственную лошадь. Затем две, из двух сделалось шесть экспрессов, десять. В Америку я вступил с правой ноги, каким бы бизнесом я ни занимался, — во всем мне везло. Работал по шестнадцать часов в сутки, но сил хватало. Сейчас я принимаю таблетки для сна, а тогда я ложился в своей собственной подводе на голые доски и, как только голова касалась доски, я уже начинал храпеть. Я мог проспать десять часов, и больше, не просыпаясь. Ко мне в подводу забирались бездомные и спали рядом. Для лошадей были стайнини. Бизнес был удачным, я разбогател. Понятие богатства было тогда другим, за тысячу долларов можно было купить больше, чем сейчас за десять. У меня была собственная квартира на Гранд стрит, в компаниях я не нуждался. Свадебные маклеры меня преследовали, но я с ними был откровенен: зачем мне жениться? Чтобы кто-нибудь другой спал с моей женой? Пусть тот женится, а я буду спать с его женой. И это были не просто слова, вы меня понимаете?

— Да, конечно.

IV

Но добрым оставаться невозможно. Клятву дали земля и выси, что не будет мудрых. Я уже говорил, что у меня была страсть к еврейскому театру. Что вы можете знать, вы, приехавшие сюда позже, чем был для нас еврейский театр! Еще живы были тогда великие актеры: Томашевский, Ад-

лер, мадам Лифцин. Большая часть торгующего люду ходили в театр по субботам. Но я, холостяк с деньгами, мог позволить себе пойти в театр когда мне захочется, а желание пойти в театр приходило каждый вечер. Нынешние пьесы годятся на ойф капуре*. В тогдашних пьесах было на что посмотреть. Царь Давид, Бат-Шева, разрушение Храма — история! Евреи сражались с этими, как их зовут? — с римлянами, вся битва показывалась как живая. Выбор попутчиц среди женщин и дев у меня был огромный, но я предпочитал сидеть в театре один. Была одна актрисочка, ее имя печатали мелким шрифтом, на нее не очень-то обращали внимание. Но когда я впервые увидел ее игру, у меня защемило под сердцем. Ее имя ничего вам не скажет, оно уже забыто, лет 40 как она не играет. Она то и есть бабушка моих внуков. Чтобы вам рассказать историю нашего знакомства, как я, забрав ее у мужа, женился на ней, мне понадобилось бы просидеть с вами три дня и три ночи. Как мне, простому парню из Варшавы, удалось познакомиться с американской актрисой? Тот, кто любит, обладает какой-то сверхсилой. Она мне уже потом призналась, что чувствовала мой взгляд на сцене. Я всегда покупал билет в первых рядах. Муж ее таскался с другими, часто гастролировал в других городах, в Нью-Йорке ему не давали играть.

Я видел его однажды на сцене в Петерсоне — кусок бревна. Коротко да любо, пошла у нас любовь. Детей у них не было. Когда я первый раз вышел с ней, мне казалось, что лишусь рассудка от счастья. Я пригласил ее в ресторан на Бродвеев и в ночной клуб. Там показывали голых женщин, но я горел желанием только к Этл. В театре у нее было другое имя. Мы пили шампанское, я опьянел. «Что ты во мне такое увидел? Мой муж готов променять меня на любую яхну». А я отвечаю, мол, то, что я в тебе вижу, никакими словами не выразить, и каждый поцелуй обжигает меня огнем. Она что-то мне говорит, и каждое слово ее слаше меда, как в книгах пишут. В первый же вечер я предложил ей жениться. Когда муж ее, этот чурбан, услышал, что нашелся охотник на его лежалый товар, у него тоже появился аппетит, и началась игра в кошки-мышки. Когда он убедился, что она предпочитает меня, то потребовал денег. Я отсчитал 2 тысячи долларов — тогда это было целое состояние — и он дал ей развод. Легко рассказать, но дело тянулось долго. Впрочем, мы уже жили как муж с женой.

Когда мы ближе узнали друг друга, я стал расспрашивать о ее прежней жизни, она поклялась, что кроме него, Макса, у нее никого не было. Но я вот что вам скажу: если женщина уверяет, что вы у нее второй, то вы у нее десятый или двадцатый, или пятидесятый. Где-то в Торе написано, что нельзя найти следа змеи в поле, следа судна в море. Дорогой мой, я продолжал расспрашивать, исследовать и узнавал все больше и больше. Несколько лет она таскалась по гастролям; чтобы получить роль, нужно было спать с директором или с другим заправилой. Будучи трезвой, она

* Ойф капуре — для принесения в жертву (никуда не годится).

молчала, но выпив немного машке, у нее развязывался язык. Я составил список мужчин, с которыми она валялась, и у меня потемнело в глазах. Каждый раз, когда я полагал, что список истощился, появлялся кто-то новый. Между тем она забеременела. Я не мог поломать ее жизнь — я забрал ее у мужа, ради меня она ушла со сцены. Мы ссорились, я прикладывал руки, а она плакала такими слезами, что они тронули бы камень. Такое мое счастье: Хавеле целовалась с сыном сторожа, а у Этл был длинный перечень любовников. Она дала клятвенное обещание вести себя достойно. После женитьбы я уже не пустил ее на сцену, а когда женщина в положении, то с животиком на сцену не пойдешь подавно. Однако медведя всегда тянет в лес. Она без театра не могла жить, мы посещали все спектакли, нам давали бесплатные билеты. Все кассиры были с ней знакомы. Все еврейские актеры как одна семья. Родилась у нас девочка, мы называли ее именем ее матери — Фейгеле: Этл рано осиротела. В Америке Фейгеле стала Флоренс. Два года спустя родилась двойня — мальчик и девочка. Вот и мои дети.

После вторых родов я захотелось вернуться в театр, ей стали предлагать роли, телефон не переставал звонить. Уж таков человек: если вы не нуждаетесь в его помощи, он становится добрым. Но я сказал Этл ясно и четко: если ты вернешься в театр, я потребую развода. Люди театра были для меня как боги, но когда я узнал правду об их поведении, как с ними девушки расплачиваются любовью, чтобы попасть на сцену, я постылся. Я убедился, что они все фальшивы, каждый думает только о себе. Были у меня друзья, но, приходя ко мне домой, тут же пристраивались к моей жене и строили ей глазки. Этл это нравилось, почему бы и нет? Однако у меня, после случившегося со мной в Варшаве у тех ворот, охота к таким фокусам пропала. Если появлялся охотник поволочиться за моей женой, я брал его за шиворот и спускал со всех лестниц. Запросто. Пошли разговоры, что я, мол, дикарь. Этл плакалась, что я всех прогоняю. Я перестал посещать еврейский театр, английский же не имеет никакого вкуса — там нет игры, одни только разговоры.

Настало время, когда конные экспрессы прекратили свое существование, и я перешел в другой бизнес. Подрастали дети, я делал деньги. Все было хорошо, но кровь моя была уже отравлена. Когда я не думал о Хавеле, то вспоминал жену шойхета с парохода — как она потом повисла на нем и целовала его. Ночью, лежа рядом с Этл, я расспрашивал ее о всех любовниках, она вынуждена была обо всем рассказывать, до мелочей, если она что-то скрывала, я устраивал скандал. В любом бизнесе приходится иногда уезжать в поездку, и мне казалось, что не успею я сесть в поезд, как к ней явится любовник. Я пользовался успехом у женщин, я видел, как ведут себя другие, и твердо решил, что Этл не может быть другой. Стоит тебе только отвернуться, как твоя жена уже подмигивает другому — так поступали чужие жены по отношению ко мне. Игра в кошки-мышки. Кончилось тем, что я обратился к врачу. Но, вместо того чтобы выписать нужный рецепт, он только ухудшил дело. Этот врач недавно развелся с

женой и выплачивал ей алименты. «Вот видите эту софу, — говорит он, — если бы она могла говорить, то это привело бы к разводу не одной супружеской пары в Нью-Йорке». Ночью все это превращалось в кошмарные сны. Я просыпался среди ночи с желанием задавить Этл. Я никогда не осуществил это желание, но оно меня снедало, а когда думала о двух доченьках, которых я кормлю в своем доме, что и они, однажды повзрослев, тоже приобщатся к проделкам этих некейвес*, — я готов их тоже убить, собственных своих детей. Вы верите в подобные мешигасы, или я вам кажусь убийцей?

- Вы не убийца.
- Кто же я?
- Мужчина.

Пассажиров позвали к ужину и мы спустились в столовую. Сэм договорился со стюардом, и нас посадили за одним столом. У обслуживавшего меня кельнера теперь появилось больше работы, он следил за моим стаканом и за стаканом Сэма. Блюда подавались через большие промежутки времени, на этом пароходе еду готовили по заказу, ужин продолжался два часа.

- Вы оставались с Этл?
- Сэм отодвинул тарелку.

— Мы развелись. Я хотел уехать из Нью-Йорка, а она без Нью-Йорка не могла жить. Потащил меня, бывало, в еврейский театр, в кафе «Руяль», там она встречала своих прежних возлюбленных. Она не для встречи с ними туда ходила, но замужняя женщина, мать троих детей должна избегать тех мест, где она может повстречать своих прежних полюбовников. Я сажусь за стол со своей женой, матерью моих детей, а рядом садится какой-то шарлатан, с которым она спала ради роли. Я таки простак-парень, сын балагулы, но в нашем доме мы не знали о таких кривляниях. У моей мамы — да почиет она в мире — был один Бог и один муж. Если женщина сидит за одним столом со своим мужем и прежним любовником и спокойно ест свой бифштекс, она на все способна. Сегодня она просто посидит с ним, а завтра поведет его к себе домой или в гостиницу. Для меня это становилось невыносимым. Я боялся ее убить и самому вlipнуть в историю — 30 лет гнить в тюрьме у меня не хватило бы мужества. Ссоры наши и драки длились так долго, что чувства наши стали кислыми и желчными. Она охладела ко мне и стала жаловаться на боли при близости со мной. Я был с ней у врача, он сказал, показав на голову: дело не в нижнем, а в верхнем. Мы расстались, затем помирились. Она снова попыталась вернуться на сцену, но пьеса провалилась с треском в первую же неделю. Репортер, я забыл его имя, писал о пьесе, что это сплошная скуча. Именно так он отзывался о той пьесе. Имени Этл он даже не упомянул. Вы ведь знаете, что они пишут только о крупной рыбе, а мелочь всякую пропускают. Этл прямо мне заявила, что больше со мной жить не может и

* Некейве — распутная женщина.

хочет получить развод. Чтобы кому-либо себя навязывать? Так низко я еще не упал. Мы разошлись, между нами все кончилось, но на детей я платил. Избавившись от меня, она, очевидно, рассчитывала вернуться в театр, но с течением времени еврейские театры стали закрываться один за другим. Новое поколение идиш не знает, ну а зачем ходить в театр, когда за 50 центов можно посмотреть фильм с самыми прекрасными актрисами Голливуда, с музыкой, танцами и чем только хотите?! Шесть лет она оставалась одна, конечно же, были у нее мужчины. Со мной она встречаться не хотела. Когда я приходил повидаться с детьми, она запиралась в своей спальне или уходила из дома. Какое-то время спустя она вышла замуж за вдовца с пятью детьми, владельца закусочной.

Оставаться в Нью-Йорке я больше не мог. Она привила детям чувство ненависти ко мне. Как-то я пришел к ним, а старшая дочь плюнула мне в лицо. Моих родителей уже давно не было в живых, мой брат Беньомен погиб еще в первую мировую войну, вся мешпухе погибла от рук нацистов. Я простой еврей, неученый, но когда узнал, что делают люди, как здоровяки бандиты вытаскивали грудных детей из колыбели, а затем футболили их головки, меня охватило отчаяние. В Нью-Йорке я не был единственным евреем, иногда я встречался с бывшими соотечественниками, бывал на митингах в Медисон-сквер гарден по поводу Палестины или протеста какого-нибудь. Спикеры излагали суть дела, требовали денег, помощи, и я вносил свою лепту. Я видел, что никто из присутствующих не вникает в суть дела. Да, конечно, помочь надо, но и только. Самые спикеры не принимали близко к сердцу то, о чем говорили. Я даже слышал, что они за это хорошо получают. А меня все пробирало до глубины костей, как говорят. Я плохо спал, в голове шумело, будто заведенный мотор. Образованные люди истребляют себе подобных, а весь мир делает вид, что ничего не происходит, что же это за создание такое — человек? Когда вы имеете семью, то у вас нет времени морочить себя подобными вопросами — рядом лежит жена, вас окружают дети. Но когда вы возвращаетесь домой, и нет ничего кроме четырех стен, то начинаешь, как говорят, подводить итоги. Короче говоря, я бежал в Калифорнию.

Чем Калифорния мне помогла? Я занялся новым бизнесом и стал очень занятym. В Санта-Барбаре я познакомился с одной вдовой, и начался у нас роман. Мы целовались-миловались, а я себе думал: только похоронила мужа, отца своих детей, а уже готова заменить его другим. Все мои размышления слились в одну мысль: нет ни любви, ни верности, самые близкие люди готовы вас предать. Мои дети повзрослели, я больше не должен был их содержать, но все их письма были на один мотив — денег, всегда с одной просьбой — чеков. Та вдова сразу сказала, что ей от меня ничего не надо кроме моего хорошего отношения. Но не успел я оглянуться, как она оказалась на моем изждивении — то ей понравилась норковая шуба, то дорогая броши, то бриллиантовое кольцо. Кончилось тем, что она пожелала, чтобы я оплатил ей страховку на четверть миллиона.

на — не больше и не меньше. Я ей сказал без обиняков: если уж нести расходы, то за пару долларов я могу иметь более красивую и молодую. В ответ она плюнула мне в лицо, и я попросту ее выставил. Уж слишком умной она для меня оказалась.

С тех пор живу один. Время от времени у меня завязывались знакомства, интимные связи, но стоило мне дать понять своей партнерше, что любовь для меня не бизнес, как она тут же смывалась. Я много думал над всем этим. Моя мама тоже была на изживении своего мужа, но она родила ему детей, работала по дому с утра до ночи и была верной женой. Когда отец уезжал в Жихлин или в Лодзь, голова у него не болела, что придет какой-нибудь прощельга и будет обниматься с его женой. Он мог бы уехать в Америку на 6 лет, но моя мама осталась бы ему верна. Нынешние жены...

— Ваш отец был преданным мужем, а вы требуете преданности только от других, — прервал я его.

Он призадумался. Изучающе посмотрев на меня, он сказал:

— Да, это правда.

— Ваша Хавеле целовалась с сыном сторожа, а вы, конечно же, целовались с прислугой.

— А? Я обещал быть ей верным, но иногда грешил с девкой.

— Без религии не может быть верности, — заметил я.

— Так что же мне делать? Молиться Богу, который допустил уничтожение 6 миллионов евреев? Я не верую в Бога.

— Не веря в Бога, вы продолжаете жить в распутстве.

Он снова долго сидел молча, затем пояснил:

— Вот я и убежал от всего и от всех.



Сэм выпил свое вино, и кельнер тут же наполнил его стакан. Из своего стакана я отпил глоток, а кельнер столько же капнул из бутылки.

— Куда же вы убегаете? — спросил я, — в Аргентину?

Сэм отодвинул стакан.

— Мне ничего делать в Аргентине, как, впрочем, и в любом другом месте. Я ушел от дел с приличным состоянием. Я обеспечен всем, даже если проживу до ста лет. Чего я себе не желаю — к чему? Для такого человека, как я, жизнь — наказание. Я полагал, что старость — это отдых, надеялся, что к семидесяти годам человека уже перестают волновать всякие глупости, но голова не считает свои годы. Она остается молодой и напичкана той же ерундой, что и в двадцать. Я уверен, что Хавеле уже давно нет на свете, наверно, погибла от рук нацистов. А если осталась жить, то давно уже состарилась. Но в моем мозгу она все та же юная девушка, а Болек, отприск сторожа, тот же мальчишка, и ворота все те же ворота. Ночами, когда я лежу без сна и глаз сомкнуть не могу, горит еще во мне обида на Хавеле. Почему она так со мной поступила?

— Просто так.

— А? Не посмотри я тогда вечером в окошко, я бы на ней женился, а как же иначе? Ее отец хотел, чтобы свадьба была шикарной, чтобы за невестой приехала карета. А Болек стоял бы поблизости, смеялся и подмигивал бы ей.

— Могло бы случиться, что не посмотри вы тогда в окошко, вы никогда не попали бы в Америку. Вы, Хавеле, ваши дети были бы сожжены в Освенциме или замучены где-нибудь в другом лагере.

— А? Об этом я тоже думал. Один взгляд в окошко, и вся моя жизнь пошла по другому пути. Вы продолжали бы сидеть в одиночестве за своим столом, а за моим сидел бы кто-то другой или никто бы не сидел. Этл не вышла бы замуж за того владельца закусочной, она оставалась бы женой своего болвана и у нее не было бы с ним детей — он на это не был способен, врачи ему так сказали. Мой сын не стал бы профессором, моя старшая дочь — врачом, и внуков моих не было бы на свете. Значит, все — дело случая.

— Возможно, Богу было угодно, чтобы вы остались живы, поэтому вы и глянули в окошко.

— О, это уже глупости. Почему Бог захотел бы меня оставить в живых, а миллионы других евреев чтобы погибли? Я простой человек, но в голове у меня мозги, не солома. Чтоб вы знали, у меня тут на корабле есть любовница, — неожиданно сменив тон, сказал Сэм.

— В туристическом классе?

— Да, в туристическом классе. Я ей сказал, что я сапожник, живу на пособие и еду в Буэнос-Айрес, потому что там дешевле.

— А она кто?

— Итальянка, живет в Чили. Она жила три года у сестры в Нью-Йорке, говорит немного по-английски. У нее шестеро детей, четверо уже замужем и женаты. Как-то прохаживался по палубе и присел в кресло рядом с ней. Мы разговорились. Когда-то была красивой, должно быть, но ей уже за 50. В том климате женщины быстро стареют, а внутри они еще полны огня. Я стал ее расспрашивать, она обо всем рассказала. Муж у нее испанец, парикмахер — в каком же это городе? Забываю имена. Да, Вальперайсо. Ее сестра заболела — рак груди. Они живут в Стетен-Айленд, не бедные. Грудь сняли, доктор заверил, что все будет олрайт, но болезнь поразила другую грудь. Ее вызвали к больной, и она осталась там до кончины сестры. Простые чилийцы не обманывают, они говорят все начистоту, если вы чужой, конечно, а не свой. Своих они тоже обманывают. Она мне все рассказала. О мужчинах — до замужества и после. Муж был занят стрижкой и бритвом в парикмахерской, а она оставалась дома. Заходили к ней то сосед, то почтальон, то посыльный из овощного — все приставали, и она никому не отказывала. Она приехала ухаживать за больной сестрой, а муж сестры начал к ней приставать. Заболела его жена, и он занимался этим с ее сестрой. «А со мной ты бы этим занималась?» —

спрашиваю. «Но где? Со мной в каюте еще трое, у одной морская болезнь», — отвечает она. «Я могу снять свободную каюту в первом классе». Мои слова о первом классе ее насторожили, но я заговорил ей зубы. Она принарядилась, я повел ее к себе наверх и полностью, как говорится, удовлетворил ее. Вот вы говорите о Боге. Она верующая, она в Чили каждое воскресенье ходила в церковь. И в Стетен-Айленде тоже — так она мне сказала. По пятницам она не ест мясное, только рыбу. Но одно не мешает другому.

— Такое бывает у христиан, не у евреев.
 — Вы шовинист. Думаете, евреи из другого теста сделаны?
 — Наши бабушки и мамы так не поступали.
 — Вы уверены?
 — Вы сами сказали, что ваш отец мог полностью доверять вашей маме.

— Я так думаю, хотя нельзя быть уверененным. Жениясь я на Хавеле, наши дети не верили бы, что их мама целовалась с сыном сторожа.

— Она могла бы оказаться верной женой, — возразил я.
 — Возможно, но все эти годы она не могла бы забыть, как вела себя девушки. Сначала со мной целовалась у ворот, вздыхала, бедная, что свадьбу нашу отложили. Затем, как только за ней закрылись ворота, она тут же бросилась в объятия к этому мальчишке. А он, быть может, нанес бы ей визит через пару месяцев после свадьбы. Даже если бы она его не хотела, то она вынуждена была бы лечь с ним, опасаясь, что он ее выдаст. Вы не знаете, на что способны эти хулиганы, когда им приспичит.

— Знаю, знаю.
 — Все время рассказываю о себе, даже не спросил, чем вы занимаетесь. Где вы жили в Варшаве?

— На Крахмальной.
 — Это была улица воров.
 — Я не вор.
 — Кто же вы?
 — Еврейский писатель.
 — Вот как? Как вас зовут?

Я назвал себя.

Я был готов к тому, что он подпрыгнет от неожиданности — ведь он читал газету, в которой я печатаюсь, но он не тронулся с места. Долго и как-то грустно смотрел на меня и заключил:

— Да, это вы. Похожи на свои фотографии.

Мы оба сидели молча, затем он снова заговорил:

— Если я встретил вас здесь, на этом корабле, то есть на свете Бог...

Давид Маркиш

Давид Маркиш — русскоязычный израильский писатель, сын знаменитого еврейского поэта и общественного деятеля Переца Маркиша. Вниманию читателей «Егупта» предлагаются четыре вставные новеллы из романа Д. Маркиша «Быть как все».

АПОКРИФЫ

1.

Самуил сидел на тёплой земле, в тени высокой пальмовой кроны. Птицы возились в кроне, выклевывая спелые финики из гроздей и роняя белые капли с большой высоты. Вот если бы, с горечью подумал Самуил, двух бедняков приставить к пальме, чтоб разогнали бесполезных здесь птиц, чтоб надели мешки на зреющие грозди, чтоб сторожили, как он, Самуил, сторожит чужое имущество, чтоб сняли урожай и продали его на рамском базаре — и были бы хоть какое-то время сыты и тихи! С горечью подумал Самуил — потому что знал наверняка, что и днём с огнем не сыскать двух бедняков, согласных сидеть тут под пальмой и работать ради прокормления, а не таскаться без дела по окрестным горам и молоть языком, оскорбляя слух Бога, присутствующего незримо. Да хоть бы и найти, и посадить тут, под пальму — немедля сыскался бы бездельник и объявил, что дерево — его, и документ бы предъявил. А если бедняки хотят тут подкормиться — что ж, это можно, но пусть тогда они отдадут ему, законному владельцу, две трети урожая. Вот так-то.

Самуил расстелил перед собой чистую тряпичку и разложил на ней рваный кусок лепёшки, брускочек козьего сыра и высыпал ядрышки мелкого и злого аскалунского лука. Он любил сидеть вот так, на холме, глядеть на кусты и деревья в долине и думать о том, как было бы хорошо и прекрасно, если б люди были чуточку получше — посердечней и поумней. Но люди в своём большинстве были тупы, глупы и бессердечны, и это сердило пророка.

Казалось бы, что могло быть лучше того, что предлагал Самуил своим упрямым и нестойким согражданикам от Дана до Беэр-Шевы, лучше братства, равенства и свободы? Ведь и червь слепой не нашёл бы, чем возразить! А его евреи только ухмылялись, отворачивая свои бараньи морды, они были братьями только на словах, равенство представлялось им совершенно недостижимым, а свободу духа они и в грош не ставили, отговариваясь тем, что сегодня мы не рабы, а завтра Бог знает что может случиться...

Среди таких людей Самуил тяжко нёс своё пророчество, а других не было — тех, кто знал бы его, Самуила, предназначение и готов был слу-

шать его и слушаться, даже и скрипя зубами. Впрочем, были и такие, что слушались, и было их немного.

Раздумья о человеческой природе удручили Самуила и тяготили, и не было просвета впереди. Только часы сна после ночного стороженья облегчали его: он видел прелестные картины, и отчётиво слышал мощные голоса. И, хотя надежда и не овладевала беспокойной душою пророка, проблеск её всё же появлялся.

Ночные свои рабочие часы Самуил благодарно любил и посыпал мысленные благословенья тому, кто изобрёл сторожевую службу. Происхождение этой замечательной службы уходило вглубь времён, вон ещё Каин сказал: «Разве я сторож брату моему?» А был бы сторож — и ничего ужасного не произошло бы... Ну, это же и понятно: когда у одного человека имущества больше, чем у другого, он нанимает третьего человека, чтоб тот сторожил имущество первого от посягательств второго. Конечно, когда наступит братство и равенство, столь отчётильные в утренних снах, не потребуется никаких сторожей, потому что всё у всех станет одинаковым, и алчность, лишённая почвы и корма, исчезнет. Но на его век, с некоторым облегчением думал Самуил, работы хватит.

Поев с тряпицы, Самуил попил воды из тыквенной баклажки и заткнул её пучком сухой травы. Солнце приближалось к зениту, и пророк с неудовольствием вспомнил о том, что пора ему идти к Пинхасу, владельцу сторожимого Самуилом огорода, и просить прибавки к жалованью хотя бы нескольких агор. Собственно, Самуил и не забывал об этом неприятном визите, а только старался, обманывая себя, забыть, и это старанье и враньё раздражало его память и сердило его сердце. Пророк встал на колени, затем поднялся на ноги и, выпрямив спину, привычно оглядел окрестности из-под ладони, приставленной ко лбу. И с душевным облегчением увидел толпу евреев, направлявшихся сюда — к холму и пальме. Теперь, значит, можно с лёгкостью отложить поход к патологически бедрежливому Пинхасу и вместо служебных хлопот заняться Божиим трудом — ведь это Он послал сюда этих евреев, уже взбирающихся на холм, Он вложит слова в их буйные рты, а ему, пророку Самуилу, подскажет, что говорить.

Человек сорок, вразнобой карабкавшился по склону холма, действительно, что-то орали на ходу. Прислушавшись, Самуил различил отдельные слова — «все», «пророк», «царь» — и насторожился: никогда не было у евреев никакого царя и быть не могло, хотя бы уже и оттого, что совершенно противоречило безупречной идее, вложенной Самуилом в его любимое детище по имени Братство-Равенство-Свобода. На то евреи и избранный народ, отдельный от других, отдельно взятый: над ним не царь — а Бог, перед которым все равны и равно свободны. Царь же заберёт свободных людей к себе в солдаты, чтоб бегали сбоку от колесниц наравне с лошадьми, и самих лошадей возьмёт, и возьмёт женщин с девицами, чтоб варили ему, и пекли, и стирали. А кого не возьмёт к себе — у

тех, у оставшихся на воле отнимет десятую часть урожая посевов и виноградников. Какое уж тут получится братство, какая свобода!

Передние из взобравшихся уже подбежали к пророку и теперь стояли перед ним, дыша прерывисто. Отставшие присоединялись к передним и нажимали на них, смело подталкивая к Самуилу. Толпа стояла молча и только шумно дышала, как лошадь после трудного подъёма. Прошла, может быть, минута или две, когда в толпе, в самом её чреве, возникли слабые звуки речи, прыжком набравшие силу крика:

— Царя! Хотим царя!

— Зачем вам царь? — грустно спросил Самуил.

Тогда вперёд выступил коренастый, с сильной шеей и заурядным лицом, и объяснил раздельно и твёрдо: — Хотим — быть — как все!

2.

В поступательном распределении событий во времени, в хронологии мы привыкли видеть порядок жизни — своей и мира. Сдвинь, перетасуй эти самые события — большие и маленькие, приятные и ужасные — и жизнь рассыпается совершенно хаотически, как будто её и не жил. Хронология, таким образом, подобна лучевому отточенному стержню, на который нанизываются от начала и до самого конца, как вперемежку с помидорами и луком кусочки мяса на шампур, все случаи существования. Летит в кромешности космоса наша планета неизвестно как, куда и зачем, и Кто-то всё нанизывает, и нанизывает... Прижми двумя пальцами, большим и указательным, шампур чуть пониже витой ручки-держалки, и потяни — и всё смещается, и прервется связь времён.

Мы привыкли к этому, нам и в голову не придёт всерьёз расположить новопроизошедшее событие перед таким, которое случилось сколько-то времени назад: это станет пополнением на лёт логической мысли, скачком к дремучей бессмыслице, как будто кто-то знает, в чём, наконец, заключён смысл вещей. У детей это устроено как-то иначе: они прихотливо перемещают события своей подневольной жизни, группируют их по собственному разумению — и ничего, живут себе. Иное дело взрослые; те не могут позволить себе такие вольности и, в привычных оковах стереотипов, игру свободного разума подменяют выблевыванием прописных истин, составленных из выцветших слов. И чем больше прожито, тем стойче стереотипы и незыблемей, и готовящийся к смерти разум неспособен к переменам.

Соломон, царь и сын царя, понимал это усталой душою, а словами выразить не мог. Душевную усталость Соломон ставил очень высоко, берёг её и надёжно охранял. Усталость, он знал, проис текшая от пресыщенности удовольствиями жизни, соприкасается с мудростью, а неутомимая бодрость впору лошади, а не царю. Хорошие, мудрые мысли клубились в Соломоновой душе, но должные и единственны е слова не шли с языка, и в

лучшем случае получалось вот это: «У *мудрого глаза его — в голове его, а глупый ходит во тьме*». И не удавалось объяснить внятно и красиво, по какой причине дурак забрёл в потёмки, что он там делает и как ему оттуда выбраться.

И этот Храм... Конечно, великие цари всегда что-нибудь строят, чтобы небудь величественное и огромное — так заведено от начала мира. Сквозь ворота построенного царь-строитель входит в Историю. Но История вечна, а дом, будь он хоть в сто этажей и под золотой крышей, развалится в свой час, или неприятель разрушит его и сожжёт, и все труды строителя пойдут насмарку. Вон, со всех сторон слышно: «Храм Соломона будет стоять вечно!» Только дурак в темноте, выпучив бараны глаза, рассуждает о вечности. Мудрый знает, что Вечность — область Бога, а не рожденного женщиной, и уж куда-куда, а в эту область нельзя вламываться на вертлявых ножках. Наум об этом верно говорил, пока не опился вином и не уснул здесь, в этой самой комнате. Слово переживёт камень, даже если из этого камня сложен Храм, — так он говорил. Соломон может построить хоть три храма под трижды тремя золотыми крышами, подогнать и сложить каменные блоки так, что и волос между ними не просунешь, — но складывать слова, которые переживают камень Храма, умеет беспутный пьяница Наум, а не великий царь Соломон. И Наум, значит, задержится в необозримой Истории подольше, чем Соломон. Это неприятно сознавать, и то, что мир устроен несправедливо — никакое не утешение... Хотя «Песнь песней», не без помощи того же Наума, уже сочинена, и она останется надолго — истинный Храм стареющей души, который ни сжечь, ни разрушить. «Черна я, но красива, как шатры Кидарские, как завесы Соломоновы». И пусть, пусть, валяясь на траве виноградника со своим козопасом, издается над рубиновыми словами любви Суламифь, эта мерзавка! «Беги, возлюбленный мой; будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических». Легко сказать — беги! Это, скорее, относится к проклятому козопасу, чек к нему, мудрому Соломону: колени болят, одышка. И когда специальные верные люди донесли об этом издевательстве, об этом неблагодарном смехе в винограднике, Наум верно, ох, как верно предложил: «Чего ещё искала душа моя, и я не нашёл? мужчину одного из тысяч я нашёл, а женщины между всеми ими не нашёл». Это как раз то, что накипело, и как точно сказано; как будто Наум взял и перевёл чувство в слова. Чувства, в конце концов, принадлежат ему, Соломону, — без них Наум будет нем, как пень. Да и слова тоже его: не такой Наум глупец, чтобы болтать лишнее. Они вдвоём составляют единое целое, а то, что дорога в Историю открыта лишь одному Соломону — что ж, это проявление естественной несправедливости мирового устройства. Он, Соломон, испытывает по этому поводу искреннюю неловкость. Любой царь на его месте приказал бы просто-напросто удавить этого Наума в каком-нибудь иерусалимском закоулке и устраниТЬ тем самым неприятную

двойственность. Он этого не сделает. Тем более, что Екклезиаст только начат, и до конца не близко.

В глубине дома послышались шаги; кто-то шёл сюда, сандалии шлётапали по каменным плитам пола. Волосатая лапа офицера охраны просунулась в дверной проём и сдвинула в сторону тяжёлую кожаную завесу, расшитую золотыми бляшками: треугольниками и кругляками. Пригнувшись, в комнату шагнул чернобородый человек в замызганном, в винных и масляных пятнах халатишке, лет сорока.

— Сядь, Наум, — просто, как своему, сказал царь. — Сядь, не стой.

Коротко кивнув — то ли в знак согласия, то ли приветствуя хозяина — Наум подошёл к низкой скамейке, покрытой белой барабанской шкурой, обильно посыпанной золотой пылью, и сел, выставив острые колени. Тотчас же снова отодвинулась завеса, и молодая рабыня-нубийка, босая, вошла на носках, неся вино, козий сыр и вяленые фиги на резном подносе. Наум, налив вина в зеленоватый стеклянный кубок заморской работы, выпил длинными медленными глотками, крякнул с удовольствием и без интереса поглядел на еду.

— Ты спиваешься, — укоризненно покачивая головой, сказал Соломон. — Чёрт тебя возьми! Съешь что-нибудь.

— «Сладок сон трудащегося, мало ли, много ли он съест; но пресыщение богатого не даёт ему уснуть». Это ты сказал, владыка. Во всяком случае, про богатого — ты.

— А ты всё веселишься, — с почти неуволимой досадой заметил Соломон. — С чего бы это, хотелось бы мне знать?

— «Сердце мудрых — в доме плача, а сердце глупых — в доме веселия». Это тоже ты сказал. Но бывает же и наоборот! Нет такого, что не могло бы быть наоборот.

— Да, как всё в этом мире, — кивнул Соломон. — Запиши это. Не забудь... Ну что, пришло тебе что-нибудь в голову со вчерашнего вечера? А, Наум?

Наум, не отвечая, задумчиво глядел на кувшин с вином. Потом перевёл взгляд на окно, за которым, по продольной ветви большого дерева, шёл, вытянув несуразную голову и останавливаясь на каждом шагу, зеленовато-коричневый хамелеон.

— Наум! — повторил Соломон.

— Пришло, — сказал Наум. — Знаешь, владыка, если нет ничего нового под солнцем — а ты одобрил эту мысль, ты её сам, по существу, и высказал — то...

— Нет, — резко оборвал Соломон. — Это твоя мысль, проклятый забулдыга. Я с ней только согласился... Пей, не мучься!

— Хорошо, — согласился Наум, наливая с живостью. — Дело в том, что и в ненаступивших ещё временах не случится ничего, что не произошло бы когда-то, в утраченную и забытую пору. Адам, что ли, был первым из нас? Он был просто первым из названных.

— То есть как? — помолчав, почти шепотом спросил Соломон. — Что же, по-твоему, было до Адама?

— Ну, что? — насмешливо переспросил Наум.

— Хаос! — крикнул царь.

— А до хаоса? — вкрадчиво спросил Наум. — До?

— Не знаю, — опустив плечи под белой тонкой рубахой, сказал Соломон.

— Ну вот, — удовлетворённо сказал Наум. — Я тоже не знаю. Никто не знает. Но это не значит, что нельзя предполагать. Ты запретил предполагать?

— Нет, — сказал Соломон.

— Тогда, — продолжал Наум, — если нет, если всё уже было бесконечное число раз, как и в будущем бессчётно случится, — зачем же тогда цепляться руками и ногами за перекладины лестницы Времени? Мы слепо уверены в том, что то, чему случиться завтра утром, не может быть отнесено ко вчерашней ночи. Нет, нет и нет! Представить такое — значит, рехнуться и помешаться! Но ведь человек сходит с ума, когда заглядывает в лицо истине.

— Нет, — твёрдо сказал царь и рукою повёл сверху вниз, — этого нельзя. Прав ты или неправ — тут неважно. Возможно, и прав. Но от этой правоты не один ты сбесишься — все люди, весь мир. Порядок должен быть в мире, в том числе порядок расстановки событий: алеф, бет, гимел. Заглянуть, как ты говоришь, в лицо истине — значит разрушить миропорядок, и наступит хаос, как перед Адамом. Ты этого понять не можешь, потому что ты свободен.

— А ты? — вяло спросил Наум, как будто знал уже и ответ и спрашивал просто так, для продолжения разговора и приличия ради.

— Нет, — сказал Соломон, — не свободен. Моя вера дана мне, я её не искал. И представления мои, которые ты пытаешься испытывать, поворачиваешь их и так, и этак — принесены мне, как это вот вино на подносе. Но только такой безумец, как ты, снимет кувшин с подноса и поставит его на воздух.

— Тогда давай так, — неодобрительно покачав бородой, сказал Наум: — «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем».

— Так лучше, — сказал Соломон и, пройдясь по комнате, подошёл к окну. Хамелеон убрел куда-то, слился с листвой большого дерева, на его месте сидела теперь иссиня-чёрная птичка с кривым тонким клювом и глядела на царя дерзко, без страха, а продольная ветвь была покрыта солнечными пятнами. — Знаешь, Наум, во главе вещей, на верхней перекладине этой твоей лестницы Времени стоит царь, он ближе всего...

— ... к истине, к Богу, — живо продолжил Наум. — Но, может, Бог внизу? Как же тогда?

— Может быть, — согласно кивнул Соломон. — Но все думают, что Он наверху. И если вдруг, как бы это сказать, царь переместится нескользкими ступенями ниже, это вызовет всеобщую сумятицу и разброд, и миропорядок будет нарушен. Этого нельзя допустить даже в мыслях.

— «*Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твой не злословь богатого; потому что птица небесная может перенести слово твоё, и крылатая — пересказать речь твою*», — глядя в окно как бы сквозь царя и сквозь воздух, на который безумцу впору было бы поставить кувшин с вином, проговорил Наум.

— Хорошо, — соединив сведённые башенками пальцы рук, сказал Соломон. — Так надо, даже если ты этого не понимаешь. Но ты всё понимаешь, писатель. Наливай!

3.

Дина всегда была как бы в стороне, как бы не в поле зрения — для всех, кроме Яакова. А Яаков, гордясь двенадцатью сыновьями — да и собою тоже гордясь — Дину любил, и только. И Дина отвечала ему совершенней, восторженной взаимностью.

Место дочери-невесты было четко очерчено в большой семье, и Дина хорошо выучила, что сыновья — костяк рода и надежда отца, а она лишь с боку припёка, довесок, которому самим Богом суждено отщепиться и пристать к другой семье. Братья — весь красивый косяк, во главе с притихшим и призадумавшимся после того ужасного случая Реувеном — её братья вообще не обращали на неё никакого внимания, они занимались своими важными мужскими делами, — каждый своим, хозяйственным, и все вместе — семейными, довольно-таки запутанными и куда как не простыми. Расположившись вокруг вечернего костра, кто верхом на белых камнях, а кто вольно разлёгшись на сухой тёплой земле, братья вполголоса, чтоб не мешать отцу в его шатре (а на деле — чтоб до отрова шатра не долетали, на всякий случай, сыновние фразы и слова), обсуждали последние и предпоследние события и случаи, подсмеивались по привычке над неудачливым Реувеном и, не называя имени отца и хозяина Яакова, гадали о своём будущем, которое отец должен определить, и об этом будущем отцовском определении, окончательном и бесповоротном, но на которое можно, всё-таки, подействовать и повлиять, если взяться за дело сообща и с умом. Впрочем, «сообща» — это было больше для красного словца, для мирного поддержания беседы, а в душе каждый прикидывал собственные ходы и действия, отдельные от других. И никому из братьев и в голову бы не пришло пригласить, позвать в родной круг сестру Дину. Вот она и толклась, без понуканий помогая по хозяйству, среди рабынь и изложниц Яакова. Наложницы эти, числом две, родили Яакову четырёх сыновей, каждая по два, а Лея, жена, родила шестерых и дочку Дину, а милая Рахель одного родила. И это было хорошо, и это было дружно. И в боль-

шої сем'є не приято було вспомінать об архаичном, диком поступку прадедушки Авраама, прогнавшого, по настоюнию праbabки Сарри, в пустыню ни в чём неповинну наложницу Агарь с сыночком Ишмазлем. А если уж заходил об этом разговор, то собеседники никогда не говорили о прадедушке «выгнал Агарь», а только «отпустил от себя»: так получалось благопристойней.

Так, дичком-бочком, росла Дина в шатрах Яакова, и доросла до пятнадцати лет без малого. И тут встретился городок Шхем на пути семьи.

Они и раньше тут останавливались, и не раз, и разбивали свои шатры: продать смиренным оседлым горожанам излишки скота, обменять охотничью убийну на муку, а шкуры — на густое оливковое масло в глиняных горшках. Шхем был городок как городок, ничем не отличался от других на зелёном шомронском нагорье.

Вежливая традиция, равнозначная закону, требовала от кочевых пришлецов с их степным рилем не лезть с налёту в торговые ряды, а испросить у городского царька разрешение разбить бивак у обвалившейся невесте когда крепостной глинобитной стены. Собственно говоря, и Яаков был царьком ничуть не хуже шхемского и мог позволить себе войти в городок без всяких там ветхих и отчасти даже оскорбительных церемоний — но он упрямо держался традиций, нарушение которых, по его разумению, прямиком вело к войне и всяческим безобразиям. Его сыновья, крепко стоящие, не всегда разделяли точку зрения отца, и склонность главы семьи к деликатным старинным правилам объясняли старческой прихотью. А дочь Дина не имела по этому поводу своего мнения.

Царёк оказался мильм молодым человеком, получившим бразды правления над народом и городом всего полгода назад из рук отца, мирно умершего от несварения желудка. Приняв обязательные подарки, не имевшие рыночной ценности, но зато исполненные дошедшим от древних дремучих времён наивным дружелюбием — горшочек козьего молока, шапку заячьего меха и серебряный перстенёк с изображением то ли птичьего пера, то ли детородного органа, — Сихем по-свойски обнял Яакова и усадил его на низкую скамеечку, неудобную для кочевого человека. Отставив хромую ногу, Яаков послушно сидел, выслушивая дежурные вопросы о здоровье, погоде и видах на овечий приплод. Отвечать в подробностях было скучно, и Яаков, жестикулируя с достоинством, рассказал Сихему историю о том, как он, Яаков, служа покойному Лавану, спаривал его овец над питьевой колодой с разбросанными по дну обрубками древесных веток — чёрными и белыми. В суете зачатья у овец рябило в глазах от этих обрубков в воде, и приплод получался пёстрым. О несомненной пользе, которую экспериментатор извлекал из опыта, Яаков умолчал, чтоб ненароком не произвести на хозяина неблагоприятное впечатление; если уж без вымарок рассказывать эту историю — то всю, с самого начала: и про Рахель, и про Лею, и про жулика Лавана, и тогда станет ясно, что он, Яаков, не обобрал тестя, а просто исправил несправ-

ведливость и получил причитавшееся ему. Рассказывать, однако, было почему-то лень, и Яаков ограничился лишь эпизодом. Слушая, Сихем хотел до слёз, утирал глаза рукавом и шлёпал себя с размаху по ляжкам. Он, как видно, слышал кое-что и о Лаване, и о его дочках, и даже об овцах над колодой — рассказы о приключениях Яакова, с деталями и подробностями, передавались из уст в уста по всему Шомрону. Поэтому смешливый Сихем не желал упустить возможности припасть, как говорится, к первоисточнику.

— Живи тут сколько хочешь, — отсмеявшись, сказал Сихем. — Ставь шатры и живи, пока тебе не надоест. А я вечерком загляну к тебе на огонёк — посидим, поболтаем... Жди!

Братья возвращения отца с официальным разрешением не ожидались, шатры были уже поставлены, скот пасся вокруг. Близость города с его кабаками и бардаками, с его сбитым в один большой гурт смирным народом распалила воображение вольных степных бродяг, зажигала кровь жарким рубиновым светом. Но как бы и заразной скверной веяло от каменных стойл горожан, не знающих открытого ночного неба над головой, трусливо вжимающих головы в плечи от рёва и рыка диких зверей за стеной поселения. Ловко сидящие на своих резных деревянных подставках, они вызывали у братьев снисходительные усмешки — но и многозначительные ухмылки.

Вернувшись, Яаков неодобрительно посмотрел на стоящие шатры и велел погодкам Шимону и Леви пригнать барана пожирней, но не слишком старого — чтоб вечерний гость остался доволен угощением и не обиделся на семя Авраамово. Велено было также распечатать бурдюк вина и перелить его содержимое в кувшины.

Сихем явился со свитой, с подарками. Братья задумчиво глядели, как в руки отца переходила диковинная городская одежда из тонкой, но прочной ткани, золотистое стеклянное блюдо с ручками в виде львиных хвостов, посох с тяжёлым серебряным навершием, пропитанное мёдом печение...

— Мой отец, покойный Аммор, — покончив с дареньем и усевшись на меховую подушку, сказал Сихем, — был о тебе, мой хитроумный господин, очень высокого мнения. Сейчас он смотрит на нас из Золотого Чертога и радуется... Все эти ребята приходятся тебе сыновьями?

Ребята стояли кучкой, переминаясь с ноги на ногу и шумно дыша, и разглядывали гостей и подарки. До третьей чары им, по неизвестно когда и кем выдуманным правилам, не полагалось приближаться вплотную к пиршественному вареву и принимать участие в беседе. Потом — да, но не сейчас.

— Все мои сыновья, — сказал Яаков и огладил ладонью широкую чёрную бороду, в дебрях которой белели отменные зубы.

— Счастливый царь... — сказал Сихем. — Их так много... Неужели Главный Детотворец ни разу не ошибся и не послал тебе девицу?

— Послал, — сказал Яаков. — Эй, Дина, ты где там прячешься? Дина подошла. Сихем долго глядел на неё, откинувшись на подушку.

— Пожалуй, не ошибся Главный Детотворец, — пробормотал Сихем. — Дина...

Братья шумно дышали. Им не нравилось, что отец выставил Дину на показ, не нравилось, как царёк её разглядывает нагло. Нельзя отдавать девушку царьку, сидящему под крышей, — но можно. Можно — но с оглядкой, с умом, с прибылью. Один только Иегуда, четвёртый, глядел безоблачно — он не находил ничего предосудительного в происходящем и искренне дивился только одному: что весёлый и щедрый Сихем нашёл в скучной Дине, как две капли воды похожей на овцу?

Наутро, отодрав тяжёлые после вчерашнего пира головы от бараньих подушек, братья обнаружили, что Дина исчезла.

— Позор на все наши поколения до окончания времён! — определил положение Леви, обычно молчаливый. — Это отец наш Яаков с его чёртовыми правилами разрешил проклятому гою увести сестрёнку. Мы должны сговориться между собой и отомстить, и разграбить городишко в возмещение ущерба, по справедливости. Это же страшный позор! — Закончив, он яростно выдрал из земли пук сухой травы и подбросил его в воздух.

— У них правило такое — воровать девушек, — возразил Иегуда. — В конце концов, у каждого свои правила. Это они только для вида воруют, а на самом деле по предварительной договорённости, и потом уже играют свадьбу честь по чести... И если отец так решил — пусть так и будет.

— Нет, нет и нет! — шепотом взревел Шимон, крепкий орех. — Несчастная сестричка! Какой-то необрязанный лапает её в каменной клетке. У-у-у и а-а-а!

— Ну, пусть обрежется, — миролюбиво заметил Иегуда.

— Да, пусть обрежется и тогда уже лапает, — жарко поддержал Леви.

— Пусть все они обрежутся, и тогда уже мы поглядим, — подумав, подвёл итог Шимон и поскреб затылок крепкими квадратными ногтями.

Переговоры были нелёгкими — всё, что имеет касательство к воспроизведению рода, играло особую, едва ли не главную роль в жизни нашего праобщества, начиная с первочеловеков Адама и Евы под их яблоней. Да и поныне, по прошествии сухих тысячелетий, эта тема сохранила первозданную нацеленность и заострённость. Так что если ветреный Сихем и готов был рискнуть здоровьем, чтобы породниться с Яаковом, то друзья и собутыльники влюбчивого царя, а тем паче смирные горожане были предложением братьев смущены, обескуражены и поставлены в тупик. Панический страх перед кровавой затеей Сихема, не желавшего слушать никаких возражений от своих подданных, сковал их волю и подавил сопротивление. Они с благодарностью готовы были лишиться пальца, а то и всей кисти, лишь бы крайняя плоть осталась неприкосновенна — но царская воля не оставляла места для подмены. Причитая и завывая, граж-

дане забились в свои жилища, с сердечным трепетом ожидая грозного стука в дверь — братья обходили дом за домом, в их руках посверкивали старинные кремнёвые ножички, орощенные обильной кровью.

Яаков не принимал участия в происходившем — он велел готовиться к свадьбе и пустил дело на самотёк. Затея братьев его не то чтоб расстроила и огорчила — но смущила его нежно-лукавую душу: Божью жертву следовало приносить по собственному сердечному разумению, а не в силу сложившихся обстоятельств.

К ночи работа была закончена, мужское население городка во главе со счастливым Сихемом страдало от болей и жара. А в полночь братья, вооружившись, вновь вошли в городскую черту и, повторно обойдя уже знакомые им дома, перебили мечами всех мужчин, не оказавших по болезни никакого сопротивления. Рыдающая Дина была оторвана от своего мёртвого жениха и возвращена в шатёр Яакова.

Узнав о случившемся, Яаков впал в ярость. Он ничего не крушил и не бил, он взял подаренный Сихемом посох с серебряным навершием и ушёл за шатры, поднялся на холм. Там он лег лбом на камни и лежал совершенно неподвижно четыре часа с четвертью, и только губы его время от времени шевелились, выпуская на свободу слова тревожные и горькие. Солнце подбиралось к зениту, серый в чёрную полосу бурнус Яакова шевелился от пролетающего над холмом горячего ветра, несущего с собою хлопья гари.

Испытывает меня господь Бог, думал и шептал Яаков, мысленно удаляя кулаками по острым камням холма, испытывает меня всю мою жизнь — и у Лавана, и у брода Яббок, и вот сейчас, здесь. А дети, мои сыновья, не знающие стари и в неокрепшей нови ищащие поэтому то, что давно уже было пройдено и почти забыто с Божией помощью — варварскую звериную хитрость, подлый обман в личине радостной надежды... И ведь знал я, безмозглый дурак, чуял, что не успокоятся погодки, не смирятся, а не запретил, промолчал, глядя в сторону, — и в этом тоже испытанье ужасное: знанье было, не было светлой Авраамовой силы... Вот погубили мои сыновья-разбойники ни в чём неповинных людей, и проклятье падёт на весь род, и неведомо никому, что теперь случится с народом Завета, не проросшим ещё толком из плодоносного Божьего зерна, — если только я не поднимусь с земли, не скажу, что надлежит сказать, и не сделаю, что надлежит сделать. А — что надлежит? Просвети меня, Бог, ведь и свет исходит из тебя, не в обиду солнцу будь сказано... Предать погодков смерти, которой они заслуживают — но ведь на этот раз ягнёнок из кустов может и не появиться, — и что тогда будет? Я не Авраам, нет у меня дедовой силы, и нет её ни у кого из нашего поколения. Подымется моя рука зарезать погодков — но не опустится, и останусь я стоять с ножом у камня, и дети мои будут смеяться надо мной. Такое испытанье не по плечу мне, Единственный. Вот и Реувена, непотребного первенца, осквернившего моё ложе с наложницей моей, не казнил я, а лишил права

первородства, но любви моей не лишил. Погодкам, конечно, не видать теперь первородства как своих ушей — но кто остаётся в очереди? Четвёртый, Иегуда? Он славный мальчик, он возражал против этой резни, я знаю — но откуда возьмёт он силы незаметно направлять движение рода и улавливать Твой голос средь шума жизни? Я и сам улавливаю его с трудом, а сегодня, когда он так мне нужен, не слышу вовсе... Несчастный Сихем, бедная Дина. Надо встать и идти, и снимать шатры, и объявить решение погодкам, и отправить их от себя, с глаз долой, до конца осени. Спасибо, Непредсказуемый, за твоё молчание — оно исполнено великого смысла. Спасибо.

Погодки и не думали виниться, они насупленно молчали, стоя перед отцом и уставив лбы в землю. Их братья, единоутробные и единокровные, независимо слонялись вокруг шатра, делая вид, что им нет ни до чего дела. Только Иегуда, сидя на камне, покусывал травинку, вздыхал и покачивал головой. Награбленное в городке, небрежно сваленное в кучу, лежало меж трёмя дубами, а мелкий скот и ослы, взятые от горожан, паслись в сторонке, сбитые в гурт.

Наконец, погодки вышли из отцовского шатра — впереди Шимон, за ним Леви. Не глядя по сторонам, гуськом прошли они мимо братьев, и те пошагали за ними следом в сторону гурта. Жгло солнце, полуденный мир был тих и вял. Птицы и полевые звери попрятались от зноя, а люди клевали носом, каждый на своём месте.

— Отец совсем спятил, — пожав крепкими плечами, сказал Леви. — Мы его сыновья, мы должны его остановить.

— Что он придумал? — спросил Дан, сын Билы, пятый. — В конце концов, мы поступили справедливо и мудро, каждый нормальный человек так скажет.

— Отец всех нас хочет лишить наследства, — быстро сказал Шимон. — Всех. Оставить нас без штанов. Голышом. И завещать первородство и имущество ещё нерожденному.

Это известие потрясло братьев, как молния посреди ясного неба.

— Но, кажется, никто не в положении... — пробормотал Реувен, первенец.

— Да уж кому знать, как не тебе! — гоготнул Ашер, восьмой, сын Зилпы. На него зашикали — не до шуток было сейчас и не до смеха.

— Это чтоб мы подчинились ещё нерожденному? — тутодумно морща лоб, спросил Нафтали, шестой, сын Билы. — Чтобы всё пошло наоборот и шиворот-навыворот? А зачем?

— Вот мы и говорим — зачем? — оба враз сказали Шимон и Леви. А потом, перебивая друг друга, добавили: — Мы должны его остановить, иначе всем нам крышка, и народу тоже.

— Но ведь это — заговор и бунт, — немного помолчав, сказал Иегуда, четвёртый, сын Леи. — Я не могу...

— Тогда уходи от нас, — сказали Шимон и Леви, — не может он, видите ли... Или нет, лучше мы связем тебя и привяжем к дереву, чтоб ты не наядничал отцу и не предал нас.

Так и сделали, и кто из братьев вязал с охотой, кто со страхом, а кто и сомневался.

— Я сомневаюсь, — сказал Реувен, затягивая узлы на запястьях брата. — Кажется, мы поступаем с Иегудой не совсем хорошо.

— Сомневаться не запрещено, — усмехнулся Шимон. — Отец не велит нам убивать, не велит красть, ну, ещё там кой-чего... Сомневаться можно. Так что сомневайся!

Связав и привязав Иегуду, сели совещаться.

— Наш брат как бы не с нами, — задумчиво глядя на связанного, сказал Леви, — но в то же время как бы и с нами. И это очень хорошо.

Советовались о том, что делать с Яаковом. Проще всего, решили, оставить отца в его шатре и, плача и рыда, со всеми почестями объявить всему свету: не осилив позора, свалившегося на его голову в связи с проключившимся с Диною, мудрый Яаков помешался умом и сердцем и — горе всем нам, горе и несчастье! — начисто утратил реальную связь с суровыми жизненными обстоятельствами. Драгоценное его здоровье в один миг оказалось катастрофически подорванным, он не в состоянии далее управлять делами семьи и рода. В соответствии с золотой и серебряной традицией бразды правления переходят в руки Шимона и заместителя его Леви — поскольку Реувен, первенец, был лишён права первородства за сомнительное поведение.

Однако этот параграф никак не устроил Реувена. Ворча, поднялся он с пенька и обошёл круг братьев.

— Всё теперь меняется! — ударив себя в грудь кулаком, сказал Реувен. — Всё, что было — не в счёт. Мало ли чего он меня лишил! Может, уже и тогда отец был немного не в себе.

— В себе, в себе! — закричали погодки. — Ещё как был в себе! Стыд и позор!

— Если вы будете настаивать на своём, — сказал Реувен, зорко глядя, — я задушу вас собственными руками.

Тогда решили повременить с вынесением окончательного решения и составить Временный совет, включающий в себя всех братьев на равных правах. И все братья, не глядя друг на друга, думали о том, что существуют другие, куда более радикальные средства, чем объявление отца сумашедшим, — и никто из них не открыл рта и не произнёс по этому поводу ни звука.

Ход неверного времени стёр кое-какие живописные детали той давней, казалось бы, истории, и сегодня никто уже достоверно не скажет, сам ли Иегуда распутал узлы, помог ли ему, в душевном смятении, кто-то из братьев, или осёл, подойдя, перетёр зубами верёвку, или шакал полевой перегрыз — чудесным образом. Так или иначе, Иегуда освободился от

пут и, петляя и прячась, бегом бросился к отцу. Яаков, хорошо разбиравшийся в человеческой натуре, расстроился сердцем сообщению Иегуды, но разумом не удивился ничуть. Собрав слуг и рабов, он переловил и перехватал сыновей своих поодиночке и, действуя терпеливым уговором, разъяснил им, горестно вздыхая, что всё происшедшее и ёщё непроисшедшее надо как можно скорее выкинуть из головы и забыть, и так будет лучше для всех. Наказывать или награждать кого-либо из братьев он не пожелал, чтоб не возносить одних перед другими и не сеять зависти, которая раньше или позже взойдёт враждой. Братья, в крепких лапах рабов, встретили приговор отца с некоторым даже облегчением: бунт был благополучно подавлен, можно было заняться обычными делами, не требующими необыкновенного напряжения сил и умственной энергии. К этой теме в роду Яакова не возвращались больше никогда.

4.

Бруствер был сложен из массивных блоков желтоватого камня, блоки вырублены из скалы, венчавшей гору, на которой теперь крепость. Скалу срезали, площадку разровняли и построили на ней укрепления и дворец. Если глядеть на Восток, внизу видна синяя плошка Моря с плавающими островками соли, за Морем — розовые в свете раннего солнца Моавитские горы. А Запад весь засыпан горами наподобие этой, на которой крепость.

Хромой Гиора опёрся грудью о бруствер и глядел вниз, ветер шевелил кустики волос на его кудлатой рыжей голове. Низко пролетали стрелы, по-земному свистя, а снаряды шли выше и падали с тупым стуком на дымящиеся развалины. Было бы куда безопасней и разумней выглядывать в узкую бойницу, но Гиора не искал безопасности, а ждал смерти, ждал терпеливо и устало, как ждут конца надоевшего труда. Войди сейчас шальная стрела в его глотку или глаз — и не придется ему через час или даже раньше делать то, что предстояло ему сделать... Не изменяя позы, он провёл ладонью по рукоятке короткого меча, висевшего на поясе, и снова уставился, щурясь от солнца, на кучу людей, молча рубившихся на дороге. Дорога шла по гребню насыпи и вела к крепости.

Насыпь была уродлива и неестественна, как трёхногий ребёнок. Господь Бог, сотворивший всё вокруг, расставил горы отдельно друг от друга и никакой насыпи не насыпал. Это римляне пришли сюда и стали таскать землю и строить насыпь, чтобы подобраться к крепости на отвесной горе. Римляне, значит, вступили в спор с Богом, а Бог почему-то не сдул их в пропасть, не сжёг и не испепелил. Они, наоборот, довели свою работу до конца и вот сейчас ворвутся в крепость Масаду. Они, выходит дело, действовали либо с Божьего одобрения, либо, что ёщё хуже, вопреки Его воле — и преуспели... Так или иначе, людям, уцелевшим на вершине горы, придется умереть — мужчинам, женщинам и детям. Чем стать позорными

рабами, так лучше умереть свободными и на свободе — так решено, и так будет. Мужчины погибнут там, на дороге, от римских копий и мечей, а горстка женщин и детей, запертых в синагоге, чтоб не разбежались и не опозорили народа, уйдут наверняка в иной мир от доброй руки своего же еврея. Римлян не ждет здесь добыча, они ничего не найдут на вершине горы — ни золота, ни рабов, ни хлеба.

Над насыпью, над толпой топчущихся на узкой дороге бойцов стояла пыль, слышны были вскрики дерущихся и лязг встречающихся клинов. Толпа медленно подступала к крепостной стене, оставляя за собой мёртвые тела и корчащихся раненых. До стены оставалось совсем немного, и некому было обороńять эту стену: все, способные двигаться и размахивать мечом, вышли перед рассветом навстречу римлянам, а раненых закололи ещё вчера перед заходом солнца, чтоб не достались врагу. В крепости остался один хромой Гиора да женщины с детьми.

Над крепостью висел, распластав коричневые крылья, крупный коршун. Приставив ладонь дощечкой ко лбу, Гиора долго глядел на неподвижную птицу, дожидаясь, когда она шевельнёт своими крыльями и переместится в другое место неба, а потом, не дождавшись и не наклоняя головы, потянулся к луку, прислонённому к брустверу. Длинная стрела легла выщербленным донцем на тетиву, Гиора плавно и сильно развел руки и натянул лук до отказа. Он загадал (а знал ещё как, что нельзя загадывать, что запрещено): попадёт в коршуна — и Бог рассеет римлян, как рассеял когда-то египтян, гнавшихся за Моисеем. Гиора целился, лоб его стал мокр, вокруг возникла гулкая тишина, в сердцевине которой, как в прозрачной узкой трубе, притиснутые к её забитым концам, помешались двое: человек на земле и птица в небе.

Надо сказать, что стрельба из лука не была высшим достижением хромого Гиоры. В сырьёмятном деле он куда лучше преуспел, выделанные им кожи ценились и славились. Корявые лапы кожемяки, налитые красной горячей силой, являлись предметом тайной гордости Гиоры; натягивая лук, он с уважением взглянул на гири своих кулаков. Согнутая под углом тетива коснулась подбородка, и стрела ушла вверх, ввысь.

А коршун остался на своём месте.

Ну вот, подумал Гиора. Ну вот... Ещё немного, и всё будет кончено — и римляне, и евреи, и птица в небе, да и само небо с землёю тоже. А эти женщины с детьми, в синагоге — они, может, не хотят, чтоб для них всё кончилось, они хотят жить дальше, хоть рабами, хоть как. Они должны умереть, потому что мы, мужчины, любим свою свободу, которая сейчас называется родина, отчизна. Ради этой любви, о которой столько сказано-пересказано, мы умрём, — а также потому, что, если мы не умрём сами, римляне распнут нас на крестах вдоль этой их проклятой насыпной дороги. Но, всё же, главное — не опозориться перед Богом, который тоже родина и отчизна, не согнуть по-воловьи шею перед римлянами.

Глядя на дорогу, на евреев и римлян, убивающих друг друга в облаке золотистой пыли, он видел перед собой онемевшую от страха кучку людей в синагоге, и как он отирает засов.

Его собственный скорый конец не пугал его, как будто он уже прошёл это и умер. Это было дело решенное, и ничего нельзя было ни передумать, ни изменить. Неприятно было вспоминать о том, что хорошо бы ещё пожить на белом свете, — и он и не вспоминал. Но то, что было ему поручено сделать в синагоге и что он принял с мрачной решимостью, — теперь это вызывало в нём сомнения и смущенье души. Когда решали и поручали, покрытые свежей и старой кровью, шрамами и ожогами, дырками и рубцами товарищи толклись кругом, — и предстоящее казалось геройским делом, которое предстояло совершить во имя родины и свободы. Теперь, совершенно одному, у бруствера, под солнцем и этим коршуном, всё представлялось иначе: геройством и не пахло, и тяжко мгела правая рука, которой предстояло взять меч.

А может, выпустить?

Эта мысль пришла незаметно, вошла в мозг без стука: отпереть засовы и выпустить. Пусть бегут и спасаются как могут — успеют ещё умереть, когда придёт Божий срок. Там, кстати или некстати, и сестрина дочь, красивая девушка, — жаль, выходит дело, что Господь наградил её красотой, а не уродством, и придется ей, если уцелеет, отрабатывать жизнь в римском бардаке, а так, может, жила бы при чых-нибудь кухонных горшках. Да ведь и мать, мать могла оказаться среди запертых, если б не умерла на Суккот от кровавого кашля. А если б оказалась — что тогда следовало бы делать Гиоре, сыну? Или поручили бы другому? Вряд ли: у каждого есть там кто-нибудь, в синагоге, да и среди оставшихся в живых мужчин один Гиора — калека, неспособный теперь ни на что, кроме как на порученное ему.

Так что — выпустить? Выпустить и умереть, и пусть судит Бог. А другие судьи — вон, на дороге, и скоро им нечего будет сказать.

Толпа бывшихся, действительно, приближалась к стене: шаг, ещё шаг, ещё полшага. Множество вооружённых людей не уместилось бы на этом гребне, и большая часть римлян, их лошади и их рабы помещались внизу, в квадрате военного лагеря. Праздно толкаясь там, люди глазели на медленно продвигающуюся вверх по насыпи группу. Некоторые размахивали руками, обсуждая, по-видимому, происходящее на дороге. Никто внизу не собирался на подмогу своим бойцам, теснящим евреев к стене, и Гиоре обидно было глядеть на это сытое спокойствие римлян.

Тощая собака с выгоревшей на одном боку шерстью подбежала к хромому Гиоре и уселась в шаге от него. Надо бы и её заколоть, подумал Гиора, всё живое надо бы тут уничтожить. А коршун, как же коршун? Гиора взглянул вверх, горячее небо лежало над ним, а птицы не было на её мести. Собака, вытянув шею, тихонько завыла. Из узелка, подвешенного к поясу, Гиора достал лепёшку и очищенную красную луковицу и, разло-

мив хлеб надвое, бросил половину собаке. Глядя, как собака жадно глотает, он отвёл было руку, чтобы бросить и вторую половину — но передумал и, поднеся лепёшку ко рту, откусил кусок. Хлеб был сухой, крошился во рту, и Гиора, помедлив, надкусил сочную луковицу, как яблоко, и заевал с удовольствием. Собака глядела укоризненно.

— Что, вкусно? — спросил Гиора. — На вот ещё... — Он хотел добавить «чтоб зря не пропало», но только крепко свёл губы, бросил собаке остатки лепёшки и тяжело махнул рукой.

Римляне вплотную подобрались к стене, первые из них рубились в самом проломе.

— Ну, пошли, — сказал Гиора собаке и, придерживая меч, похромал через площадь.

Из тёмной синагоги на него пахнуло ужасом и прохладой.

— Это я... — зачем-то сказал Гиора.

Люди нервно толпились в углу комнаты, их там было человек десять или немногим больше.

— Сейчас, сейчас... — пробормотал Гиора. — Идите... Ну!

Люди в углу были неподвижны, как груда камней.

— Ну! — крикнул Гиора. — Вон!

Уже слышны были свежие голоса победителей.

Женщина, таша за руку ребёнка, шагнула мимо Гиоры к выходу — и вдруг застыла на полдороги: скрипнула, отворяясь, дверь.

Гиора не обернулся на скрип: значит, поздно, значит, так захотел Бог. И если римляне не нашли Его дом пустым, они увидят его мёртвым.

Коротко отведя назад руку с мечом и опираясь на здоровую ногу, Гиора с силой вогнал клинок в грудь женщины. Потом неловко прыгнул в угол, меч в его сильной руке был поднят в замахе.

Со скрипом затворилась дверь, пропустив собаку.

Гиора, работающий мечом, ничего не услышал и не увидел.

Когда всё было кончено, Гиора подошёл к стене, упёр влажную от пота рукоять меча в зазор между камнями перед собой, остриё приставил к груди слева под соском между ребрами и резко подался вперёд всем своим тяжёлым телом ремесленника.

Гелий Аронов

ФУТБОЛ В ИЮНЕ

Площадку покрывала теплая пыль. Слой был толстый, ступня почти тонула в нем, и легкие, щекотные фонтанчики прорывались между пальцами. Ходить по ней было приятно, но, когда начиналась игра, над нами повисало облако такой густоты, что даже солнце на безоблачном небе казалось тусклым и расплывчатым.

Площадка была приличная — метров сорок в длину. С одной стороны ее ограничивал забор, за которым стоял, а вернее — лежал разрушенный дом, а по бокам тянулись два невысоких земляных вала, образовавшихся, когда это место расчищали солдаты.

Если играли на одни ворота, то ставили их у забора, и мяч почти никогда не вылетал на улицу, разве что вратарь выбивал его слишком сильно.

За первую сборную класса на воротах стоял Севка. У него были старые кожаные перчатки — предмет зависти вратарей всех классов, и играл он здорово. Мне — второму вратарю — никогда не светило стать первым. Сейчас я стоял на воротах только потому, что Севка уехал в деревню, оставил мне свою кепочку с пуговкой на макушке. А перчатки увез с собой. Он просто не мог расстаться с ними. Ему и так не хотелось уезжать в эту дурацкую деревню, где о футболе и слыхом не слыхали. Да еще и сейчас, когда у нас появился настоящий футбольный мяч.

Мы мечтали о нем целый год, гоняя в школьном дворе и на нашей площадке тряпичные шары и консервные банки из-под американской тушенки. Он нам снился, тугой и ровный, с крепкими швами и шнурковкой. Мы охотились за ним на стадионе «Динамо», когда смотрели матчи в безумной надежде, что кто-нибудь из футболистов засветит такую «свечу», что мяч улетит за трибуны, прямо на горку, где мы сидели, и станет нашей добычей.

— У них мячей знаешь сколько? — говорил Генка. — Видал, они на разминке сразу одиннадцать штук катают.

— А может, попросить? Подойти к Скрипке или Пономарю и попросить?

— Так они тебе и дадут... Да и милиция не подпустит.

Сначала мы достали камеру. Генка выменял ее на немецкую авторучку у одной девчонки из нашего двора. Мы пробовали обшить ее тряпичными полосами, похитив для этой цели подстилку у дверей 48-й квартиры. Но мяч получался тяжелый и все равно кривой. Тряпки постоянно расплзались, и камера могла лопнуть в любой момент. Пришлось опять вернуться к консервным банкам.

Май был на исходе, и занятия в школе уже кончались, когда Севка принес весть о покрышке. Он подторговывал газетами на базаре и все но-

вости узнавал первым. Мы с Генкой готовились к экзаменам, вернее, рассматривали Генкины марки, когда Севка ворвался к нам и сообщил, что в будке у чистильщика продаётся настоящая, не кирзовая, а кожаная покрышка. И стоит всего тридцать рублей. Сгоряча эта сумма показалась нам мизерной. Пока мы бежали к базару, мы уже видели мяч своим, уже ощущали его упругость, и запах свежей кожи уже щекотал нам ноздри.

Базарная площадь бурлила и колыхалась, ее волны захлестывали прилегающие улицы и тонкими ручейками вливались во дворы и подворотни. Будка чистильщика, как островок, со всех сторон омывалась людскими потоками. Чистильщик сидел на невысокой скамеечке и курил трубку. Несмотря на жару, он был в каракулевой папахе и косоворотке, застегнутой на все пуговицы. Он был плотен, черен и усат. Усы и широкие брови занимали почти все лицо и, когда он с прищуром поглядывал на собеседника, казалось, что он смотрит из-под усов.

Покрышка висела на шнурке над головой чистильщика, рядом с соломенными стельками и сапожными щетками. Она была сшита из разных кусков кожи и казалась пестрой: один лоскут темно-коричневый, а второй — очень гладкий и почти зеленый... Наверное, его вырезали из дамской сумки.

— Можно посмотреть? — спросил Генка и протянул руку к покрышке.

— Заплати, тогда смотри, — неторопливо вынимая трубку, ответил чистильщик, и Гена убрал руку.

— А сколько? — спросил я.

Щелочки из-под усов внимательно посмотрели на нас. Чистильщик глубоко затянулся и выпустил облако синего дыма.

— Тридцать пять, — сказал он, и усы опустились.

— Как?! — заорал Севка. — Час же тому назад было тридцать!

— Что же не купил тогда? — спокойно спросил чистильщик.

— Я за деньгами ходил, — соврал Севка и похлопал себя по карману, где лежало два рубля и мелочь, вырученные за газеты. — Вы до завтра только никому не продавайте, мы точно купим, вот увидите.

Чистильщик неопределенно кивнул головой. Было ясно, что он прощаст покрышку первому, кто заплатит наличными.

Мы пошли домой, считая по дороге, по сколько нужно собрать и с кого можно взять. В классе у нас было 40 человек, но человек 10 футболом не интересовалось, еще десяток отпадал, потому что играть они не умели и допустить их к настоящему мячу было нельзя. Оставалось 20, но из них шесть были круглыми сиротами и жили только с бабушками. Взять с них нельзя было ничего. У восьми, и у меня в том числе, не было отцов. Еще неизвестно, сколько удастся собрать с них. Значит, оставалось только шесть надежных человек. У Севки имелись свои газетные сбережения, и он обещал дать пять рублей. Генка надеялся выпросить у отца не меньше. У Юры Пастухова и Олега Жменько тоже можно было рассчитывать по-

лучить рубля по три. Деньги предстояло собрать сегодня, чтобы завтра к открытию будки быть уже на месте.

Мы распределили ребят и пошли по квартирам. Мне достались Миша Гольдштейн, Слава Михеев и Олег Жменько. Я начал с Миши, хоть у него тоже не было отца. Он жил рядом со школой в старом двухэтажном доме, который все называли «клоповником». В четырех его квартирах обитало человек сто — в среднем по восемь на комнату.

Мишкина комната на втором этаже стала жилым помещением только после войны, не утратив однако своего чуланного вида. Вход в нее почти полностью закрывали какие-то узлы и ящики, и дверь открывалась лишь наполовину. Как раз накануне Мишка сказал, что мама уезжает на неделю и оставляет ему хлебную карточку и десять рублей. Из этой огромной суммы он, конечно, мог выделить долю.

Мишка был огненно рыж и играл в нападении. Он носил немецкие солдатские ботинки, подкованные гвоздями с выступающими массивными шляпками, и его приближение слышно было за целый километр. От этих ботинок у меня до сих пор на левой голени вмятина. Мы ему запретили тогда появляться на площадке в этих бутсах, и с тех пор он играл в плетеных тапочках на веревочной подошве.

Мишка лежал на кровати и читал «Айвенго». Я сразу узнал книжку, хоть она была без переплета и корешка. Сообщение о покрышке он выслушал молча и сразу полез под клеенку, покрывавшую стол: там хранились деньги. Он дал мне синенькую пятирублевку. На ней была картинка: летчик в шлеме застыл возле остроносого самолета. Я сказал, что сдачу принесу потом, но Мишка только рукой махнул: «Какую еще сдачу? Пяти рублей мне с головой хватит».

У Жменько все были дома и мне никак не удавалось объяснить Олегу, что от него требуется. Его отец, здоровенный дядька в старой матросской форменке, в галифе и кирзовых сапогах, когда ему надоели олеговы «что?» да «почему?», положил мне на плечо свою огромную лапу и спросил напрямик: «Сколько с него причитается?»

Старший Жменько был шофером. Я начал что-то говорить ему про мяч, но он, уже не слушая меня, достал из кармана несколько смятых бумажек, в основном рублей, и, отыскав среди них зеленую трешку, вручил ее мне. «Лучше уроки учили бы!» — раздался из кухни голос тети Дуси, матери Олега, но я уже спускался по лестнице, засовывая в карман зеленую бумажку.

Славку Михеева я встретил на улице, и он обещал принести, сколько достанет, вечером. Позже он действительно принес два рубля и сказал, что может достать еще рубль, только завтра, когда вернется с ночной смены старший брат. Всего у меня набралось 12 рублей, считая и мои два. Я взял их сам на полке в шкафу. Там лежало 15, а до получки оставалось еще шесть дней, и я взял сначала три рубля, а потом положил один обратно. Мама знала, что я мог взять деньги только в крайнем случае, в таком,

как сейчас. Я уверен, что она и сама бы дала, может быть, даже три рубля, но она должна была вернуться с сурочного дежурства только утром.

Когда я пришел к Генке, Севка был уже там. У них набралось целых 20 рублей, даже больше, чем мы ожидали. Но все равно не хватало трех рублей и достать их больше было негде. Севка сказал, что знает одного проходимца с базара, у него можно достать пару рублей. Только потом он заставляет мыть для него бутылки, собранные на каких-то свалках. Севке, видно, очень не хотелось к нему идти, и я сказал, что не надо мусорщика, сами что-нибудь придумаем. Один раз я нашел в руинах 10 рублей. Может, и сейчас найдем?

Генка смотрел на вещи более реально. Он достал альбом и вынул из него три марки — зеленую, коричневую и фиолетовую. На всех трех был портрет Гитлера. Его усики выглядели особенно по-идиотски на зеленой, но разноцветные гитлеры считались редкостью, и один парень из шестого класса давно уже предлагал Генке два рубля за серию. К трем гитлерам Генка прибавил еще одну марку — «Парад победы на Красной площади». Она была негашеной и стоила по номиналу один рубль. Мы вышли на улицу и, договорившись встретиться завтра в восемь, разошлись.

Утром встретились у Севкиного дома. Пришел и Миша Гольдштейн. В школу решили не ходить: занятия уже практически окончились, и делать там было нечего. Когда мы пришли на базар, он бурлил уже на полную катушку, но будка чистильщика была еще закрыта. Прямо возле нее на земле спал некто в серых брюках и телогрейке, прикрыв лицо фуражкой с синим околышем. Чистильщик появился только через час. Носком узкого хромового сапога он постучал по спине спящего и подождал, пока тот подымется. Потом не торопясь открыл будку, поправил скамеечку, сел и закурил. Мы ждали. Он курил долго и задумчиво. Покрышки нигде не было видно.

Покурив, чистильщик открыл маленький чемоданчик, вынул оттуда баночки с кремом и бархатку. Мы ждали. Наконец, появилась покрышка.

— Ну, давай сорок рублей и забирай, — сказал чистильщик, как бы только что заметив нас.

— Какие сорок? — спросил Севка.

— Такие, что специально для вас оставил. Вчера один давал цену, а я не отдал. Договор дороже денег.

Было ясно, что он врет, но за 35 покрышки он не отдаст, это тоже было ясно. Мы стояли как пришибленные, и Генка держал в руках деньги — одну синенькую пятирублевку, одну зеленую троячку и много рублей. Покрышка повисла на шнурке рядом с соломенными стельками. Чистильщик набил трубку и опять закурил. На нас он больше не смотрел, как будто нас и вовсе не было.

Мишке дернулся за руку. Он, как все рыжие, легко краснел, а сейчас раскраснелся так, что все веснушки слились в одно сплошное пятно, и лицоказалось коричневым. Мишка никогда не врал, а если врал кто-ни-

будь другой, его охватывала такая ненависть, что он сам мог сгореть в ее огне.

— Он врет! — громко сказал Мишка. — Жорка, он врет! — повторил он еще раз и ткнул сжатым кулаком в сторону чистильщика. Севка и Генка повернулся к нам. Мишка разжал кулак и протянул им две скомканные бумажки: — Отдайте ему! — с ненавистью сказал Мишка. — Тут четыре, рубль я уже истратил.

— А как же?.. — начал Севка. Но Мишка только рукой махнул: — Кartoшка у меня есть, обойдусь.

— Ко мне можно, — сказал я.

— И ко мне, — подхватил Генка, уже вынимая деньги из мишкиной руки.

— За тридцать девять отдадите? — спросил Севка, подступая к чистильщику. Тот долго молчал, глядя на нас из-под усов, потом протянул руку и взял деньги, отложил пятерку и две тройочки и дважды пересчитал рубли.

— Дай две газеты, — сказал он Севке, и Севка вынул из пачки, взятой для продажи, два «Труда». Это тоже были деньги, так что усатый получил все сполна.

Мы пошли к Генке и надули мяч: Дули все по очереди, только, когда один дул, другой сжимал ему виски, чтоб «не лопнула жила». Конечно, без насоса надуть его так, чтобы расправились все швы, было трудно, но даже так он был тугим и ровным и глухо отзывался на удар. Мишка ударили по нему своим кованым ботинком, и забор задрожал, когда мяч попал в него.

А вечером мы взял насос у старшего Жменько, и тогда мяч представал перед нами во всем великолепии. Как здорово было брать его на голову, не то что консервную банку, от которой приходилось прятаться, когда она летела поверху.

Мы играли каждый день. На экзамены брали мяч с собой и потом сразу уходили на площадку. Я играл вратарем, если играли на двое ворот, или в поле, если на одни. А потом уехал Севка, и я стал в ворота на совсем.

Июнь в 46-м был раскаленный, как железная печка: ни облачка, ни дождя. В девять часов утра уже припекало, и прохлада не приходила, даже когда садилось солнце. Мы играли до одури, забыв обо всем на свете, и счет 28:25 был еще не самым большим.

В тот день я зашел за Генкой в половине девятого. На площадке нас уже дожидался Мишка. Минут через пятнадцать пришли Олег, Юрка, Славка Михеев и Лёнька Сероштан. Сначала побили по воротам, потом стали играть. Генка, Мишка и Славка сняли рубахи — это была их форма, а остальные бегали в майках.

Я не очень люблю, когда играют на одни ворота: как ни выбивай мяч, все равно он тут же возвращается, и все толкнутся у самого забора, издали

не бывают, а играют до «верного», и раз за разом нужно снимать мяч у кого-нибудь с ноги.

Первую штуку забил Мишка. Генка выбросил ему мяч, он обмотал Олега и ударил с ходу. Я прыгнул, но не достал. Мяч ударил изнутри по кирпичам, составлявшим штангу, и они повалились, а мяч отлетел к забору. Олег закричал: «Штанга! Штанга! Не считать!» Но гол все же засчитали. Потом забил Ленька, потом Генка, и пошло...

Было уже часов двенадцать и счет 13:8 в пользу голых, когда на площадке появился Румын. Это была такая кличка, по имени его вообще никто не знал. Ему было лет 25, и чем он занимался, тоже никто не знал. Время от времени он появлялся в нашем дворе, а иногда — возле школы и если не мог что-нибудь забрать у пацанов, то хотя бы пугал их. Ему нравилось, что его боялись. Однажды он забрал у Севки три рубля — выручку от газет, а у меня «Историю Древнего мира», хоть наверняка не знал, что с ней делать. Его появление не сулило ничего хорошего, и Генка сразу взял мяч в руки.

— Чего? — сказал Румын. — Давай играй, и я с вами поиграю. Где шарик потянули?

— Это наш мяч, — сказал Гена и неохотно выпустил его из рук. Конечно, лучше бы сразу рвануть с ним в наш двор, но Генке не хотелось показывать Румыну, что мы испугались.

Заиграли опять. Румын играл ни за голых, ни за одетых, а вроде сам за себя. Да и играть он не умел — только толкался и бил по ногам. Ребята запросто обводили его, а он хватал их за плечи, но все равно не мог попасть по мячу. Скоро ему это дело надоело, и он сказал, что хочет побить по воротам, бегать, мол, слишком жарко.

Он установил мяч метрах в семи от ворот, гораздо ближе, чем мы, когда были пенальти.

— Трех моих ударов еще никто не выдерживал, — сказал он и разбежался. Я изготовился и ждал. Очень уж не хотелось пропускать мяч от него.

Разогнавшись, Румын помчался к мячу и бабахнул по нему носком ботинка. Мяч полетел к краю забора, метров на десять в сторону от ворот.

— Если таких три, так точно никто не выдержит, — сказал Генка. Все засмеялись.

— А ты заткнись, — разозлился Румын. — Это я специально пустил мимо. Он опять установил мяч, но разбегаться особенно не стал, а ударил «щечкой» поточнее. Я прыгнул и взял. Мяч был не сильный.

— Два! — сказал Генка.

— Заткнись, — не глядя на него, сказал Румын и опять установил мяч. Ребята стояли вокруг серые от пыли и ждали. Мяч полетел прямо в меня, но очень высоко — я не достал его в прыжке, и он, ударившись о край забора, отлетел на площадку.

— Вот так бить надо, — сказал Румын.

— Ми такие не засчитываєм, — ответив Мишка, — високо очень.

— Не доросли еще, — сказал Румын. — И до мяча не доросли, — продолжил он, неожиданно распалившись. Он сам заводил себя, и мы понимали, чем это может кончиться.

— Дай я ударю, — сказал Генка, и Румын, поколебавшись, бросил ему мяч. Генка ударил с нашей обычной отметки, ударили снизу, и мяч, описав высокую дугу, перелетел через забор и запрыгал по развалинам. Такой удар не делал Генке чести, и мне показалось, что он ударил так специально.

— Достань, — сказал мне Генка и подмигнул. Я понял. Это означало: «Хватай мяч и рви через развалины на соседнюю улицу, а оттуда домой. Рви, потому что над мячом нависла угроза».

Я полез на забор, а потом побитым кирпичам добрался до мяча. Он лежал под согнутой железной балкой, и вся площадка просматривалась оттуда. Я видел ребят, застывших в ожидании, и Генку, возле которого стоял Румын, положив руку ему на плечо.

Я знал, как все будет дальше: я возьму мяч и рвану через развалины. Меня не догонят, мяч будет спасен. Но Румын схватит Генку и ударит его, ребята бросятся на защиту, и он будет их бить чем попало и куда попало. Лучше выбросить мяч на площадку и попытаться затянуть игру. Может, придет старший Жменько. Он иногда заходил за Олегом и шутя гонял с нами мяч. Я глянул на солнце. Оно уже перевалило за вершину. Если продержаться еще часа два, можно будет спасти мяч, не бегая позорно от Румына.

Я поднял мяч, размахнулся и швырнул его на площадку. Я видел, как Генка поймал его, как попытался сам, не надеясь больше ни на кого, рвануть с площадки. Видел, как Румын стал вырывать у него мяч. Ребята бросились к нему, а я к забору.

Пока я перелез, все уже было кончено: Генка лежал на земле, возле него стояли ребята, а Румын с мячом под мышкой уходил с площадки.

— Что ж ты? — сказал мне Генка, не поднимаясь с земли.

— Он бы тебе дал. Я не хотел, — ответил я. Ребята стояли молча и плевали пыльными плевками. Румын был уже у выхода на улицу.

— Маркитант! — крикнул ему вслед Мишка. Он хотел крикнуть «мародер», но от волнения перепутал слова. Румын оглянулся и погрозил кулаком, но не остановился. Он очень спешил.

— Я отцу расскажу, — сказал Олег. — Он ему ноги поворывает.

— Мяча уже все равно не будет, — ответил Генка и, встав, медленно пошел вслед за Румыном.

Румын шел в сторону базара. Мы двигались за ним. Он спустился на площадь и, проридаясь сквозь толпу, направился к будке чистильщика. Нам издали было видно, как он протянул мяч и что-то сказал тому. Мы смотрели издали, пока Румын не передал мяч чистильщику и не скрылся в

толпе. Мы подошли, когда усатый привязал мяч рядом с соломенными стельками.

— Это наш мяч, — сказал Генка. — Румын украл его у нас.

— А ты что, спал, да? — спросил чистильщик, продолжая привязывать шнурок.

— Так нечестно, — сказал Мишка, — мы же деньги вам заплатили.

— Заплатил — своё получил, — сказал усатый. — Зачем не берёт?

— Так нечестно, — повторил Мишка. Лицо его стало коричневым, и даже уши были коричневыми. — Румын — вор. Вы скупаете краденое.

— Сейчас милицию позову, — сказал чистильщик. — Сопляк ты еще оскорблять уважаемого человека!

— Хоть камеру отдайте, — сказал Олег.

— Я у тебя ее брал? — закричал усатый, обращаясь не к нам, а к зрителям, которые стали собираться у будки.

— Пошли, — сказал Генка и взял Мишку за руку. — Пошли, — кивнул он нам.

И мы ушли. У нас за спиной шумел базар, и асфальт плавился от жары. Было очень жарко в том июне 46-го года. И хотелось есть. Мы это сразу почувствовали.

Іцхак Мерас

ТАЄМНА ВЕЧЕРЯ

Ви коли-небудь куштували фломаймен-цімес? Якщо ні — не шкодуйте. А як ви вже чимало пожили на світі, то краще і не куштуйте — нічого особливого: картопля, чорнослив та жирна яловичина, і все це зарум'янене, темно-коричневе, може через те, що довго тушкувалося на вогні, а може, від слив, — нічого особливого, просто невимовно смачно — мама така готувала до війни, давно, коли була ще молодою, молодшою від мене, тому що тепер я старший за неї; давно, коли була, напевне, такою ж молодою, як ці дві сестри, що запросили нас на вечерю.

Вони жили в Тель-Авіві, на вулиці з дивною назвою, такою незвичною, що вона здавалася несправжньою, вигаданою, проте я знайшов її без клопоту: у той святковий вечір машин у дрімаючому місті було зовсім не-багато, і можна було на кожному розі спокійно зупинятися, без поспіху читати на освітлених жовтуватим світлом табличках назви вулиць і впевнюватися, що їдеш у потрібному напрямку.

А звали їх, цих сестер, одну — Шошана, а іншу — Шуламіт, хоча колись, після війни, може, навіть років через десять після війни, коли я був студентом, а вони, двоє дівчаток, пекли свої пиріжки у пісочниці просторого двору на вулиці Кастучію у Каунасі, одну з них, ту чорнявеньку крихітку, ми кликали Лілею, а іншу, білявеньку, — Лямою.

Ліля і тепер залишалася стрункою брюнеткою, а Ляма перетворилася на пишну молоду білокуру даму. Сестри теж сироти, хоча як сказати — адже вони вже були дорослими, коли померла їхня маті, а незабаром і батька підкосив рак, і їх поховали поряд одне з одним тут, на кладовищі у Кфар-Сабі, і пам'ятник поставили. Сестри й донині тужили за батьком і матір'ю, за батьком, може, навіть більше, бо, коли Ляму похвалили за розкішну та смачну вечерю, вона тихенько сказала:

— Так мене батько вчив: якщо щось робиш — роби як слід.

А Ліля спітала мене — пізніше, набагато пізніше, коли всі ми мовчки їли рублену печінку, і смак її знову нагадав мені їжу в батьківському домі, вона тихенько спітала:

— Звідки ти знов мого батька?

Але ж їй відомо, що наші батьки були друзями. Адже і її тітка, сестра батька, — вона сиділа разом з нами за тим же столом, — пам'ятає мене немовлям: мені було два роки, коли вона виїхала до Палестини.

Мабуть, це було занадто просто, занадто ясно і зовсім не те.

Бо це не Шошана, це Ліля задала мені питання.

Ліля — маленька дівчинка з вулиці Кастучію.

І я відповів:

— Ще з тих часів — ти не можеш знати, тебе тоді ще на світі не було — вони прорвали німецький фронт, я вибрався з підвальну і розглядався

довкола, знаючи, що можна більше не боятися, і мене скопив в оберемок чорнявий, як ти, військовий, йому мене показали, а він усе допитувався: хто-небудь лишився живий?.. ну хоч хто-небудь?.. може, все ж хтось лишився?.. а я відповів, що ні. Це і був твій батько. А тепер, коли я став каунаським студентом, я іноді заходжу до вас поїсти. Зрозуміла, дівчинко?

І несподівано подумалося — невже я і справді півжиття живу впрого-лодь? Під німцями, відразу після війни і довго ще після того, й донині?

Ніхто не нагадав мені, що ми не в Каунасі, і що я давно вже не студент. І погано, що не нагадали.

— Смачна маца цього року, — сказала Ляма.

І справді, маца була дуже смачною.

— У маленьких пакунках завжди маца смачна, — пояснила її тітка.

І був день святий: останній день єврейської Пасхи і перший день католицької — день Воскресіння.

Можливо тому, що була Пасха, не знаю; можливо, згадалися зображення страстей Господніх, бачені в костьолах, і спало на думку, що Хресні шляхи в Єрусалимі зовсім інакші, ніж у храмах, але, напевне, подумалося про страсний тиждень і про поневіряння людські, і я спітав у своєї сестри, яка також залишилась живою і сиділа тут, поряд, за цим спільним довгим столом. Я спітав:

— І чому нас тоді не гнали до кінця, навіщо повернули з півдороги до кар'єра?

— Німці звеліли на якийсь час залишити декількох дітей, аби не говорили: от, узяли і всіх одразу постріляли.

— Я думав, це ксьондз відпросив.

— Він просив за всіх, але не допросився. Стояв на горбочку і все осіяв хрестом здалеку, хотів охрестити, бо, казав він, якщо благословити невинно вбитого, він кров'ю хрещений буде.

— Я і думав, що це ксьондз...

— Міколас розповідав, а він же знав. Коли я була у Клімене, він теж жив там, ти хіба забув?

Я не забув.

Коли Дінікене, переодягнувши мене дівчинкою, щоб ніхто не візнав, приводила на вулицю Калну побачитися з сестрою, там іноді крутився похмурий тип на ім'я Міколас, той, що вбивав євреїв, але, казали, це вже проминуло, він більше не є загрозою. А я тоді і взагалі не думав про небезпеку, бо моя сестра — круголице дівчатко з палаючими чорними очима, тugo заплете ними довгими чорними косами, дочка Клімаса і служниця його дружини Клімене — спотикаючись, поспішаючи бігли принести з комірчини і хліба, і молока, і ковбаси або якого-небудь м'яса. І Клімене не дивилася у наш бік, теревенила собі з Дінікене, а Клімас, збираючись, як завжди, на рибалку, розбирав вудочки, розплутував ліски з кінського волосу, в'язав вузлики або перебирає жирних білих опарищів — він діставав їх з вигрібної ями й вимочував, доки вони ставали чисто білими —

Клімас, уже сильно напідпитку або ще тільки у блаженному очікуванні його, бо він завжди пив, він і помер від перепою — перебрав самогону, Клімас час від часу кидав на мене підбадьорливі погляди, і я їв, тому що завжди був голодний.

А коли був голодним, то згадував, як апетитно хрумтять на зубах зелені огірочки, розрізані вздовж навпіл і намазані медом.

Тоді я спітав у Ліби, ми завжди кликали її Лібале-любоно́йкою:

— Цікаво, чи живий ще ксьондз з Моляй, він завжди годував мене огірками з медом?

— А ти і в нього був? — спітала Лібале.

— Ні, до нього я вже після війни зрідка навідувався, коли бував поблизу. Вже після війни, час від часу.

— Живий ще, — сказала Лібале. — 93 йому стукнуло, а живий. Він тепер вівтарником у Жибуряй. Недалеко відійшов за довге своє життя — скільки від Моляй до Жибуряй?

— Дев'ять кілометрів.

— Дев'ять кілометрів від Моляй до Жибуряй.

Лібале сиділа навпроти мене, по той бік столу і теж була не така, якою мала бути. Я пам'ятав її по фотокартках дівчинкою з круглими щічками, у темно-коричневій гімназичній формі з білим мереживним комірцем, або жвавою студенткою у Вільнюсі, коли мені не було де переноочувати і вона покладала мене у свое ліжко з краю, а сама лягла до стінки, і в кімнаті, крім нас, ще три студентки лежали на своїх ліжках, бо це був студентський гуртожиток, і ніхто не сказав ні слова, але я, вже юнак, усю ніч не склепив очей, так мені було незручно, а Лібале тоді кликали Маріте.

Спочатку, колись до війни, в Жибуряй, вона була Ліба, Лібале. Згодом, у війну, її окрестили Маріте. Тепер її ім'я Елішева. Та я вибрав Лібале, хоча іноді називав її і Маріте.

— Скажіть мені, Елішева, як же ви знову стали єврейкою? — звертася до Маріте, вже не вперше повторюючи своє питання, тітка Лілі і Лями, яку раніше кликали Лялею, а тепер Авіталь, і якій я ніколи в житті недоброго слова не сказав і не скажу, бо, дивлячись на неї, завжди думаю, що ось такими, як вона, тепер були б мої батько і мати, дуже вже немолодими, висохлими і зморщеними.

I, бачачи, що Маріте не знаходить жодного такого слова, щоб пояснити, бо його немає, цього слова, я сказав:

— Жоден єврей, що не був хоч на мить католиком, ніколи цього не зрозуміє.

Так сказав я, хрещений Йонасом Алъгірдасом, названий Вікторасом — Алъгірдас Йонас Вікторас Дінікіс.

— Мовчи, гаден! — раптом чітко литовською сказала мені Ляля, чи то жартома, чи серйозно, напевне, все ж таки серйозно, та я нічого не відповів.

Я нічого не відповів, бо знов, що в її висохлих старечих жилах тепер тече не кров, а отрута, і в ній вона готова потопити усіх — не когось там, але всіх — за те, що нас розстрілювали, за те, що нас похрестили, за те, що ми вірили в Христа й колись молилися йому — гаряче, ревно, по-дитячо-му жалісливо.

А Лібале ще довго, дуже довго розповідала, як вона з Марітє знову стала за документами Лібою, як вийшла заміж за польського єврея, аби здобути можливість поїхати до Ізраїлю, як нажила з ним двох дітей, а його самого, п'яничку, вигнала геть, як сама-одна плекала обох дочок, як передала їм усю свою жіночу красу, а сама — хочеш не хочеш — зістарилася, і давно вже вона не вірить в Бога — і шкода, що не вірить, — хоча терпіти не може, якщо хтось непоштово згадує діву Марію або лає Христа.

— Але як ти могла... Як ти повірила... Як ти могла повірити у Христата?! — не заспокоювалася Ляля.

Авіталь не заспокоювалась, не могла заспокоїтися.

Вона була найстаршою за цим столом, довге життя зморшками зорало її обличчя, вона присвятила себе служінню нації, свою юність, сімейне щастя, пожертвувала всім своїм життям, створювала і будувала єврейську державу, захищаючи кожну п'ядь землі своїм тендітним тілом і життями своїх близьких: за цю землю наклали головами її брат, чоловік, зять, а вона все одно жила і творила, і співала пісні піонерів-халуцим, оті самі, що її зараз, коли ми сиділи за цим столом, транслювали по телебаченню, ті самі, що їх ми вже давно мусили б вивчити напам'ять — за п'ятнадцять-дводцять-дводцять п'ять років, проведених на єврейській землі, — бо вона всім пожертвувала, щоб побудувати дім для таких, як ми, і щоб ми були євреями, справжніми євреями.

— Під час останнього розстрілу, — наче виправдовуючись, розповідала Лібале, — нас день і ніч ховав у картопляному підвальні сусід Штернаса, але на околицях уже шукали євреїв, які заховались, і тоді прийшав на велосипеді секретар гімназії Стапонкус, пам'ятаєш?

— Пам'ятаю, — відповів я.

— Стапонкус і його друг — чернець, вони нас посадовили на велосипеди і повезли до Жибууряй, і везли через усе місто серед білого дня, і ми страшенно боялися, але той чернець нас заспокоював, сміючись говорив, що якщо Господь охороняє, то не тільки вночі, але й при денному свіtlі, і так він нас привіз до старого кладовища при костьолі, пам'ятаєш те кладовище?

— Пам'ятаю.

— Тоді вони сказали нам, мені й сестрі, що їм нема куди нас дівати, але є дві богобоязливі жінки на прізвище Раубайте, вони живуть у Падубісі і візьмуть нас до себе, якщо ми будемо похрещені, а нехрещених не візьмуть. А у тебе було інакше?

— Інакше, але чи важливо це?

— Ми перезирнулися й кивнули, що згодні, і нас тут-таки, в костьолі охрестили і відвезли до Падубісі, а там сестри Раубайте нас привітно прийняли у маленьку похилену хатинку з великою піччю, хатинка заповнена була Богом, і ще ксьондз із Моляй приїздив навчати нас, і подруга наших господинь Паушіте, така ж богомольна, і невдовзі все стало зрозумілим: у кого вірити, якщо майже весь світ вірить у Христа, тільки євреї не вірять, а їх уже всіх і перестріляли. Хіба не так?

— Так, — підтверджив я.

— Тому що в нас була єдина найближча істота — Христос, Бог і людина, єврей, розіг'ятій на хресті, з похиленою головою і пробитим стегном, до нього можна було доторкнутися, він був приступним і живим у коливанні жовтого світла свічок, йому одному можна було все розповісти, вилити душу, його можна було попрохати, і він завжди вислуховував тебе до кінця, не перериваючи і ні про що не питаючи.

Було.

Чи не тому Паушіте вже після війни, бачачи, як я борсаюся, сказала, як заповіла: якщо коли-небудь перестанеш вірити в Христа, будь краще безбожником, тільки не єреєм. Бо пройшов час, і я змінив своє литовське ім'я та прізвище на справжні.

— Паушіте минулого року померла, — сказала Лібале. — Я кликала її перебратися сюди, вона довго розмірковувала, а тоді вже було пізно.

— А Вайгаускаси? — спитав я.

— Теж померла, — відповіла Лібале.

Тепер уже я запитував.

— Пам'ятаєш, — питала, — підіймаєшся на ганочок, входиш до хати, а там — піч і довгий стіл. Звідки вони дізналися, що я єврейський хлопчик, — не знаю. Звідки взнали, що я голодний — теж не знаю. Я тоді корів пас у Суткене, так Вайгаускаси, бувало, казали: прижени худобу до нашого паркану та заходь поїсти. За цим столом одна із сестер Штернайте мені пошила чорну шапку, із гудзичком. Скільки євреїв через її руки пройшло?

— Багато, — відповіла Лібале.

— Боже мій, — зі стогоном промовила поруч зі мною жінка з таким знайомим, мілім овалом обличчя.

Напевне, лише вона за тим столом могла волати, адже тільки вона ніколи не міняла свого імені.

Мені сказали, що вона моя дружина.

Коли я потягнувся до пачки цигарок, вона лагідно притримала мою руку зі словами:

— Не треба...

Ні, ні, не слід курити, справді не слід, щоб не померти від раку, як батько Лілі і Лями.

Проте я не впізнав ту знайому жінку, бо хотілося, як у лісі під Жибурай, на пеньочку, втягнути димку, допоки не запаморочиться в голові.

Хіба я міг бути тоді одруженим? Хіба у мене, дитини, могла бути своя жінка?

Тут Ляма налила мені келих червоного вина, і я вже простягнув руку, та інша жінка, що також сиділа поруч зі мною, перехопила її зі словами:

— Краще не пий...

У неї було сиве коротко стрижене волосся. Мені сказали, що вона — моя сестра.

Я знат, що не треба пити, щоб не згоріти, не померти такою смертю, як Клімас.

Проте і цю жінку я не впізнав.

Вона не могла бути моєю сестрою, моя сестра була дванадцятирічним дівчатком зі старанно розчесаним чорним волоссям, туго заплетеним у довгі коси.

А я був напівроздягненим голодним і босим хлопчиком.

І відчув на своїх слабких похилених плечах тягар усього, що було, і усього, що буде, і не в змозі був підняти цю ношу, так нелюдськи тиснула вона, що вже краще б мені не вертатися з півдороги до кар'єру, а пройти її до кінця, та вже того шляху не було, і тоді я відчув сильний удар у груди, в те саме місце, що й Христос, і повалився на стіл із паскальними найдками.

Тільки після своєї клінічної смерті я дізвався, що, падаючи, перекинув недопитий келих, і пролилося червоне вино, і всі, скам'янівши, дивились, як тече моя кров.

Я був розпластаний на високому ложі в тель-авівській лікарні, лікарі намагалися повернути мене до життя — і не знали, чи оживу.

А я тоді теж не знав, чи воскресну з мертвих.

Якщо воскресну, скажуть, що не можна так багато їсти на ніч, хоча б і смачно, хоча і голодний, але такої важкої їжі, як фломен-щімес, людині моого віку взагалі не слід вживати.

Вони так і не дізнаються, що я помер, коли мені було ледве вісім років.

Переклад С.Шегель і О.Зубаревої.

Леонид Пекаровский

БРАСЛЕТ

Софье Данишевской

Что бы вы сделали, если бы нашли старинный золотой браслет, усеянный бриллиантами, со встроенным швейцарским золотыми же часиками? Ах, вы не знаете! Вот и я не знаю. Вернее, и вы, и я знаем. Но Софа, найдя такой браслет, отнесла его в полицию.

Софа — моя давняя знакомая, приехала в Израиль из Вильно более пятидесяти лет назад на исходе третьей волны алии. Из какого материала были скроены люди, подобные Софе и ее подруге — Красной Розе, матери Ицхака Рабина, предстоит еще выяснить. В аскетических чертах лица Софы, в складках кожи витает подлинный дух свободы, о котором галутный еврей и помечтать не может. Как и об открытом и независимом взгляде выцветших от времени некогда ослепительных голубых глаз, напоенных вольными ветрами Средиземного моря. И уж конечно — о царственном достоинстве и гипертрофированном до болезненности понятии о чести.

О случае с браслетом Софа рассказывает несколько подзабытым и потому чересчур «правильным» русским языком, иногда подыскивая нужные слова:

— Я пришла на холонское кладбище. Там похоронены мои муж и дочь. Вначале поставила цветы на могилу дочери, а потом пошла к мужу. Очистила от песка надгробие, налила в мраморную вазу воды и тоже поставила цветы. Уже собиралась уходить. И вдруг рядом с памятником что-то сверкнуло на солнце. Я наклонилась — и подумать только! — увидала тяжелый старинный браслет из золота, инкрустированный большими бриллиантами. В него были вмонтированы золотые часики, также обрамленные по окружности бриллиантами поменьше. Б-же, я сроду не держала в руках такой дорогой вещи.. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Вернувшись домой, я тут же отнесла браслет в полицейский участок, который находится недалеко от моего дома на улице Дизенгоф. Полицейский взял браслет, все аккуратно записал и сказал, что если в течение трех месяцев не найдется хозяин, то меня вызовут. Я вышла из участка и подумала: «Г-ди, пусть отыщется этот самый хозяин! Потерять такую драгоценность — большая трагедия для человека». А потом и вовсе забыла о браслете. Но через три месяца мне позвонили из полиции. Оказалось, что владелец браслета так и не отыскался. Я пошла в полицию. В кабинете у офицера сидел раввин (видимо, в полиции есть информаторы). Он сказал мне, что найденный браслет принадлежит похоронной компании, как и все, что связано со смертью. Поэтому я должна подписать документ, что отказываюсь от браслета в пользу «Хевра кадиша». Слова наглеца меня

просто поразили. Вот уж нет, голубчик, ничего ты не получишь. Этого я ему не сказала, а только подумала про себя...

Далее события развивались стремительно. Раввины, малость одурев от сжигающей их страсти завладеть драгоценным браслетом, подали иск в Тель-Авивский мировой суд. Мне кажется, что жажда наживы сыграла с ними плохую шутку. Иначе они потрудились бы выяснить, что — теперь уже единственный — сын Софы Рони — блестящий тель-авивский адвокат и один из самых талантливых выпускников Гарвардского университета. Возможно, это обстоятельство и остынуло бы их разгоряченные головы, увенчанные черными широкополыми фетровыми шляпами.

В назначенный день слушания дела из «Хевра кадиша» пришли шесть угрюмых бородачей. Один из них тут же снял шляпу и остался в черной кипе. Стало ясно, что это их адвокат. Грех было бы отрицать великолепную ораторскую технику защитника. Но что до содержания речи, то оно было традиционным для религиозного сознания — говорилось о промысле Б-м, о Галахических законах и установлениях, которые только и обязаны выполнять все евреи, о дающей и не скудеющей деснице Г-ней, о святыни места успокоения еврея — кладбища (тут адвокат не упустил возможности обрушиться на управление археологии), о высокой миссии «Хевра кадиша», угодной Б-гу. Таким вот образом, кружка вокруг да около более часа, говорящий наконец подобрался к цели — исходя из Галахических законов и в соответствии с консенсусом между религиозным и светским секторами общества, завершил он свою речь, — браслет по праву принадлежит «Хевра кадиша». Пять черных шляп колыхались, как на волнах, ибо их хозяева с удовлетворением кивали в знак согласия.

Затем наступил черед Рони. Молодой, элегантный адвокат, чье мастерство шлифовалось в лучшем университете мира, построил свою речь на принципах древнеримского ораторского искусства, разработанных еще Цицероном и Квинтилианом. Он говорил о свободе совести и выбора, о волеизъявлении человека, о его неотъемлемом и священном праве на собственность, пусть даже приобретенную таким путем, как в случае с браслетом. А там, где этого права нет, продолжат Рони, там вообще упраздняется право и появляется беззаконие, бесправие. Сдержанное цитирование классиков окрашивало речь в тонкие интеллектуальные краски, а неумолимая логика выстраивала цепь виртуозных доказательств. Модуляции же голоса просто гипнотизировали, так что речью заслушивались не только Софа, ее близкие и друзья, но и судьи. Неудивительно поэтому, что решение суда было скорым — Софе вручили браслет прямо в зале заседаний.

Раввины сидели насупленные. Вдруг один из них, должно быть, старший, вскочил, воздел руки к небу и, не сходя с места, тут же проклял и новую обладательницу браслета, и ее сына-адвоката, а заодно — и судей. Может быть, последней каплей, переполнившей чашу терпения раввинов было то, что суд обязал «Хевра кадиша», как проигравшую сторону,

оплатить все судебные издержки. Если так, то я отказываюсь понимать раввинов — ну что эта мелочь для воротил похоронного бизнеса — одного из самых прибыльных в Израиле!

А история с браслетом закончилась довольно неожиданно. Софа подарила его своей внучке Михаль. Как раз в это время Михаль заканчивала в Рамат-Гане школу театрального искусства им. Бен-Цви. В выпускном спектакле она играла главную роль — княгиню Веру Николаевну Шеину — в инсценировке повести Куприна «Гранатовый браслет», ибо так же, как и княгиня Вера, «походила на англичанку своей высокой гибкой фигурой, нежным, но холодным и гордым лицом, прекрасными руками, очаровательной покатостью плеч». И когда по ходу пьесы горничная Да-ша приносит княгине небольшой сверток, в котором — «ювелирный футляр красного плюша», то Вера-Михаль вынимает и долго смотрит не на «ovalный браслет из низкопробного золота, с наружной стороны сплошь покрытого старинными, плохо отшлифованными гранатами», а на браслет бриллиантовый, подаренный бабушкой. Но публика не замечает этого небольшого отступления от правды реализма. Она наслаждается одухотворенной игрой будущей актрисы.

РАББИ МЕНАХЕМ СЛЫВА

Кто же в Израиле не знает рабби Менахема Слыву! Кто при встрече с ним не заглядится в голубые глаза его цвета холодного северного неба! Кто не подивится на курчавую золотую бороду, на золотые колечки пейсов, при ходьбе весело пританцовывающие вокруг ушей!..

Мудрости рабби Менахема нет предела, а глубина ума его завораживает и даже пугает. Свой основной труд — «Ликкүт Аморим» — рабби Слыва писал семь лет. Возникший как обширный комментарий к некоторым положениям Торы, этот кладезь мудрости, в свою очередь, уже комментируется учениками рабби. Здесь нет возможности разбирать столь сложное сочинение. Но вот привести несколько строчек из «Ликкүт Аморим», дабы ощутить аромат мысли мудреца, стоит.

Существует, пишет рабби Менахем, три времени: «настоящее прошедшего предметов, настоящее настоящих предметов и настоящее будущих предметов. Так для настоящего прошедших предметов есть у нас память, или воспоминания, для настоящего настоящих предметов есть у нас взгляд, воззрение, созерцание, а для настоящего будущих предметов есть у нас чаяние, упование, надежда». И далее, полагая, что время субъективно, рабби делает вывод: «время существует лишь в человеческом уме, который ожидает, созерцает и вспоминает»...

У рабби Слывы нет врагов, но многие завидуют ему. Иные раввины не могут простить праведнику его нееврейского происхождения, всегда отдающего, по их мнению, гойским душком. И это несмотря на то, что в

свое время рабби Менахем прошел особо жесткую форму гиюра, его суровую Виленскую схему с суточными молениями и бдениями, голоданием, исполнением мицвот, смирением гордыни и покаянием.

Дело в том, что рабби Менахем родился на Украине в небольшом мстечке Фастов, что в шестидесяти километрах от Киева. От отца Грыцька Слывы — тракториста и матери Марийки Слывы — доярки. Ребенка нарекли Мишкой. Он рос тихим, задумчивым мальчиком, и соседи недоумевали, откуда у буйного выпивохи Грыцька «такэ тыхэ дытятко». Он любил одиночество, и когда летом бродил в полях, то золото его волос растекалось по золоту зрелой пшеницы.

В школе Мишко проявлял необыкновенные способности. В девятом классе он влюбился в первую красавицу — чернявую и грудастую Риту Гершенкройн, старшую dochь Соломона Гершенкройна. Они долго встречались и после окончания школы неожиданно для всех поженились. А вскоре большая семья Гершенкройнов заторопилась в Израиль.

Почти все mestечко провожало Мишку Слыву. Грыцько забил кабана и двух свиней, порезал кур, индюков и гусей. И столы ломились от щедрых даров плодородной Украины: серебрились тонкие ломтики пущистого сала, капал янтарный сок со свиных шашлыков, кружил голову запах холодца, заправленного индюшачьим и куриным мясом и украшенного поверху желтыми в белой оправе колечками яиц. Пестрели салаты и гурманам приятно веселил душу некогда серебристый зеркальный карп — теперь с темной корочкой, пропитанный сметаной и обложенный по краям салатницы картошкой фри. А вареники с вишнями, малиной и мясом, а пампушки в чесночном соку. Исхитрились даже приготовить котлеты по-киевски... Да обо всем и не скажешь. А гости все подходили и по старииному обычью приносили на счастье румяные хрустящие паланчицы, завернутые в хустки с яркими цветочными орнаментами и узорами. Лиились рекой горилка и самогон...

В Израиле с Мишкой Слывой произошло чудо — чудо перевоплощения. Через иврит, язык, которым Б-г одарил евреев — пророков и воинов. Как и другие эмигранты, он изучал иврит в ульпане. Для многих это было тяжелейшей необходимости — как же, неблагозвучный, маловыразительный восточный язык с птичьим «аин» и хрюпловатым на выдохе «хет», которые в силах произнести только туземные глотки. Но Мишку завораживали классические пропорции синтаксиса, бесконечные вариации корней. Но главное — простота, определенная ивриту Б-гом и полностью лишенная каких-либо человеческих оснований. Его волновали очертания букв, и он сердцем ощущал скрытые тайны таких, например, слов, как «элогии», или «ор», которые слепили его внутренний взор вспышками вселенской энергии.

Однажды во сне Мишке было сказано, чтобы посвятил себя Б-гу, взял имя Менахем, а фамилию не трогал. Он прошел гиюр и поступил в иешиву. Вначале ученики, гораздо младшие по возрасту, смеялись над акцен-

том Менахема. Затем акцент пропал, иврит набрал высоту, и наконец, достиг максимального уровня — уровня Торы.

Вскоре по вопросам веры он мог беседовать только с учителями, но потом превзошел и их. Менахем окончил йешиву, стал раввином. У него появились ученики, жадно впитывающие каждое слово его. Когда рабби Менахем беседовал с ними, то глаза его лучились тихим голубым светом, который вместе с приливом религиозного воодушевления утверждал в учениках уверенность в святости их Учителя.

Но в редкие часы душевного смятения в глазах рабби Менахема можно заметить легкую грусть, взывающую к почти невосстановимым образам большой прохладной реки, сочной травы заливного луга, где обнаглевший овод может больно укусить, преднамеренно перепутав пасущихся лошадей с человеком, скирд только что скоченного поля, белой хаты под соломенной стрихой, позади которой — баштаны и подсолнухи.

Впрочем, эта грусть, налетевшая ниоткуда и, видимо, рожденная «настоящим прошедших предметов», как пишет в «Ликкут Аморим» рабби Менахем, тут же исчезает в расплавленной белесой жидкости полуденно-го иудейского солнца.

ЛИФТ

Опять же, турки. Вот написал и... улыбнулся. Не знаю, почему при упоминании о турках, неважно каких — османах или сельджуках, тянет улыбаться. Может быть, виной тому классика. Помните, в опере «Запорожец за Дунаем»: «теперь я турок, не козак? Или Остап Бендер, который из своей биографии сообщал только одну подробность: «Мой пapa был турецко-поданный». А фольклор — кто же не слыхал крылатого выражения «затурканный еврей». Однако ж турку на это выражение глубоко начать, а еврею при иных обстоятельствах — оскорбительно. И тут уж не до смеха. Спросят, причем здесь турки? Не волнуйтесь, турки всегда причем. Но всплывают они чуть ниже по течению рассказа.

А пока я слушаю Изю Бляхнера. И искренне сочувствую. Ибо за семь лет израильской жизни Изя смертельно устал. Еще бы — все это время проработать ночным сторожем, ночь в ночь.

— Старик, я предельно устал. Понимаешь, до чертиков, до галлюцинаций. Посади меня, поставь, подвесь головой вниз — я буду спать. Но по ночам спать опасно. Поймают — выгонят! А мне — под шестьдесят. И тут еще одна беда — на дежурстве приходится все время есть, чтобы не уснуть.

Изя растолстел. На глазок в нем будет килограмм сто веса. А то и больше. И все потому, что он жизнерадостный, гурман, можно даже сказать, эпикуреец. Между дневным сном и ночным бодрствованием он успевает съездить на пикничок с ароматными шашлычками и белым вином, поры-

бачить в верховье Иордана, отведать настоящей русской баньки с сухим паром, с веничком (хозяин уверяет, что веник березовый, но мы-то знаем, что и рядом не лежало), с баварским темным пивом и некошерными раками. Все так. Но очень короткие расслабления не снимают Изиной смертельной усталости.

— Я говорю Элке, — продолжает Изя, — если не хочешь, чтобы я загнулся к шестидесяти, давай поедем отдохнем. Элка у меня компанейская. Она всегда «за». Недолго думали куда. Конечно, в Турцию. Ближе к зиме, после еврейского нового года, когда поубавится туристов. Ах, Турция! А какое, рассказывают, обслуживание! А питание! И дешево-то как. Культурная программа — София Константинопольская, шлимановская Троя... Сомнений нет — в Турцию. Звоню приятелям — Цирульским и Ротштейнам. И они не против.

Друзья у Изи такие же толстые и добродушные. Любопытно, почему полных людей притягивает друг к другу. Может быть, в основе этого явления лежит некий психологический нюанс, который предстоит еще исследовать.

— Уже собирались заказывать тур. И вдруг случается очень крупная неприятность. Отмечали у Элки на работе Новый год. На десерт были пирожные, кола и конфеты. Черт бы их побрал, эти конфеты. Знаешь, похожие на наши козинаки — твердые, клейкие, с вмуранными семечками. Я всегда предупреждаю Элку, когда идем в гости — не вздумай грызть твердое! А в этот раз она не удержалась — видимо, решила вспомнить конфетную молодость, когда зубы были целыми и крепкими. Укусить-то конфету укусила, а открыть рот не может. А когда насилиу открыла, то вместе с конфетой отвалилась вся правая сторона верхней челюсти. Элка с вечеринки приезжает в слезах, а выпавшая часть завернута в салфетку. Я ей сказал, чтобы выбросила обломки в мусорное ведро. Естественно, о поездке не могла быть и речи. Вновь всплыла проблема зубов. Помнишь, перед отъездом в Израиль все сдавали знаменитое еврейское троеборье — права, язык, зубы. О языке говорить не буду, права были, а зубы мы вставляли в институте челюстно-лицевой хирургии. В Элкин рот заглядывало два доцента. Потом позвали профессора. Говорили, что случай тяжелый, пародонтоз уничтожил большую часть зубов и цеплять мосты практически не на что. Я хорошо заплатил, и опоры для мостов все-таки нашлись. Даже дали гарантию. Правда, не более двух лет. Аостояли целых семь. И если бы не эта проклятая конфета, стояли бы и дальше. Словом, вставили мы Элке новый фарфоровый мост. Зубы красивые как жемчуга. Жаль, что со стороны этими жемчугами могу любоваться только я — чтобы показать их во всем великолепии, Элке нужно забросить верхнюю губу за ухо.

Наконец, все позади. Оплачиваем тур и в один из солнечных декабрских дней — тоже мне зима, градусов двадцать было, едем в аэропорт Бен-Гурион. Цирульские и Ротштейны уже там. Ждут нас у электронного

табло. Одеты с иголочки. На Циурльском — даже светло-кремовые брюки. Производит впечатление авиационной бомбы в чехле. Глядя на нас со стороны, можно было подумать, что богатые израильские туристы летят в Турцию проматывать доллары в рулетку.

А перелет — сплошное удовольствие. Вода на любой вкус, кофе с булочкой, кусочек голландского масла. Только пролетая над какой-то горой, заспорили. Мы с Ротштейнами считали, что это Хермон. А Циурльские — ну ни в какую. Но потом сдались — что же еще может быть на Ближнем Востоке, кроме Хермона!

Мягко сели. Из аэропорта нас повезли в гостиницу. Красивая, слов нет. Звездочки четыре, а то и все пять будет. Разместили нас на третьем этаже. Турки суетятся, норовят угодить. Очень, очень приятно. Потом спускаемся вниз, в ресторан. Столы накрыты, ломятся. Я с разбегу столько набрал... То же самое у Циурльских с Ротштейнами. И если бы не наша привычка хорошо поесть, выработанная годами, ни за что бы не осилили. Еле встали из-за стола. Почувствовали усталость. Потянуло в сон. Однако нужно было ехать. Ведь не объедаться прилетели в Турцию.

Подали автобус. Мы поехали кривыми улочками старого города. До чего ж живописно! Вот здесь бродили булгаковские герои. А в этих обшарпанных домах жили эмигранты из России. В каком-то из них — и Бунин. Привезли нас ко храму Софии Константинопольской. Византийская архитектура в чистом виде. Вот только минареты здесь как бы не на месте. Впрочем, я не специалист.

Поздно вечером возвращаемся в гостиницу. Вымотались, но впечатлений много. В шестером заходим в лифт, чтобы подняться на третий этаж. О весе мы как-то не подумали. Дверцы закрылись, потом открылись. Зажглась лампочка. Ясно, лифт перегружен. Нам бы выйти, а Циурльский взъярился и вновь нажми на кнопку. На этот раз лифт брыкнулся и медленно пополз вверх. Между вторым и третьим этажами что-то рвануло, свет погас и мы начали падать вниз. Короче, лифт оборвался. Результат — я упал на Циурльского и поломал ему ногу в двух местах. Себе сломал руку. Ротштейны и жена Циурльского отделались ушибами средней тяжести. Элке опять не повезло — она ударилась головой о кнопки управления лифтом и выбила новые зубы. Хорошо еще, что хоть остались штифты, вмонтированные прямо в надкостницу. С ними возня, и стоят они больших денег. А вставить другие зубы — не проблема. Но турки... как тебе нравятся эти сволочные турки... Во всех цивилизованных странах лифты не падают, потому что оборудованы надежными тормозными системами. Только у этих засранцев-азиатов все сделано на соплях. И ты знаешь, негодяи еще нас и оштрафовали — каждого на двести долларов. Якобы на ремонт лифта...

Я слушал Изю, сочувствовал и соображал — какие же уроки можно извлечь из этой истории. Не ездить, что ли, в Турцию? Глупости. Что может быть дешевле и приятнее Турции... Не пользоваться лифтом? Ерунда.

Кто же может себе позволить такое в наш век тотального комфорта! Не есть, чтобы не толстеть? Но для еврея хорошо покушать все равно что для русского — быстрая езда. Постойте, кажется нашупал. Спать по ночам! Именно работа ночных сторожем явилась причиной Изиных злоключений. Да, господа, по ночам нужно спать! И желательно дома, в своей постели, рядом с женой. Кто является счастливым ее обладателем, естественно.

Риталий Заславский

Для читателей нашего альманаха уже стали, наверное, привычными (можно сказать, традиционными) публикации воспоминаний Риталия Заславского о еврейских писателях, которых он знал, с которыми дружил, которых переводил. На этот раз он рассказывает о двух известных поэтах — Михаиле Могилевиче и Петре Киричанском — и предлагает подборки их стихотворений в переводе с идиши.

МИША И ПЕТЯ

**Из воспоминаний о Михаиле Могилевиче
и Петре Киричанском**

Миша и Петя всегда и всюду возникали вместе. Как сиамские близнецы. Как попугай-неразлучники. «Как левая и правая рука...» Представить их порознь невозможно: где Миша, там и Петя, где Петя, там и Миша. Разумеется, я видел каждого из них и в отдельности, но всегда казалось, что другой вот-вот появится тоже или, по крайней мере, присутствует незримо.

Они и родились-то почти в один год (Миша — в двадцатом, Петя — в двадцать первом. Впрочем, Петя говорил, что у него в документах ошибка: на самом деле он родился тоже в двадцатом) и умерли в один — в чернобыльский, восемьдесят шестой.

Дружили с младенчества, кажется, и учились вместе, оба прошли войну, оба писали стихи, оба — на идиш.

И Миша и Петя были рабочими людьми: Миша работал на кирпичном заводике, на Подоле, в горячем цехе, Петя — тоже на Подоле, в мастерской по производству щёток, что ли. Работы были изнурительными, но, видно, более лёгких способов зарабатывать на жизнь они не придумали, тем и кормились.

Оба долго ходили в «молодых» поэтах, обоих долго и трудно (я бы еще добавил — «нудно») принимали в Союз писателей. Приняли, в конце концов, когда им уже под шестьдесят было. Мишу приняли чуть раньше. Петя всегда шел у него как бы в фарватере, отставая на шаг, на полшага, на чуть-чуть. Миша был активнее, энергичнее, напористее. Петя же как бы приглядывался ко всем его житейским поступкам, движениям, поворотам. И вскоре в точности повторял их. Как будто все время слушал команду: «Делай, как я!» Миша сдал рукопись в «Радянський письменник», глядишь — и Петя через некоторое время туда же тащил стихи. Миша поехал в Москву в «Советский писатель» в отчаянной надежде издать книгу не в переводе, а в оригинале, на идиш, и Петя начинает торопливо собираться в дорогу. Отдал Миша стихи на перевод Павлычко или Олейнику, и Петя тоже знакомится с ними, и его переводят. Надо сказать, украин-

ские поэты всегда относились к этой парочке «молодых» с большим сочувствием, с охотой откликались на их просьбы, помогали, как могли. Конечно, не все они могли, не все от них зависело — в том числе и приём в Союз писателей. Всё решалось негласно, наверху, можно сказать, «в небесах». Но сочувствие и поддержка украинских коллег — тем более, в те годы — была для них неоценима, и душевно необыкновенно важна.

Особенно старался — мир его праху! — Станислав Тельнюк. Он работал в аппарате Союза писателей и его усилиями в начале семидесятых прошёл большой творческий вечер Михаила Могилевича и Петра Киричанского. Это теперь разные еврейские общества проводят культурные мероприятия, издают газеты и книги, а тогда... Помню, как заполнялся зал в здании Союза писателей набежавшими отовсюду евреями, они шли со всех концов города и в лицах их было что-то особенное: напряжение и торжество, ожесточённое упрямство и трогательная робость. Один украинский писатель и скульптор, мой добрый знакомый, случайно забредший в зал, с некоторым замешательством озирался и никак не мог сообразить, что же происходит. Потом сказал мне с недоумением: «Что это за странная публика набралась?»

А Тельнюк сиял. Он вёл этот необычный вечер, организованный им же. А возле него, по сторонам, торжественно восседали Миша и Петя. Я не могу воспроизвести дословно, что Станислав говорил тогда. Впрочем, полагаю, стенограмма этого вечера наверняка тайно велась — и когда-нибудь где-нибудь она ещё всплынёт. Не может не всплыть! Но общее содержание и тональность вступительного слова помню. Смысл взвешенного, по-своему осторожного (иначе и нельзя было!) выступления Станислава Владимировича сводился к тому, что когда-то такие встречи были вполне обычными, что, знаете ли, существовало издательство нацменьшинств — и ничего ужасного не происходило, «основы не сотрясались»; и что это было и правильно и хорошо, и наша скромная в общем-то задача, по возможности, всё восстановить в прежнем виде — и пусть этот вечер будет началом возвращения к нормальному, естественному существованию. Что-то говорил Полянкер, ещё кто-то выступал. Потом Миша и Петя читали стихи. На идиш! Надо было видеть лица людей в зале! Радостное внимание слушателей, которые в большинстве, конечно же, не понимали уже ни единого слова на этом почти запрещённом языке. Но всё равно сам факт такого события выходил далеко за пределы чисто литературной жизни. Вслед за авторами вышли переводчики стихов на украинский и русский. И я, грешным делом, кое-что прочёл. Этот далёкий, полузыбкий (а то и вовсе забытый!) вечер стоит воскресить в памяти. Всё-таки первый прорыв куда-то, к чему-то. Головы кружились, сердца трепетали. И здесь хотелось бы сказать еще несколько слов о Станиславе Владимировиче Тельнюке. Если бы я стал писать о нем воспоминания, озаглавил бы их — **Интернационалист**. При всей скомпрометированности этого термина первоначальный смысл слова для меня неизменно чист, безусловен и

сегодня. Не надо только искажённое понятие выдавать за его сущность. Украинский интеллигент, переживавший всегда за родную культуру, Тельнюк не меньше сил и времени отдавал борьбе (не побоюсь этого высокопарного стереотипа!) за сохранение и восстановление других национальных культур, в том числе еврейской. Он, несомненно, чувствовал свою личную ответственность за происходящее. И стремился вся и всех **приобщить и вовлечь**. Бывало, встретит меня и сразу же вытаскивает из старенького портфеля чьи-то стихи, и начинает уговаривать: «Переведи!», и рассказывать об авторе что-то очень живое, сердечное — только бы вызвать во мне ответную реакцию, желание работать. А сколько людей он неустанно опекал! Как помогал пробиться, напечататься! Особенно если человек жил где-то в глубинке. Тут Станислав просто в лепёшку разбивался. Вот он суёт мне русские стихи слепого еврейского юноши, работавшего в захудалой артели в Каменец-Подольском: «Возьми его рукопись на рецензию!» — почему-то почти шепотом, заговорщически просит он. Вот, встретив меня в лавке писателей, радостно знакомит с крымским татарином, который составил букварь на родном языке. «Он и стихи пишет на татарском! — радостно восклицает Станислав, — переведи его! А вдруг в Москве сможешь напечатать? Здорово было бы!» И греческих, и болгарских поэтов Украины он всячески подсовывал мне. А уж об украинских и говорить нечего! Среди них он выискивал тех, кто пострадал от властей или жил в давние времена и затерялся как-то в бурном потоке своих удачливых современников... Миша и Петя всегда занимали его внимание. Ну как же, пишут на идиш! Вообще к евреям у него было, по-моему, особое отношение. Как-то, с увлеченным блеском в глазах, как будто необыкновенное открытие только что совершил, он сказал мне: «Понимаешь, каждый еврей — интересный человек! Он обязательно чем-нибудь увлекается: если не пишет стихи — коллекционирует что-то, если не коллекционирует — изобретает! Какой народ!» Видно, не зря один приятель Тельнюка, когда бывал крепко подшоafe, иначе как «Зямой» не называл его... Станислав только усмехался.

Однажды какая-то круглая дата отмечалась у Михаила Могилевича, какое-то «летие» — не то пятидесяти-, не то шестидесяти-. Собрались у него дома подольские евреи — крупные, тяжелые, недоверчивые мужики. Странно, я впервые увидел таких. Привык к тому, что евреи маленькие, шустрые, говорливые. А эти... Какой-то особый рабочий люд, неведомый мне типаж. Невольно вспомнились бабелевские персонажи... Пришел и Тельнюк. Явно (впрочем, как и я) человек из другого мира. Уставились на него: что, мол, за птица такая? Даже есть-пить перестали... Ждут. Станислав тут же заговорил о чем-то национальном (эта проблематика всех так или иначе касается, всех задевает), потом переводы стихов хозяина дома почитал. Слушали. Никто ничего не сказал. Но снова стали жевать и наливать: всё в порядке, пусть сидит... Можно внимания не обращать...

Ну, о Тельнюке надо отдельно писать — вернусь к моим героям, к Мише и Пете. При всей «неразделимости» они были мало похожи друг на друга. Миша — плотный, широкоплечий, ступал прямо, уверенно, Петя — узкогрудый, хилый, вялый, всегда сутулился где-нибудь в углу. У Миши были голубые глаза. Они казались небольшими. Но когда он читал стихи — «распахивались». И становились огромными. Петя был узкоглаз. И вообще очень смахивал на японца. Миша казался простодушным, прямолинейно-наивным, Петя — хитроватым. Но в делах именно Петя безнадежно прогорал, а Миша — более или менее успешно — достигал своего. Петю Киричанского я обычно называл Пином. Он смеялся, привык считать себя Петей, но не возражал: Пин так Пин. Я и печатал над его стихами: Пин Киричанский. Ко мне это имя пришло из разговоров моих друзей о погибшем на войне Павле Винтмане, они его всегда именовали Пином. Миша Могилевич всегда оставался Мишой, почему-то и в голову не приходило переинчарить его на еврейский лад или еще как-нибудь. Может быть, потому что Миша был обидчив и самолюбиво насторожен.

Расскажу подробней о нем. Я уже говорил выше, что Михаил Могилевич войну прошёл. К этому следует добавить, что он и в немецком плена побывал, каким-то образом сошёл за украинца и остался в живых. Хотя до сих пор не понимаю: как его можно было принять за кого-нибудь еще, кроме еврея? У Миши было тяжёлое фронтовое ранение, всю послевоенную жизнь проходил в гипсовом корсете: что-то там нужно было поддерживать внутри. Миша всю жизнь на Подоле прожил, там и работал. Он испытывал живую привязанность к этому району, чуть ли не каждого жителя знал, и его знали. У Миши была большая семья — жена, дети. Ну, дети как дети. А вот жена... Она не понимала его литературных занятий, считала это дурью, пустой тряпкой сил. Ночью, когда он засыпал после тяжелого рабочего дня в горячем цехе, она тихонько обшаривала карманы, ящики письменного стола — и если находила листок, написанный на идиш (стихи!), рвала его в клочки. Тем выражала, так сказать, заботу о нём. Миша страдал, но, нужно заметить, ни разу не пожаловался на неё. Не понимает — что же поделаешь? Она же добра желает, из лучших чувств старается. И узнал я о ее поступках не от него, рассказала мне об этом Рива Балясная. По секрету. Я возмутился: «Надо поговорить с ней!» «Говорили! Бесполезно...» И только когда Мишу приняли в Союз писателей, когда его стали печатать и он какие-то гонорары начал получать, жена понемногу угомонилась, и он мог уже, ничего не опасаясь, оставлять на столе свои черновики, заполненные непонятными буквами-закорючками.

- На каком языке вы думаете? — спрашивал я Мишу.
- На русском.
- Как же вы можете писать на идиш? — допытывался я.
- Не знаю, — пожимал он плечами. И добавлял: — Но писать я могу только на идиш. Как начинаются стихи, все во мне перестраивается.

Я не мог этого понять. Ну никак не мог. Для меня и сейчас это загадка.

Миша часто приходил ко мне. Как-то я записал на магнитофонную ленту его чтение стихов. Она, эта лента, до сих пор хранится у меня. Иногда я её прокручиваю и слышу его рокочущий звучный голос. И в тетрадке у меня его стихи — на идиш. Может быть, это единственная сохранившаяся рукопись Михаила Могилевича.

Всё в прошлом.

Жена умерла, дети уехали.

И сам Миша умер — внезапно, где-то на Контрактовой площади, на своём любимом Подоле, умер в жаркий летний полдень, со стаканом газировки в руке.

Он успел издать несколько книг: одну всё-таки на идиш, остальные — в переводах на русский и украинский. Я поспособствовал изданию его детской книжки в Москве с прелестными иллюстрациями знаменитого Бисти. Так вышло, что и его «совписовскую» книгу фактически составлял и редактировал я. Моему соседу по Переделкино, Саше Тверскому просто не хотелось возиться с пухлой рукописью, он и подсунул её мне: вы же друзья с Мишой. Куда было деваться?

Петя Киричанский тоже вскоре умер — всего через несколько месяцев после Миши. Как будто подтвердил старый медицинский постулат: «близнецы» редко надолго переживают друг друга.

Петя тоже хотел издать детскую книжечку в Москве. Он, как всегда, чуть отставал от Миши. И не успел. Я перевёл стихи для малышей уже после Петиной смерти. Может быть, найдется спонсор и книжечка всё-таки выйдет. И тогда Петя, наконец-то, догонит Мишу. Теперь уже окончательно, навсегда.

1 декабря 1996 г.
Киев.

**Михаил Могилевич
(1920–1986)**



И рву стихи, и начинаю снова,
прислушиваюсь к ритму чуть дыша,
я знаю, что стихов первооснова
не строчки и не рифмы, а душа.

Как будто бы дописана страница,
но, торопясь, опять иду к столу:
другое слово начало светиться
и проступать, как пламя сквозь золу.

Мои мученья над листом бумаги —
быть может, жизнь, а может быть, игра.
Но сколько нужно страсти и отваги,
чтобы корпеть над строчкой до утра!

Слова звените, жарко пламенейте,
печаль народа в языке жива:
пускай всегда звучат, подобно флейте,
высокие и древние слова...

Кому мой стих сегодня пригодится?
На нём судьбы и времени тавро.
Я начинаю новую страницу —
не изменяй же мне, моё перо!

И снова сердцу весело и больно,
само в себе оно сгорит дотла...
В моей душе — высокой колокольне —
высоких слов гремят колокола!



Хочу прожить спокойно долгий день,
чтоб отошли заботы и досада,
чтобы, когда скользнёт по окнам тень,
почувствовать, что было всё как надо.

А уж когда совсем сгустится мгла
и я усну в положенные сроки, —

чтоб горестная мысль не обожгла:
что лучшие не написались строки.

Чтоб всем глухим сомнениям назло
я ощущил моей работы сладость...
Пускай строфа далась мне тяжело.
Но ведь далась! Какая это радость!

ПОДСНЕЖНИК

Солнце. Воздух. Небо. Нега...
А сугроб ещё глубок!
Но внезапно из-под снега
белый выпрыгнул цветок.

И на ножке детской, тонкой
скакет-скакет без забот...
И весна — совсем девчонка —
к лепесткам любовно льнет.



Белоснежная зима,
белые пределы...
Посмотри-ка, даже тьма
тоже стала белой.

Ветки дерева белы,
выбелились хаты.
Люди белые
из мглы
движутся куда-то.

Ты зачем идёшь за мной?
Белый снег кружится,
опушились белизной
длинные ресницы.

Право же, сойдешь с ума —
ничего не надо!
Белоснежная зима,
белая отрада...

ПОЛЕ БОЯ

Нам каждый метр давался слишком тяжко.
Но мы вперёд бежали, шли, ползли.
И стала красной белая ромашка,
и красным отсвет неба и земли.

Теперь ковыль, торжественен и тонок,
растет во рву... И солнышко горит.
И птица плачет громко, как ребенок,
и ветер скорбно что-то говорит.



Как воздух чист! Как свеж и ароматен!
Усну — твои привидятся черты...
Я знаю, даже солнце не без пятен,
но утверждаю: совершенна ты!

Как ты могла со мною оказаться?
Доныне к этой мысли не привык.
Такое мне подарено богатство,
что я теперь навеки твой должник.

И слёзы наплывают, взор туманя,
едва увижу эту прядь у лба...
Да будет до последнего дыханья
со мной моя удача и судьба!



Испробовав много ремёсел,
не всякое сердцем приму,
но главное — дела не бросил,
и чувствую что и к чему.

Движения точны, неробки,
твёрда и шершава ладонь.
Стою ежедневно у топки —
и сам я горяч, как огонь!



И снова ночь, в которой всё безмерно —
и тишина, и этот небосвод.

В глубинах ночи тёплой, долгой, вербной
забудешь годы страха и невзгод.

Но лес шумит — он полон скорби древней
и помнит одиночества часы.

И над душой склоняются деревья,
бросая жизнь на вечности весы.



Дымятся дни, как с кашей чугунки,
дождь моросит, и капли мелки-мелки.
Кряхтят деревья, словно старики,
они опять в осенней переделке.

И кажется, сейчас, вот-вот, взлетят,
и улетят —
лишь стоит ветру дунуть...
Они томятся столько дней подряд,
и ждут весны, отчаянной и юной.



Весёлых лет весёлый лёт!
Увы! — немного в нашей власти.
Но мы встречаем Новый год —
и ждем удач, и верим в счастье.

О Новый год! Бокал — до дна!
И щёки всыхнут старым жаром!
Нас утешает мысль одна,
что всё же прожит век недаром.

О Новый год! О, Новый год!
Забудем дней минувших горесть...
Как набирает время скорость!
Весёлых лет весёлый лёт!



Тосклиwyй дождь всё льётся на дворе.
Ну, что же, в октябре как в октябре.

Любой листок, как уличный щенок,
дрожит и жалко лепится у ног.

Но чу, шаги! За дверью хлюп да хлюп...
Кого я жду? Мечтатель, однолюб.

Зачем я жду? Всё позади давно.
Постукивают капельки в окно...

В ГОСТЯХ

Ну здравствуй, здравствуй, милый мой Чернобыль *
мне всё в тебе знакомо — дух и нрав.
Как не узнать твоих высоких трав,
со мной «на ты» здесь каждый старый тополь!

Смесь солнца с мёдом — тёплый воздух твой.
Когда пью воду из твоих колодцев,
не только тело — и душа нальётся
могучей силой, нежной и живой.

Твоя река не отражает туч —
она полна такой чудесной сини.
Навек пропах я запахом полыни,
как твой репейник, я всегда колюч.

Без стука я вхожу в любую дверь,
всё для меня привычно тут и просто.
На небе звёзды, как кручинки проса...
Куда ещё отправиться теперь?

...Вот на кладбище без друзей стою...
О сколько вас погребено в солдатских,
в тех безымянных, в тех великих братских —
не сосчитать могил в моём kraю!

* Михаил Могилевич был родом из Чернобыля и эти стихи написал до известных трагических событий. (Прим. переводчика).

На том и строки оборву сейчас.
Но земляков ещё раз вспомню лица:
пока они живут в сердцах у нас,
здесь ничего плохого не случится!

Перевёл с идиш Риталий Заславский.

Пётр Киричанский
(1921–1986)

ИЗ ЛИРИЧЕСКИХ СТИХОТВОРЕНИЙ

КАКОГО ЦВЕТА ВЕТЕР?

Какого цвета ветер?
Мне кажется порой,
что только красный ветер
гуляет над землёй.

О ветер мой, из гетто
летевший столько лет,
какого стал ты цвета,
какой утратил цвет?

О чёрно-серый ветер —
во сне и наяву...
Как странно, что на свете
я все-таки живу!

У МЕЛЬНИЦЫ

И вот опять у мельницы иду,
несутся крылья надо мной без скрипа.
Не сразу я замечу на ходу,
что белой пылью снова я осыпан.

Как будто бы пальто побелено,
и брови побелели и ресницы.
Течёт, течёт и мелется зерно,
и сам я пахну рожью и пшеницей.

Мы произносим мудрые слова.
Но жить легко становится на свете,
когда поют лениво жернова
и белой пылью осыпает ветер...

ЯБЛОКИ

Вкус этих яблок снова на губах,
вон на земле сложил их кто-то грудой,
и день осенним яблоком пропах,
я этот запах чувствуя повсюду.

Как расцветают осенью сады,
колошущиеся-плывут в небесной сини!
Я соберу созревшие плоды —
домой в плетёной понесу корзине.

И вдруг на сердце словно камень лёг,
и замерло оно не без причины.
Корзину молча ставлю на порог,
тревожат память древние картины.

Вы догадались — сорок первый вновь
я вспоминаю... бой у переправы.
Кровав закат, и снова льётся кровь,
бока у яблок кажутся кровавы.

Горит земля, а мы идём, идём,
не замечая яблок под ногами.
В огне — сады, в огне — родимый дом,
и мы в огне уже как будто сами.

Постой, постой, о чём же разговор —
ведь столько лет уже промчалось мимо!
А я опять... о том же... до сих пор...
Вкус яблок...
Всплески пламени и дыма...



Клён колышется в окне,
веткой тянется ко мне,
а за веткой — солнца лучик.
Что еще на свете лучше?
Только солнышко взошло,
Сразу на сердце светло!

Солнце по небу летит,
солнце землю золотит.
Расступились в доме стены,
наши радости мгновенны:
только солнышко взошло —
сразу на сердце светло!

СОЛНЕЧНАЯ ЗАБАВКА

Зайчик спит. Шумит зелёный лес.
Рядом тихо прыгает кузнечик.
Кто же там с ружьём наперевес
снова пробирается навстречу?

Зайчик просыпается... Ну вот:
что-то где-то промелькнуло быстро.
Зайчик то бежит, а то замрёт,
чудится ему, бедняге, выстрел.

Шевельнулись уши и усы:
понял зайчик — подобрался кто-то.
Но блеснуло солнце из росы,
ослепило... Кончилась охота!

Вот и всё. Охотник, разомлев,
опустил ружье в лесную травку...
Солнышко сквозит среди дерев —
даже не заметило забавку.

ЗАДУМЧИВЫЙ ДОЖДИК

Задумчивый дождик пошел спозаранку,
Стучал он по крыше и в окна мои.
Казалось, что просо на старой жестянке
Клевали — тук-тук! — до утра воробыи.

А дождик шумел, лепетал, не кончался,
Повсюду уже ручейки потекли.
Бумажный кораблик на волнах качался,
И плыл, и тонул, и терялся вдали.

Но снова всплывал, появлялся упрямо,
Хоть ветер над ним проносился, свистя...
И смотрит в окно, улыбается мама:
— Как славно, сынок, что пока ты — дитя!

ІЗ СТИХОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВЕСНА

Запели птицы поутру,
А что поют — не разберу.

Река бормочет — а о чём?
Мы даже вместе не поймем.

Но почки лопнули — и вдруг
Зазеленел и лес и луг.

И видим мир во всей красе —
И я, и ты, и мы, и все...

ЛИЛИЯ

Что за белоснежка —
Лилия цветёт!
Не нужна ей спешка —
Вот качнулась, вот
Замерла на месте,
Дрогнула слегка...
И со мною вместе
Рада ей река.
Поутру
Немножко
Подросла она:
Длинной тонкой ножкой
Достает до dna!

ПЕСЕНКА ПЧЕЛЫ

Я от счастья как слепая,
Прямо к липе прилипая,
Рано-рано поутру
Сок тихонько соберу.
Унесу его я в улей,
Улей — в гуле, в гуле, в гуле,
Пчёлки трудятся — и вот
Угощайтесь:
Сладок мёд!

ИРПЕНЬ

Я хочу опять в Ирпень —
там пробуду целый день.
Скажет бабушка:
— А, Костик!
Вот у нас какие гости!

Все всегда она поймёт —
Только как? Наоборот!
Я спрошу её: — Что слышно?
А она мне: — Спелы вишни...

— Дать тебе карандаши?
Я отвечу: — Не спеши.
Лучше выгляну в оконце —
Там рисует что-то солнце!

Спросит бабушка: — А ты
Не боишься темноты?
— Вот когда наступит вечер
И стемнеет, я отвечу.

Спросит бабушка: — Теперь
Выходить ты будешь в дверь?
Я подумаю немножко:
— Нет уж, выпрыгну в окошко!

В ПОЛЕ КОПАЮТ КАРТОШКУ

Сеется дождь понемножку...
В поле копают картошку.

Дождь не проходит однако.
В будку залезла собака.

Кошка сидит за окошком.
В дождь не гуляется кошкам.

Дождик идёт непрерывный,
Дождик длиннее, чем ливни.

Спряталось солнце за тучу —
Дождь переждать ему лучше.

Сеется дождь понемножку...
С поля вывозят картошку.

Перевел с идиши Риталий Заславский.

Вадим Грайсман
(Израиль)

РИМСКИЕ ВОРОТА

*У ворот Рима сидит прокаженный нищий и ждет.
Это — Мессия.*

Еврейское предание

Год за годом ведется война,
Смерть ворочает лапой медвежьей,
Год за годом слепая волна
Обивает порог побережья.

Ветер трудится. Время не врет,
Ударяя в свои барабаны,
А Мессия у Римских ворот
Провожает века-караваны.

Смирна, золото, хлеб и вода,
Всё, что будет и было когда-то.
Горький дым, голубые стада,
Три холма на границе заката.

Разлетелись тугие тома,
Драгоценные камни разбиты.
Над землей пролетает зима,
Дождь и снег отрясает на плиты.

А Мессия у Римских ворот
Помнит прежние звезды и храмы,
И толкается нищий народ,
И столетья толпятся у ямы.

Блудный сын, безымянный смельчак,
Древних споров живой отголосок!
Рим и время тебя измельчат
На своих деревянных колесах.

Что ни утро, в назначенный час
Сторожа отирают ворота,
И пылят, и гремят мимо нас
Колесницы, рабы и пехота,

Что ни день, замусоленный грош
 Прокаженные клянчат гнусаво
 И мечом проповедуют ложь
 Светлоглазые дети Иисава.

В чаще лысин, локтей и бород
 Не смолкают безумные крики.
Всё сбывается наоборот^{*},
 Перепутались сроки и книги.

А Мессия у Римских ворот...



...Но всё-таки с приходом тьмы
 Друг друга вспоминаем мы,
 В глухие бубны бьём,
 И память, простенький мотив,
 Плыёт по Млечному Пути
 Бумажным кораблём.

И сердце знает наперёд,
 Что чёрной краски наберет,
 Что в глубине ночной
 Я перестану быть собой,
 А стану белкой и совой,
 Собакой и луной.

И в то прозрачное жильё,
 Давно не наше и ничьё,
 Земной водой вольюсь,
 И ветром проберусь в окно,
 И облаком явлюсь.

А ты — ты помни всё равно,
 Как пили сладкое вино
 Там, где полынь теперь,
 Где звёзды все наперечёт,
 Где тьма холодная течёт
 В распахнутую дверь.

* Стока Рафаэля Левчина.

К МУЗЫКЕ

Нас будний шум за дверью стережёт,
Таится в коридоре и в подвале,
Но вот выходит к пульту дирижёр
И музыканты воздуха набрали

И замерли. Все споры решены,
Всё новыми зовётся именами.
Высокий миг, секунда тишины, —
И музыка поднимется над нами.

Блестит река, гремит весёлый гром,
Вступает море медленно и строго.
Как детский хор, молитва и псалом,
Звук музыки доносится до Бога.

Мы в воздухе, и кажется: вот-вот
Расступится прохладная завеса,
И что за струны у земли и вод,
Что слышится из облака, из леса!

С высоких гор и с малого цветка
Слетает время стайками созвучий,
И наша жизнь, прекрасна и легка,
Летит в ладони бабочкой певучей.

...Когда в оркестре поздний плач иссяк,
Скрипач застыл, не слушая оваций,
От музыки, как от лица в слезах,
Не в силах оторваться.



Подходит наш возраст, пора собираться,
Кончается время застольного братства,
Становится выбор слышней и видней,
И всякий с другими людьми расстается,
И кто расстается, один остается,
И будет один до скончания дней.
И что одиночество? Легкое слово.

Ты будешь один, и не нужно другого —
 Ни горя, ни хлеба не хватит ему.
 И в спутнике нету особого прока:
 Звезда одинока, луна одинока,
 И каждый один, и легко одному.

И если тебе в человеке случайном
 Покажется радость во взгляде печальном,
 Иди себе мимо и душу не тронь, —
 Один как один, сумасшедший, убогий,
 Пустынник в пещере и странник в дороге,
 Сухая земля и холодный огонь.

Никто не разделит ни груза, ни боли,
 Ты сам перейди это дикое поле,
 Ты сам от ночной тишины холодей, —
 Один как один, безымянный, бездомный,
 Как маленький зверь и как ветер огромный,
 Последний и первый из Божьих людей.

ПРОЩАНИЕ С ПОДВАЛОМ

Рафаэлю Левчину

Я вырос, никому не нужен,
 Всегда обижен и простужен,
 Хоть смейся надо мной, хоть плачь.
 Ходил по слякоти и лужам,
 Жил по программе передач.

Но всё-таки погода-дура
 Накрыла свежим снегом грязь,
 Холодным воздухом подула,
 И всё-таки литература
 Сквозь щели в окнах ворвалась.

И я пошел куда глаза
 Глядели весело и пьяно,
 И я попал с мороза прямо
 В подвал, на ваши голоса.

Привет работе и семье!
Свобода в кровь мою проникла.
В начале городского цикла,
Подставив руки белым иглам,
Я вольно шлялся по зиме.

Я в гости приходил к знакомым,
Набитый голодом огромным,
Глотал «заморскую» икру
И чувствовал себя бездомным...
В такую я играл игру.

«Пришли иные времена»,
Я выбрал верную дорогу,
Остепенился, слава Богу, —
Какой уж в этом криминал,
Что жизнь проходит понемногу.

Но в том подвале до сих пор
Для нас поет призывный хор —
Хариты, музы, аониды
Ждут вечерами, а они-то
Распознают надутый вздор.

И никого не забывая,
Я всех сегодня призываю
Оставить в Доме хлеб и соль,
Когда и наша жизнь живая
Пройдет, как головная боль.

СУДЬБА

Тучи наново лепят вершину холма,
Ветер злится, в пустые проулки трубя.
Ледяною водой начертала зима
Однаковый круг для меня и тебя.

Знаю сам — ты поставишь меня над врагом,
Ты пришлешь легион херувимов за мной,
Прежде чем превратить меня в белый огонь,
В полыхание ночи над сонной землей.

Одиноко и холодно в мире причин, —
Знаю сам, как безумием мерились мы.
Но давай разберемся, давай докричим
До надежды и правды от горя и тьмы.

И к чему я пришел, и на что я рожден,
И зачем надвигается с моря гроза, —
Перед всем, перед гибелью, перед грозой
Мы впервые друг другу посмотрим в глаза.

**Марина Левина
(Израиль)**



Мой народ непонятен ни миру всему,
Ни себе самому.

Богоизбранный мученик, в смене времен
Не меняется он.

Вознося и теряя средь бурных страстей
Своих нищих детей.

Бесконечным числом безымянные могил
Он за все заплатил.

Без гроша и без крова живу — потому,
Что вернулась к нему.

Марина Гарбер

Марина Гарбер родилась в 1968 году в Киеве.

В 1989-м переехала в США.

Автор двух книг стихотворений: «Дом дождя» (Филадельфия, 1995 г.) и «Город» (Киев, 1997 г.).



Прислушайся к беззвучному. Из пыли,
Из воздуха слагаются слова.

— Мне было три, когда меня зарыли.
— Я был сожжен. Мне было ровно два.

Разговорись с придушенной болью,
Ее латала тонкая игла.
Поставь свечу под кленом — в изголовье,
Где рядом с детством старость прилегла.

И могендовид, словно шестеренка,
Проколесит по километрам свай,
И прокричит застреленным ребенком:
— Не забывай меня! Не забывай...

Всё вспоминай, до самой мелкой дрожи,
До черной корки роковой зимой.
И растворись, почувствовав — ты тоже
Замешан с пеплом, снегом и землей.

іюнь, 1997

Геннадий Беззубов

Солдаты вернулись с войны, и у них родилось поколение сыновей — для лучшей жизни, разумеется.

Сыновья выросли и стали поэтами, свидетельствующими о горестном несовершенстве бытия.

Для поэта дата рождения — уже судьба.

Поэт Геннадий Беззубов родился в 1946 году.

Живущий ныне в Иерусалиме, Беззубов большую часть жизни прожил в Киеве и Ленинграде. По классической строгости и выверенности стиха, по утонченной стиховой культуре он принадлежит скорее к санкт-петербургской поэтической традиции.

Подобно тому, как бывает незаслуженно громкая слава, у Беззубова — незаслуженно малая известность. Лишь редкие небольшие подборки стихов удалось провести ему в печать в Украине и России. Первые две книги Беззубова вышли в Израиле.

Стихи Беззубова — непрерывный лирический дневник, тихая иерогама нашего современника, бесконечно чувствительного к мельчайшим пульсациям эпохи. Непрерывный в буквальном смысле: для понимания этой поэзии важны не только отдельные стихотворения — лирические кинокадры, но и неразрывность стихового потока, сама эта лирическая кинолента. К сожалению, альманах не имеет возможности представить ее в достаточном объеме, но берет на себя приятную обязанность и впредь знакомить читателя со стихами Геннадия Беззубова.



Эти птицы поют и в Субботу,
Им запрета на то не дано,
Рассыпают рулады без счету
И ни звука — на хлеб и вино.

Между крошек и солнечных пятен,
Пропадающих в винном дыму.
Пробирается день, непонятен
Ни другим, ни себе самому.

Торопливою дробью освистан,
А потом оглушительно тих,
Ничего он не даст атеистам,
Ничего не попросит у них.

Птицам что? Птицы смолкнут, отплакав,
 И вспорхнут, и слетят в темноту.
 Имена благовоний и злаков
 Непреклонно зажавши во рту.

октябрь, 1996



Сын ресторатора и внук портного,
 Что смыслил я в литературной каше,
 В словесной несъедобной мещанине?
 Я думал, что поэты – это, это...
 Ну, что-то небывалое, другое.
 Я трепетал, я ничего не помнил,
 Ну, может, кроме строчки Мандельштама,
 Сидевшей в сердце золотой занозой,
 Такой же лишней, как стрела Эрота.

Но дело было, видимо, не в этом.
 Совсем не то выращивало душу
 Из ничего, из вытертой брускатки,
 Из битого стекла за туалетом,
 На вытоптанном козами откосе,
 Из длинного хвоста за керосином,
 Из духоты дворового футбола,
 И из одышки поезда ночного
 На долгих-долгих заоконных стыках,
 Из нищеты глухого пробужденья
 В чужих домах, под взорами косыми.
 Вот потому я детства и не помню.
 И незачем запоминать. Ну, было.
 Да кончилось. И нечего об этом.

март, 1997

*Семену Гринбергу*

Но все мешало спать – ночные скрипты,
Дух жареного с улицы Агриппы,
Растущий свет и гаснущая тьма.
И я в нее ступил – вдали с холма
Стекала под гору цепочка фонарей.
Тех, что порой не гаснут до полудня
И раздражают потому острой.
А ночью свет слоист, навроде студня,
Застывшего средь лавровых ветвей.

Под утро же белесые ряды
Бараков сумрачных нисходят, холодея,
В строфическом порядке, на манер
Куртина версальских, павловских шпалер,
Внедренных в жар пустынной Иудеи
По прихоти. Без видимой нужды.

Так думал я и пил, как вурдалак,
Ночную кровь из жил Йерусалима.
А там, внизу, слоились облака
И сбившись в кучу, проходили мимо.
Чтоб город пересечь во всю длину,
До крайнего холма. Издалека
Казалось мне, что кто-то там вслепую
Ведет по струнам пальцами, со мной
Перекликаясь через городскую,
Рассветную, живую тишину.

июль, 1997

Роза Ауслендер

Роза Ауслендер (1901, Чернівці – 1988, Дюссельдорф) — всесвітньо відома поетеса, володарка багатьох літературних відзнак і премій, автор великої кількості поетичних збірок та зібрань творів. На жаль, її творчість майже невідома в Україні. Це тим приkrіше, що поетеса народилася і прожила значну частину життя саме в Україні, в Чернівцях, і це значною мірою визначило і її поетичний світ, і долю. Тут, у «четириромових Чернівцях», як визначає сама поетеса, вона обрала одну, що стала рідною мовою її поезії — німецьку.

Важки випробування чекали на неї протягом життя: їй довелося зазнати й гіркоти еміграції, й страшного існування у фашистському гетто і втрати близьких і рідних... Часом життя ставало нестерпним і, здавалось, поезія вже ніколи не повернеться до нового. Та саме поети дозвели, що життя невмирує. І серед них — Роза Ауслендер. Її поезія напружена, часто трагічна, але в ній завжди є місце надії. Сьогодні ми знайомимо наших читачів з віршами різних років, що вперше лунають українською мовою. Переклав їх поет Петро Рихло для збірки «Час фенікса».

«Я ОСВІДЧУЮТЬ В ЛЮБОВІ...»



Горяť кохання ягоди червоні
огнем жаги, як келихи вина.
Я п'ю тебе, немов росу в бутоні,
а ти мене спиваєш аж до дна.

Ми скуштували радість насолоди,
п'янкий нектар, що душу окриля.
Відкрились понад нами небозводи,
а попід нами вигнулась земля.

Ти — мій єдиний зоряний коханий.
Колись ми знали ці солодкі рани —
знемогу втіхи, втіху до знемог.

Ми будем довго-довго раювати
і на землі, і в неземних палатах,
де ще до віку поселив нас Бог.

ЧЕРНІВЦІ

Історія в горіховій шкаралуші

Місто на схилах у сукні зеленій
Дроздів непідробні трелі

Дзеркальний короп
приправлений перцем
мовчав п'ятьма мовами

Циганка
читала нам долю
на картах

Діти монархії
під чорно-жовтим стягом
марили про німецьку культуру

Легенди Баал-Шема
Чудеса з Садагури

Після червоної рокіровки
міняються барви

Валах прокидається –
й знов засинає
Семимильні чоботи
в нього під ложем – чимдуж утікає

В гетто
Бог подав у відставку

Знов переміна знамен:
Молот навпіл розколює втечу
Серп стинає час на сіно.

НЕЗРЯЧЕ ЛІТО

Троянди пахнуть гірко-пурпурово
На цілім світі – полинове літо

Чорнильним соком світиться ожина
і шерсть ягняті ніжна мов пергамент

Вогонь малини тихо загасає —
на цілім світі — попелясте літо

Блукають люди із погаслим зором
понад рікою берегом іржавим

Вони чекають білої голубки
з чужого недосяжливого літа

На міст із педантичного металу
ступити можна тільки кроком маршу

Свій шлях на південь ластівка згубила —
на всій землі стойть незряче літо

ЩОБ СВІТЛО НАС НЕ КОХАЛО

Вони прийшли
з піками пропорів і пістолями
розстріляли всі зорі й місяць
щоб світла для нас не стало
щоб світло нас не кохало

I тоді ми гуртом поховали сонце
Настало вічне затемнення

ЛУНКОГОЛОСЕ МОВЧАННЯ

Дехто з них врятувався

Крізь ніч
стреміли руки
цегляно-червоні від крові
замордованих

То була лункоголоса вистава
образ пожежі
вогненної музики
Потім смерть вже умовкла
Умовкла

То було лункоголосе мовчання
З-поміж галуззя дерев
посміхалися зорі

Уцілілі чекають у гавані
Хвиля гойдає потрощені кораблі
Вони наче колиски
без матері і дитини

ЗАПОВІТ

Із колиски
покотились мої зіниці
прямісінько в Прут

Я рахую
свої маєтки
7 пагорбів Риму
50 абстрактних зірок Америки
розділений Єрусалим
свою могилу на Буковині

Вчора троянди з морозу
на вікнах гетто
нині для мене
досить і терня

Своє майбутнє
 заповідаю
 циганам
 золотооким
 зневажуваним мандрівцям
 яких годує прийдешнє
 з рук до уст
 з уст
 у майбутнє

36 ПРАВЕДНИХ

Єврейська легенда

36 праведних

утримують рівновагу
 землі
 яка нас тримає
 в стані невпинного
 бунту

На своїх раменах
 несуть

36 праведних

гріховну
 землю

Сховані в затінку своїх чеснот
 відвертаючи зло
 підносять

36 праведних

гріховну землю
 до світла

Незнані вони
 і непізнані будуть повік

36 праведних

ФЕНИКС

Фенікс
народ мій
спалений

воскреслий
під кипарисами
й помаранчами

Мед
найгіркіших бджіл

Соломонова пісня
прадавній пейзаж
горбами окрілений
у відлунні
Нового Єрусалима

За Стіною ридань
час фенікса
палахкоче

КРИНИЦЯ

На спопелілім дворі
стоїть криниця
повна сліз

Хто наплакав її

Хто вип'є
спрагу її до дна

ОСВІДЧЕННЯ

Я освідчується в любові

до землі та її
небезпечних загадок

до снігу дощу
дерева гір

до материнських убивчого
сонця води та її
нестачі

до молока і хліба

до поезії
яка пряде казку про
людину

до людини

освідчуєсь
усіма словами
які мене сотворили

БУКОВИНА II

Ландшафт
що створив мене

з руками рік
 волоссям лісів
пагорбами чорниці
темними наче мед

Чотиримовний збратаний
спів
у розламаний час

Розплівши коси
котять літа
на затоплений берег

ЄРУСАЛИМ

Як тільки я вивішу проти сходу
свій біло-блакитний шарф
Єрусалим прилине до мене
з Храмом і Піснею над піснями

Мені від роду п'ять тисяч літ

Мій шарф
моя гойдалка

Як тільки заплющу очі
супроти сходу
Єрусалим прилине до мене
на пагорбах
в помаранчевім ароматі
йому від роду п'ять тисяч літ

Однолітки
ми з ним бавимось
у повітрі

ЗНОВУ

Перетвори мене знов
у воду

Хочу текти
рікою

в море
впадати

БУКОВИНА III

Зелена матінка
Буковина
Метелики у волоссі

Пий
каже сонце
рожеве молоко кавунів
біле молоко кукурудзи
я іх наснажило цукром

Фіолетові шишки сосен
помах крил у повітрі птахи і листя

Карпатський хребет
лагідно
просить тебе
до себе

Чотири мови
четириохмовні пісні

Люди
що лагодять між собою

НЕ КАМІНЬ НЕ ДЕРЕВО

Ти не камінь
а відчуваєш
його вогнисте ядро

Ти не дерево
а знайомий
з його гіллястими
голосами

Людина
людині
Бог
говорив Спіноза

ХТО Я

Коли я у відчай
я пишу вірші

Коли я щаслива
вірші пишуться
у мені

Хто ж я
коли
не пишу

ПРОСТИР II

Є ще простір
для вірша

Ще вірш
є простором

де можна дихати

МАТЕРИЗНА

Моя вітчизна померла
вони поховали її
в вогні

Я живу
у своїй материзні —
слові

АВТОПОРТРЕТ

Юдейська циганка
німецькомовна
вихована
під чорно-жовтим стягом

Кордони мене закидали
до латинян до слов'ян
американців германців

Європо
в твоєму лоні
я вимарюю
свое друге народження

СПІНОЗА

Мого святого
зовуть Бенедикт

Він
обточив
світобудову

Безконечний кристал
з серця якого
яріє сяйво

КОЛИ Я ПОМРУ

Коли я помру
сонце світитиме далі

Небесні тіла
обертатимуться за своїми законами
навколо центру
якого ніхто не віда

Солодко як завжди
пахнущиме бузок
сніг сліпитиме білими блискавками

Коли я піду
з цієї безпам'ятної землі
чи будеш ти моє слово
бодай хвильку
мене боронити?

АЛЕ Я ЗНАЮ

Чи була я метеликом
до свого народження
деревом
чи зорею

Я забула

Але я знаю
що я була
і буду

Мить
у вічності

БУКОВИНА IV

Зелений лісовий діамант
північ — діброви
повні пташиного співу

Південь —
м'яка прохолода
Сосни трикутник гір

Край чотиримових пісень

Неквапливі люди
їхні лагідні погляди
кружляють
довкола багатоликої
материзни

ДОВОЄННІ ЧЕРНІВЦІ

Мирне місто на пагорбах
оторочене буковими лісами

Верби вздовж Пруту
дараби й плавці

В травні густий аромат бузку

Доокруж ліхтарів
хрущі танцюють свій смертний
тан

Чотири мови
уживаються вкупі
голублять повітря

Як щасливо дихало
місто
поки не впали бомби

СПАДОК

Пора
розділити спадок

візьми собі
смертне
яблуко
і
бесмертне
слово

ДЛЯ ВІЙНИ

У крамниці
де всього вдосталь
я купила
годину майбутнього

Шістдесят
мобільних хвилин
для війни
з часом

ГЕНЕАЛОГЧНЕ ДЕРЕВО

Я нащадок роду левітів
моє дерево
має десять галузок
розкрілено
на його листках
написана Тора
коріння сягає
до неба

ВАТИКАН І КАТАСТРОФА

Пропонуємо нашим читачам важливий документ Ватикану «Ми пам'ятаємо: роздуми про Катастрофу», виданий у квітні 1998 р. Комісією релігійних відносин з єреями. Значення документу підкреслюється у листі Папи Івана Павла II до президента цієї комісії кардинала Едварда Ідріс Кассіді та його колег.

Це давно очікуване послання викликало інсаву дискусію в світі. Вона знайшла найбільш повне відображення на засіданнях 92-х юрічних зборів Американського єрейського комітету, що відбулися у травні 1998 р. Находимо повні тексти листа Папи, самого послання та виступів на зборах АЕК кардинала Кассіді та Мартіна С. Каплана від комісії з міжрелігійних справ АЕК. Документи вперше перекладено українською мовою спеціально для «Єгупця» Зиновієм Антонюком та Оксаною Зубаревою.

**Моєму Преподобному Братові
Кардиналу Едвардові Ідріс Кассіді**

Дуже часто за час свого понтифікату я згадував з почуттям глибокої скорботи страждання єрейського народу під час другої світової війни. Злочин, що став відомий під назвою Катастрофа, залишається незмінною плямою в історії сторіччя, що добігає кінця.

Готуючись до початку третього тисячоліття християнства, Церква усвідомлює, що радість ювілею це перш за все радість прощення гріхів та примирення з Богом та близькими. Тому вона заохочує своїх синів і дочок очистити свої серця через покаяння у своїх минулих помилках і гріхах. Вона закликає їх до уклінності перед Господом і перевірки себе на відповідальність, яку вони теж мають за гріхи нашого часу.

Маю палку надію, що документ «Ми пам'ятаємо: роздуми про Катастрофу», підготований Комісією релігійних відносин з єреями під Вашим керівництвом, насправді допоможе запікувати рані минулих непорозумінь і несправедливостей. Зможе допомогти пам'яті відіграти свою необхідну роль в процесі формування майбутнього, в якому невимовне беззаконня Катастрофи ніколи не буде можливим. Нехай Господь історії скерує зусилля католиків та єреїв, і всіх людей доброї волі, в їхній спільній праці на створення світу, де справді поважалися б життя і гідність кожної людської істоти, бо всі ми створені за образом та подобою Божою.

3 Ватикану, 12 березня 1998 р.
Іван Павло II

**КОМІСІЯ РЕЛІГІЙНИХ ВІДНОСИН З ЄВРЕЯМИ
МИ ПАМ'ЯТАЄМО:
РОЗДУМИ ПРО КАТАСТРОФУ**

I. Трагедія катастрофи і обов'язок пам'яті

Двадцятий вік швидко наближається до закінчення і незабаром настане світанок нового тисячоліття християнської ери. 2000-а річниця народження Ісуса Христа закликає всіх християн, насправді закликає всіх людей спробувати пізнати в ході історії ознаки праці Божої, а також напрямки, в яких образ Творця в людині було ображено та спотворено.

Ці роздуми стосуються однієї з основних сфер, в яких католики можуть серйозно прийняти до серця заклики папи Івана Павла II, що звучать в його апостольському листі «*Tertio Millennio Adveniente*» (Наближення третього тисячоліття): «В кінці другого тисячоліття необхідно, щоб Церква повніше усвідомила гріховність своїх дітей, згадуючи всі ті випадки, коли вони відходили від духу Христа та Його Євангелії, і, замість того, щоб свідчити світові про життя, натхненне цінностями віри, розпускали себе в думках і діях, тим самим засвідчуючи про протилежне і ганьблячи себе»¹.

Це сторіччя було свідком невимовної трагедії, яка ніколи не може бути забута, — спроби нацистів знищити єврейський народ, в результаті чого було вбито мільйони євреїв. Жінки і чоловіки, старі і малі, діти і немовлята тільки через своє єврейське походження були гнані і депортовані. Деяких було вбито негайно, а інших — принижували, жорстоко поводилися, повністю позбавляючи людської гідності, мучили і лише пізніше знищували. Дуже небагато з них, хто попадав у табір, виживали, а ті, кому це вдалося, залишилися психічно травмованими на все життя. Це була Катастрофа. Це була основна подія історії цього століття, яка все ще хвилює нас і сьогодні.

Перед лицем цього страшного геноциду, в який важко було повірити свого часу, коли його було безжалісно запущено, керівникам держав і самої єврейської спільноти, ніхто не міг залишатися байдужим і поготів Церква — через дуже тісні духовні зв'язки з єврейським народом та пам'ять про несправедливості в минулому. Взаємини Церкви з єврейським народом не схожі на її взаємини з жодною іншою релігією². Проте справа не лише в минулому. Спільне майбутнє євреїв і християн вимагає, щоб ми пам'ятали, бо «немає майбутнього без пам'яті»³. Сама історія — це *memoria futuri* (спогади про майбутнє).

1 Папа Іван Павло II. Апостольське послання «*Tertio Millennio Adveniente*», 10 листопада 1994 р., 33: AAS 87(1995), 25.

2 Папа Іван Павло II. *Промова в синагозі Риму*, 13 квітня 1986 р., 4: AAS 78(1986), 1120.

3 Папа Іван Павло II. «*Angelus Prayer*» (Моління ангелів), 11 червня 1995 р.: 18/1, 1995, 1712.

Звертаючись цими роздумами до наших братів і сестер католицької Церкви в усьому світі, ми просимо всіх християн приєднатися до нас, роздумуючи про Катастрофу, що випала на долю єврейського народу, і, кажучи про моральний імператив, зробити все можливе, щоб егоїзм і ненависть ніколи більше не сягнули такої межі, щоб сіяти такі страждання і смерть⁴. Більше того, ми просимо наших єврейських друзів, «чия жахлива доля стала символом помилок, притаманних людині, коли вона відвертається від Бога»⁵, вислухати нас з відкритим серцем.

ІІ. Що ми повинні пам'ятати?

Як унікальний свідок Святого Ізраїлю і Тори єврейський народ багато страждав в різні часи та в різних місцях. Але Катастрофа стала, звичайно, найстрашнішим випробуванням з усіх. Нелюдськість, з якою євреї гнали та знищували в цьому сторіччі, входить за межі можливості висловити словами. І все це койтося з одної лише причини, що вони були єреями.

Самі розміри злочину викликають безліч запитань. Історики, соціологи, політологи, психологи та теологи, — усі намагаються більше довідатися про те, чим насправді була Катастрофа, та про її причини. Багато ще залишилося невивченим. Але таку подію неможливо виміряти лише звичайними критеріями історичного дослідження. Тут потрібна «моральнісна та релігійна пам'ять», а також, особливо для християн, дуже серйозні роздуми над тим, що могло її викликати.

Той факт, що Катастрофа стала в Європі, тобто в країнах, де здавен існує християнська цивілізація, ставить питання про пов'язаність між нацистськими гоніннями і ставленням християн до єреїв, яке складалося упродовж віків.

ІІІ. Відносини між єреями і християнами

Історія християнсько-єврейських відносин завжди була джерелом гризоти. Його Святість Папа Іван Павло II визнав цей факт у своїх неодноразових закликів до католиків оцінити своє ставлення до єврейського народу⁶. Дійсно, за дві тисячі років терези цих відносин не були в рівновазі⁷.

На початку зародження християнства, після розп'яття Ісуса Христа, почалися суперечки між ранньою Церквою та єврейськими лідерами і народом, що у своїй відданості Законові чинили запеклий опір проповідни-

⁴ Папа Іван Павло II. *Звернення до єврейських лідерів у Будапешті*, 18 серпня 1991 р., 4: розділ 14/2, 1991, 349.

⁵ Папа Іван Павло II. Енцикліка «*Centesimus Annus*» 1 травня 1991 р., 17: AAS 83 (1991), 814–815.

⁶ Папа Іван Павло II. *Звернення до делегатів єпископальних конференцій з католицько-єврейськими взаєминами*, 6 березня 1982 р.: розділ 5/1, 1982, 743–747.

⁷ Папського Престолу Комісія релігійних відносин з єреями. *Записки про правильне подання єреїв та юдаїзму у проповідях та катехізисах римокатолицької Церкви*, 24 червня 1985 р., VI, 1: Ench. Vat. 9, 1956.

кам Євангелії та першим християнам. У язичницькій Римській імперії євреї були захищені законом, дарованим імператором, і влада спочатку не робила розрізень між єврейською та християнською громадами. Але незабаром християни почали зазнавати гонінь з боку держави. Згодом, коли самі імператори прийняли християнство, вони попервах гарантували привілеї євреям. Але християнська чернь, що нападала на язичницькі храми, іноді те ж саме чинила і з синагогами, зазнаючи впливу деяких інтерпретацій Нового Заповіту, що стосувалися євреїв в цілому. «У християнському світі — я не кажу конкретно про Церкву як таку — помилкові та несправедливі тлумачення Нового Заповіту щодо євреїв і нібито їхньої вини надто довго перебували в обігу, породжуючи ненависть до цього народу»⁸. Такі інтерпретації Нового Заповіту були повністю і остаточно відкинуті Другим Ватиканським Собором⁹.

Попри християнську проповідь любові до всіх, навіть до своїх ворогів, ментальність, що превалювала упродовж віків, ставила у невигідне становище меншини і всіх тих, котрі якоюсь мірою були «іншими». Почуття анти-юдаїзму, що панували в деяких християнських кварталах, і прірва, що розділяла Церкву і єврейський народ, привели до загальної дискримінації, яка іноді закінчувалася вигнаннями або спробами насильницького навернення в християнство. В переважній частині «християнського» світу, аж до закінчення XVIII століття, нехристияни рідко діставали гарантований юридичний статус. Незважаючи на це, євреї в усьому християнському світі дотримувалися своїх релігійних традицій і звичаїв. Тому на них дивилися з деякою долею підозри та недовіри. В часи кризи, як, наприклад, голоду, вогні, епідемій чи напружені соціальних взаємин, єврейська меншина сприймалася іноді як офірний козел і ставала жертвою насильства, навіть убивств.

Наприкінці XVIII та на початку XIX століття євреї, в основному, досягли рівності з іншими громадянами в більшості держав, а деякі з них посіли впливове становище в суспільстві.

Але в тому ж історичному контексті, особливо в XIX столітті, посилившіся хибний націоналізм. В епоху постійних соціальних змін євреї часто звинувачували в тому, що вони мають непропорційний до їхньої кількості вплив. Так по Європі став різною мірою ширитися анти-юдаїзм, який по суті своїй був більше соціальним та політичним, аніж релігійним.

В той же період почали з'являтися теорії, що заперечували єдність людського роду та стверджували споконвічну відмінність рас. У XX столітті націонал-соціалізм в Німеччині використав ці ідеї як псевдонаукову основу для розділення всіх на так звані нордично-арійські раси та решту здогадно нижчих рас. Більше того, скрайня форма націоналізму посилилася в Німеччині з поразкою 1918 року та умовами, які диктували пере-

⁸ Папа Іван Павло II. Промова на симпозіумі про корені анти-юдаїзму, 31 жовтня 1997 р., 1; газета «L'Osservatore Romano», 1 листопада 1997 р., стор. 6.

⁹ Другий Ватиканський Собор, «Nostra Aetate», 4.

можці. Наслідком цього було те, що багато хто вбачав у націонал-соціалізмі вирішення проблем їхньої країни і співпрацював з цим рухом.

У відповідь Церква в Німеччині засудила расизм. Спочатку це засудження лунало у проповідях деяких представників духовенства, в публічних виступах католицьких єпископів та у статтях журналістів-католиків. Уже в лютому та березні 1931 року кардинал Вроцлавський Бертрам, кардинал Фаулгабер та єпископи Баварії, єпископи провінції Кельц, а також провінції Фрейбург видали пасторські листи, що засуджували націонал-соціалізм з його ідолопоклонством расі та державі¹⁰. Добре відомі Різдвяні проповіді Фаулгабера, які звучали у 1933 році — тому самому, коли націонал-соціалізм прийшов до влади, і на які ходили не тільки католики, а й протестанти та євреї, одверто відкидали нацистську антисемітську пропаганду¹¹. На початку «Kristallnacht» (Кришталевої ночі) Бернард Ліхтенберг, настоятель Берлінського кафедрального собору, запропонував публічні молитви за євреїв. Пізніше він помер у Дахау і був оголошений Блаженим. Папа Пій XI також твердо засудив нацистський расизм у своїй енцикліці «Mit brennender Sorge» (З гарячим сподіванням)¹², яку було прочитано в німецьких церквах у Вербну Неділю 1937 року, — крок, що викликав нападки і санкції проти духовенства. Звертаючись до групи бельгійських паломників 6 вересня 1938 р., Пій XI доводив: «Антисемітизм неприйнятний. Духовно ми всі семіти»¹³. Пій XII у своїй найпершій енцикліці «Summi Pontificatus» (Від імені Понтифіка)¹⁴, датованій 20 грудня 1939 року, застерігав проти теорій, що заперечували єдність людської раси та обожнювали державу — вбачаючи, що все це веде до справжнього «часу пітьми»¹⁵.

IV. Антисемітизм нацистів і Катастрофа

Таким чином, ми не можемо ігнорувати існування відмінностей між антисемітизмом, що базувався на теоріях, суперечних з постійним вченням Церкви про єдність людської раси і однакову гідність всіх рас і народів, та тим, що ми називаємо анти-юдаїзмом — давно існуючими почуттями недовіри і ворожості, в яких християни, на жаль, також винні.

Ідеологія націонал-соціалізму пішла навіть далі в тому розумінні, що вона відмовилася визнавати будь-яку трансцендентну реальність як джерело життя і критерій морального добра. В результаті цього людська група, ототожнювана з державою, привласнила собі статус абсолютної і вирішила позбутися самого існування єврейського народу, народу, поклика-

¹⁰ B.Statiewski (Ed.) *Akten deutscher Bischöfe über die Lage der Kirche, 1933–1945*, vol. I, 1933–1934 (Mainz 1968), Appendix.

¹¹ L.Volk. *Der Bayerische Episkopat und Nationalsozialismus 1930–1934* (Mainz 1966), стор. 170–174.

¹² Енцикліка від 14 березня 1937 р.: AAS 29 (1937), 145–167.

¹³ «La Documentation Catholique», 29 (1938), col. 1460.

¹⁴ AAS 31 (1939), 413–453.

¹⁵ Ibid. 449.

ного свідчити про єдиного Бога і Закон Заповіту. На рівні теологічного розмірковування ми не можемо ігнорувати той факт, що немало членів нацистської партії не тільки проявляло відразу до ідеї Божого Провидіння, що діє в людських діяннях, а й ставилося з явною ненавистю до Самого Бога. Природно, таке ставлення вело до відкидання і християнства і прагнення знищити Церкву або принаймні підпорядкувати її інтересам нацистської держави.

Саме ця скрябна ідеологія стала основою наступних дій, скерованих спершу на вигнання єреїв з їхніх домівок, а згодом і на їх знищення. Катастрофа стала справою цілком сучасного неоязичницького режиму. Коріння його антисемітизму було поза християнством, і для досягнення своїх цілей, він не роздумуючи протидіяв Церкві, переслідуючи також і її членів.

Але виникає законне запитання: чи не полегшив нацистські переслідування єреїв той факт, що антиєрейські забобони заповнювали розум та серце християн? Чи не зробили антиєрейські почуття християн менш чутливими і навіть байдужими до переслідування єреїв, коли націонал-соціалізм прийшов до влади?

Будь-яка відповідь на ці запитання повинна взяти до уваги той факт, що маємо справу з історією людських взаємин та способом мислення, який зазнає величезного впливу суб'єкта. Більше того, багато людей і не підозрювали про «остаточне розв'язання єрейського питання», яке втілювалося в життя проти цілого народу, інші боялися за себе і своїх близьких, треті просто користувалися станом речей, а деякими керувала заздрість. Відповідь тут треба давати виходячи з кожного окремого випадку. А для того, звичайно, потрібно знати, що саме керувало людьми в кожній конкретній ситуації.

Спочатку лідери Третього Рейху хотіли вислати єреїв за межі своєї країни. На жаль, уряди деяких християнських західних країн, із Північною та Південною Америкою включно, не поспішали відкривати свої кордони гнаним єреям. Хоч вони і не могли передбачити, як далеко зайтимуть нацистські главарі у своїх злочинних задумах, лідери цих націй знали про тяжкі випробування та небезпеки, яким піддаються єреї на території Третього Рейху. Закриття кордонів перед єрейськими емігрантами за цих обставин, — незалежно від того, чи відбулося це через антисемітську ворожість і підозри, політичне боягузство та недалекоглядність чи національний егоїзм, — лягає важким тягарем на совість цих лідерів.

На тих територіях, де нацисти вдалися до масових депортаций, жорстокість, з якою беззахисних людей примушували переїжджати з місця на місце, повинна була викликати найгірші підозри. Чи надавали християни всю можливу допомогу гнаним, зокрема, гнаним єреям?

Багато хто це робив, у той час як інші — ні. І тих, хто намагався врятувати життя єреям — наскільки це було в їхніх силах, навіть наражаючи своє життя на небезпеку, — не можна забувати. Під час і після війни єв-

рейські громади та єврейські лідери висловлювали свою вдячність за все, що було зроблено для них доброго, включно з тим, що папа Пій XII зробив особисто або через своїх представників для врятування сотень тисяч єврейських життів¹⁶. Багато католицьких єпископів, священиків, релігійних діячів і прихожан було вшановано державою Ізраїль за це.

Проте, як визнав і Папа Іван Павло II, поряд з такими мужніми людьми, дії та духовний спротив інших християн не можна вважати за такі, яких слід чекати від людей, що йдуть за Христом. Ми не знаємо, скільки християн в окупованих німцями та їхніми союзниками країнах зжахнулося зникненням своїх єврейських сусідів, не маючи сил піднести свої голоси протесту. Для всіх християн цей важкий тягар знання про своїх братів і сестер під час другої світової війни повинен стати закликом до покаяння¹⁷.

Ми глибоко сумуємо з помилок та гріхів синів і дочок нашої Церкви. Ми говоримо те ж, що написано в Декларації *Nostra Aetate* («Про ставлення Церкви до не-християнських релігій») Другого Ватиканського Собору, недвозначно підкреслюючи: «Церква, ...усвідомлюючи спільну з єреями спадщину і спонукана тільки євангельською духовною любов'ю, а не міркуваннями політики, засуджує ненависть, переслідування та прояви антисемітизму, що мали місце будь-коли і від будь-кого проти єреїв»¹⁸.

Ми пам'ятаємо і дотримуємося того, що говорив Папа Іван Павло II, звертаючись до лідерів єврейських громад у Страсбурзі 1988 р.: «Я знову і знову засуджу разом з вами антисемітизм і расизм, що суперечать принципам християнства»¹⁹. Тому католицька Церква відкидає будь-яке гоніння народу чи групи людей у будь-якому місці і в будь-який час. Вона

16 Мудрість дипломатії папи Пія XII було публічно визнано в ряді випадків єврейськими організаціями і окремими особами. Наприклад, 7 вересня 1945 р. доктор Джозеф Натан, що представляв італійську єврейську комісію, сказав: «Найперше ми вдячні Римському Папі і віруючим людям, які виконують вказівки Святого Отця, визнали гнаних за своїх братів і, докладаючи зусиль, і терплячи злигодні, поспішили допомогти нам, не зважаючи на величезну небезпеку, якій вони себе піддавали» («*L'Ossevatore Romano*», 8 вересня 1945 р., с. 2). 21 вересня того ж року Пій XII дав аудієнцію доктору Лео Кубовицькому, Генеральному секретарю Всеєвропейського Конгресу, який приїхав висловити «Святому Отцю, від імені Союзу ізраїльських громад, найпалкішу вдячність за зусилля католицької Церкви щодо єреїв під час війни («*L'Ossevatore Romano*» 23 вересня 1945 р., с. 1). У четвер 29 листопада 1945 р. біля 80 представників єврейських біженців з різних концтаборів Німеччини на зустрічі з папою призналися, що «для них велика частина мати можливість особисто подякувати Святому Отцю за його величезність щодо гнаних під час нацистсько-фашистської окупації» («*L'Ossevatore Romano*», 30 листопада 1945 р., с. 1). У 1958 р., коли папа Пій XII помер, Голда Меїр сказала проникливі слова: «Ми поділяємо велике горе людства. Життя нашого часу збагатилося голосом, що промовляв чимало великих моральністичних істин, які переважають щоденну метушню. Ми сумуємо за великим служгою миру».

17 Папа Іван Павло II. *Звернення до нового посла Федеративної Республіки Німеччини при Папському Престолі*, 8 листопада 1990, 2: AAS 83 (1991), 587–588.

18 *Loc. cit.*, no. 4.

19 Звернення до єврейських лідерів, Страсбург, 9 жовтня 1988 р., № 8, розділ 11/3, 1988, 1134.

цілковито засуджує всі форми геноциду, а також расистські ідеології, що породжують їх. Озираючись назад на це сторіччя, ми глибоко сумуємо з приводу того насильства, що поглинуло цілі групи народів і націй. Зокрема, це стосується убивства вірмен, незліченних жертв на Україні у 1930 роках, геноциду циган, також породженого расистськими ідеями, та схожих трагедій, що мали місце в Америці, Африці та на Балканах. Не забуваємо також і про мільйони жертв тоталітаризму в Радянському Союзі, Китаї, Камбоджі та інших місцях. Не можемо забути і про драму на Близькому Сході, прояви якої усім відомі. Навіть в той час, коли ми тепер розмірковуємо над цим, «багато людських істот стають жертвами своїх побратимів»²⁰.

V. Дивлячись разом у спільне майбутнє

Дивлячись у майбутнє відносин між єреями і християнами, по-перше, ми закликаємо братів і сестер католиків оновити своє усвідомлення єрейських коренів нашої віри. Ми просимо їх не забувати, що Ісус був нащадком Давида, що Діва Марія і Апостоли належали до єрейського народу, що Церква існує на корінні тої доброї оліви, до якої прищеплено дікі пагінці оліви язичницької (див. Рим. 11:17–24), що єреї — це наші улюблені брати, а в певному розумінні вони є і нашими «старшими братами»²¹.

Наприкінці цього тисячоліття католицька Церква прагне висловити свій глибокий жаль з приводу гріхів її синів і дочок в будь-якому столітті. Це акт покаяння (тшува), оскільки як члени Церкви ми пов'язані спільними гріхами так само, як і спільними заслугами. Церква дивиться з глибоким співчуттям на приниження, Катастрофу (Шоа), пережиті єрейським народом під час другої світової війни. Це не просто слова, це — зобов'язання. «Ми ризикуємо тим, що люди знову будуть вмирати тваринною смертю, якщо у нас не буде палкого прагнення справедливості, якщо ми не присвятимо своє життя тому, щоб зло не перемагало добро, як було з мільйонами дітей єрейського народу. Людство не може дозволити всьому цьому повторитися знову»²².

Ми молимося, щоб наш жаль про трагедію, що трапилася з єреями в цьому столітті, привів до нових взаємин з єрейським народом. Ми хочемо, щоб усвідомлення минулих гріхів перетворилося на тверду рішучість будувати нове майбутнє, в якому не було б місця антисемітизму серед християн чи антихристиянським почуттям серед єреїв, а панувала б взаємна повага, — як і належить тим, хто поклоняється Єдиному Творцеві і Господу і має спільногого отця у вірі — Авраама.

20 Папа Іван Павло II. *Звернення до дипломатичного корпусу*, 15 січня 1994 р., 9: AAS 86 (1994), 816.

21 Папа Іван Павло II. *Промова у синагозі Риму*, 13 квітня 1986 р., 4: AAS 78 (1986), 1120.

22 Папа Іван Павло II. *Звернення з нагоди згадування про Катастрофу*, 7 квітня 1994 р., 3: Розділ 17/1, 1994, 897 і 893.

Наочанок ми запрошуємо всіх людей доброї волі глибоко замислитися над значенням Катастрофи. Її жертви із своїх могил, а ті, що вижили — через незабутнє свідчення пережитого, стали гучним голосом, що привертає увагу всього людства. Пам'ятати цей жахливий досвід — означає цілком усвідомити корисну пересторогу, яка міститься у ньому: не можна більше дозволити, щоб отруйні зерна анти-юдаїзму та антисемітизму закорінилися в будь-чиєму серці.

16 березня 1998 р.

*Кардинал Едвард Ідріс Кассіді
Президент*

*Високопреподобний П'єр Дюпре
Віце-президент*

*Преподобний Ремі Хекман, О. Р.
Секретар*

TYPIS VATICANIS MCMXCVIII

ВИСТУП КАРДИНАЛА КАССІДІ

1. Документ

Я радий, що маю можливість поміркувати разом із вами сьогодні вранці над документом, опублікованим 16 березня цього року комісією Папського Престолу з релігійних відносин з єреями під назвою «Ми пам'ятаємо: роздуми про Катастрофу».

Цей документ — результат процесу, що розпочався 1986 року з візиту Папи Івана Павла II до Сполучених Штатів, під час якого відбулася зустріч з єрейськими лідерами. Тоді було висунуто пропозицію, що Ватикан має видрукувати якийсь документ про відношення Церкви до Катастрофи. Ця пропозиція дісталася підтримку в Римі влітку 1987 року на зустрічі представників папської Комісії релігійних відносин з єреями та Міжнародного єрейського комітету з міжрелігійних консультацій, і мій попредник на посаді Президента Комісії погодився, що розпочнеться вивчення цього питання. Наступного дня, 1 вересня 1987 року, учасників зустрічі прийняв у Кастельгандолфо Папа Іван Павло II, який підтвердив важливість такого документа для Церкви і для всього світу.

У наступні роки Комісія релігійних відносин з єреями зосередилася на підвищенні самосвідомості в роздумах про Катастрофу розмайтими рівнями католицької Церкви і різними помісними церквами.

Робота над документом розпочалася невдовзі після того, як я очолив цю Комісію у січні 1990 року, й почали ми з думки про те, щоб створити цілісний документ, який би висловив усе те, що католицька Церква (всього світу) бажає висловити з приводу цієї величезної трагедії ХХ століття.

Але в процесі роботи ставало зрозумілім, що різні помісні церкви світу по-різному брали участь у Катастрофі. Те, що хотіла сказати Церква у

Німеччині, відрізнялося від того, що хотіла сказати з цього ж приводу Церква у Польщі, а їхні заяви були неприйнятними для Церков інших країн.

Конференції єпископів у Німеччині, Польщі, Голландії, Швейцарії, Угорщині та Франції видрукували заяви, які стосувалися загального питання, проте відрізнялися описом того, що пережили народи кожної з цих країн. Офіційний лист, з яким Церква 16 березня минулого року звернулася до італійських єреїв, повністю засуджуючи антисемітизм і глибо-ко шкодуючи з приводу того ставлення, від якого потерпали раніше єреї в Італії, відкривав Папському Престолу шлях говорити від імені всієї Церкви.

Важливо не забувати цей факт, читаючи Заяву Ватикану. Ми звертаємо наші роздуми до «братів і сестер католицької Церкви в усьому світі» і просимо «всіх християн приєднатися до нас, роздумуючи про Катастрофи, що випала на долю єрейського народу». Завершуємо ми закликом до «всіх людей доброї волі глибоко замислитися над значенням Катастрофи», стверджуючи, що «її жертви із своїх могил, а ті, що вижили — через незабутнє свідчення пережитого, стали гучним голосом, що привертає увагу всього людства. Пам'ятати цей жахливий досвід — означає цілком усвідомити корисну пересторогу, яка міститься у ньому: не можна більше дозволити, щоб отруйні зерна анти-юдаїзму та антисемітизму закорінилися в будь-чому серці».

Для об'єктивного розуміння цього документу слід пам'ятати, що у цій ініціативі наша Комісія побачила можливість допомогти католикам тих країн, що були географічно та історично віддалені від місця дії Катастрофи, усвідомити ту несправедливість, яка була виявлена християнами щодо єрейського народу, і залучити їх до участі у роботі Папського Престолу, котрий намагається створити придатні умови для появи «нового духу взаємовідносин між єреями та католиками: духу співпраці, взаєморозуміння і примирення, доброї волі й спільноти мети — замість духу підозри, образ і недовір'я, що панував досі»²³.

У «Вказівках та пропозиціях щодо застосування окружної декларації «*Nostra Aetate* № 4», видрукованих 1 грудня 1974 р., Комісія релігійних відносин з єреями нагадала, що «Рада зробила цей крок за обставин, на які дуже впливає пам'ять про переслідування і вбивства єреїв, що мали місце в Європі до та під час другої світової війни». У «Вказівках», проте, зазначається, що «проблема християнсько-єрейських відносин стосується Церкви як такої, оскільки, «розмірковуючи над власною таємницею», вона стикається з таємницею Ізраїлю. Тому це лишається важливою проблемою навіть у тих регіонах, де немає єрейського населення».

²³ Остання заява зборів Міжнародного комітету із зв'язків між католиками та єреями (МКС) у Празі, 1990 р., Служба інформації Папської ради із християнської єдності, № 75 (1990 р.), с. 176.

Такий документ за самою своєю суттю мав би привернути увагу, а не відштовхнути тих, до кого був звернений. Як я казав під час презентації цього документу 16 березня, його слід розглядати як «чєрковий крок на шляху, позначеному Другим Ватиканським Собором у наших відносинах з єврейським народом», і я висловив особливу надію на те, що він «насправді допоможе залікувати рани минулих непорозумінь і несправедливостей»²⁴.

2. Про що йдеться в документі?

З нагоди наближення кінця цього християнського тисячоліття та початку третього християнського тисячоліття, у своєму апостольському посланні «Terito Millenio Adveniente» Іван Павло II закликав Церкву повинше усвідомити «гріховність своїх дітей, згадуючи всі ті випадки, коли вони відходили від духу Христа та Його Євангелії, і, замість того, щоб свідчити світові про життя, натхнене цінностями віри, розпускали себе в думках і діях, тим самим засвідчуючи про протилежне і ганьблячи себе»²⁵.

Документ «Ми пам'ятаемо: роздуми про Катастрофу» повинен прочитуватися саме в такому контексті. Справді, він стосується важливої царини, де католики повинні прийняті до серця заклик Папи. У той час, коли ніхто не може лишатися байдужим до «невимовної трагедії» спроби знищенні єврейського народу нацистським режимом тільки тому, що вони були єреями, Церква має особливий обов'язок розмірковувати над цим «страшним геноцидом» «через дуже тісні духовні зв'язки з єврейським народом та пам'ять про несправедливості в минулому». Більш того, «Катастрофа сталася в Європі, тобто в країнах, де здавен існує християнська цивілізація».

Це, як стверджує документ, порушує питання про зв'язок між нацистськими переслідуваннями і тим ставленням, яке складалося у християн до єреїв упродовж століть. У такому короткому документі неможливо було хоча б коротко зупинитися на історії цих відносин, проте в тексті чітко визнається, що у ставленні Церкви до єреїв переважав анти-юдаїзм. Визнаються також «помилкові та несправедливі тлумачення Нового Заповіту щодо єреїв і нібито їхньої вини», «загальна дискримінація, яка іноді закінчувалася вигнаннями або спробами насильницького навернення в християнство», підозри, недовіра, а «в часи кризи, як, наприклад, голоду, воєн, епідемій чи напружені соціальних взаємин, єврейська меншина сприймалася іноді як офірний козел і ставала жертвою насильства, навіть убивств».

²⁴ Лист Папи Івана Павла II Кардиналу Кассіді з нагоди публікації «Ми пам'ятаемо: роздуми про Катастрофу».

²⁵ Апостольський лист Папи Івана Павла II «Terito Millenio Adveniente», 10 грудня 1994 р., 33: AAS 87 (1995 р.), 25.

Засмучуючись анти-іудаїзмом, документ розмежовує його та антисемітизм 19 і 20 ст., який був заснований на расизмі та скрайніх формах націоналізму, тобто на теоріях, що суперечать постійному вчення Церкви про єдність людської раси та однакову гідність усіх рас і людей. Антисемітизм нацистів став результатом сучасного неоязичницького режиму, чиє коріння було поза християнством, і який для досягнення своєї мети, не розмірковуючи, опирався Церкви, переслідуючи також і її членів. Нацисти збиралися «знищити єврейський народ... тільки тому, що вони євреї».

Документ зовсім не намагається заперечувати, що «єврейський народ, який є унікальним свідком Святого Ізраїлю і Тори, дуже настраждався у різні часи і в різних місцях». Але Катастрофа стала, звичайно, найстрашнішим випробуванням для всіх. Нелюдськість, з якою євреїв гнали та знищували у цьому сторіччі, виходить за межі можливості передати її словами. I все це робилось тільки з одної причини — тому що вони були єреями.

Це, звичайно, не означає, що той факт, що антиєврейські забобони наповнювали розум і серця християн, не полегшив для нацистів переслідування євреїв. Документ ясно визнає і це. Проте ми все-таки стверджуємо, що перед тим як звинувачувати народ в цілому або його окремих індивідуумів, необхідно знати, чим саме керувались вони у кожній конкретній ситуації.

У Церкви були люди, що робили усе від них залежне, аби врятувати євреїв, навіть ризикуючи власним життям. Проте чимало було тих, які цього не робили. Деякі боялися за себе та своїх близьких; інші користалися з ситуації; а декотрими керувала заздрість. Хочу процитувати документ з цього ключового моменту:

«Проте, як визнав і Папа Іван Павло II, поряд з такими мужніми людьми, дії та духовний спротив інших християн не можна вважати за такі, яких слід чекати від людей, що йдуть за Христом. Ми не знаємо, скільки християн в окупованих німцями та їхніми союзниками країнах зажахнулося зникненням своїх єврейських сусідів, не маючи сил піднести свої голоси протесту. Для всіх християн цей важкий тягар знання про своїх братів і сестер під час другої світової війни повинен стати закликом до покаяння. Ми глибоко сумуємо з помилок та гріхів синів і дочок нашої Церкви».

«Наприкінці цього тисячоліття католицька Церква прагне висловити свій глибокий жаль з приводу гріхів її синів і дочок в будь-якому столітті. Це акт покаяння (тшува), оскільки як члени Церкви ми пов'язані спільними гріхами так само, як і спільними заслугами».

Не забуваючи минулого, документ Ватикану дивиться у майбутнє нових відносин між єреями та християнами, нагадуючи членам Церкви про єврейські корені їхньої віри та про те, що єреї — це наші вузь люблені брати, а в певному розумінні вони є і нашими «старшими братами»²⁶.

²⁶ Папа Іван Павло II, промова у синагозі Риму 13 квітня 1986 р., 4: AS (1986 р.), 1120.

«Ми пам'ятаємо...» завершується молитвою про те, щоб наш «жаль про трагедію, що трапилася з єреями в цьому столітті, привів до нових взаємин з єрейським народом. Ми хочемо, щоб усвідомлення минулих гріхів перетворилося на тверду рішучість будувати нове майбутнє, в якому не було б місця антисемітизму серед християн чи антихристиянським почуттям серед єреїв, а панувала б взаємна повага, — як і належить тим, хто поклоняється Єдиному Творцеві і Господу і має спільногого отця у вірі — Абраама».

3. Ставлення цього документа до інших подібних заяв

Документ «Ми пам'ятаємо: роздуми про Катастрофу» не повинен розглядатися як останнє слово з усіх питань, які було порушено у цих роздумах. Хоча жодної подібної заяви від Ватикану не передбачається у найближчому майбутньому, я впевнений, що цей документ спричинить появу нових досліджень і дискусій. І це вже відбувається впродовж певного часу, коли історики публікують важливі статті про Папу Пія XII і другу світову війну. В документі зазначено, що «багато ще лишилося невивченим».

Важливо також не брати цей документ окремо від усіх інших, видрукованих конференціями єпископів у декількох європейських країнах, а також окремо від чималої низки заяв, зроблених Папою Іваном Павлом II упродовж його понтифікату. Ці тексти не суперечать один одному. Є різниця в акцентах та наголосах, що залежить, як я уже казав, від контексту, в якому вони звучали, і від аудиторії, якій вони призначалися.

Не зупиняючись на цих заявах детально, хотів би зазначити, що заяву французьких єпископів «Drancy Statement», видруковану 2 жовтня 1997 року, було схвалено практично всіма єврейськими колами.

«Drancy Statement» належить до періоду правління уряду Віші, що постав після розгрому Франції німецькими військами 1940 року. Не засуджуючи совість людей того часу і не приймаючи вину на себе за те, що сталося тоді, французькі єпископи визнають, що «занадто багато пасторів Церкви грішили проти Церкви і своєї місії тим, що зберігали мовчання» з приводу різноманітних законів, які вдавав тогочасний уряд.

Єпископи вважають, що «вони мусять визнати опосередковану, а може, й безпосередню роль антиєрейських забобонів, підтримуваних християнами, в процесі, що призвів до Катастрофи». Водночас вони стверджують: «Не можна говорити, що Катастрофа безпосередньо пов'язана з цими антиєрейськими почуттями, тому що план нацистів знищити єврейський народ має свої корені в інших джерелах».

4. Реакція на документ «Ми пам'ятаємо: роздуми про Катастрофу»

Публікація Ватиканського документу викликала величезну кількість зустрічних публікацій по всьому світі. Наша Комісія завалена листами як єреїв, так і католиків. Я хотів би поділитися з вами іхньою суттю.

Реакція частини Католицької Церкви — а документ в основному звертався саме до її членів — була дуже позитивною. Це, як я вже казав, важливо, адже документ було задумано для того, щоб зворушити, збудити інтерес серед католиків усього світу і викликати бажання поміркувати.

В той же час перша реакція єврейських общин була явно негативною. Вона варіювалась від коментарів типу: «Ватиканський документ вжахнув євреїв» («Australian Jewish News»); «Він запізнився на 53 роки і все одно недостатній» (головний рабин Ізреаль Лау); «Документ обходить питання про довге мовчання Церкви — євреї сприймають це прохолодно» («Нью-Йорк Таймс»); «Двозначна апологія більше калічить, аніж лікує» («Лос-Анджелес Таймс») — до висловлювань розчарування, що цей документ менш прямолінійний за інші, видані європейськими конференціями епископів (рабин Леон Кленники); що виправдання, котрі містяться в документі, не можна назвати стриманими («Melbourne Age») і т.д.

Друга реакція євреїв була більш позитивною. Не заперечуючи того, що вони чекали більш визначеної заяви, і не приймаючи всіх історичних міркувань, які містяться в документі, ці коментарі відобразили також і позитивні моменти Заяви Ватикану: «Меа си́ра (моя провина) — вже хороший початок» (рабин Раймон Еппл, головний рабин Великої синагоги у Сіднеї); «Довгоочікуваний перший крок Ватикану» (др. Пол Бартроп із коледжу імені Бялика, Мельбурн); «Євреї не отримали всього, що хотіли, проте те, що вони отримали, має значення і не шкодить іншим важливим крокам. Усе те, що раніше породжувало антисемітизм, уже не є частиною вчення Католицької Церкви» (Майкл Беренбаум, президент фонду відеоматеріалів з історії тих, що вижили в Катастрофі); «Мені видається, що документ цей, якщо читати його в історичному контексті, є справжнім актом християнського покаяння і актом тшуви (Давид Гордис, президент Єврейського коледжу в Брукліні); «Це сильна заявa» (рабин Копник з Форт-Вайна).

У своїх коментарях рабин Копник вказує на факт, який мало хто помітив, а саме: «Ватикан не зобов'язаний був щось робити». І справді, у своїх нотатках, опублікованих «The Tablet» 28 березня 1998 р., сер Оуен Чедвік, британський авторитет у питаннях про Ватикан у другій світовій війні, висловив упевненість, що краще взагалі нічого не говорити: «Голокост — найжахливіше, що відбулося в історії. Є ще люди, які страждають від нього. Інші люди пам'ятують своїх батьків або братів і сестер, що безневинно загинули в якомусь таборі Східної Європи. Нічого не можна сказати у виправдання чи як покаяння, щоб пом'якшити це; усе, що буде сказано, прирече викликати почуття образі. Якщо ви хочете уникнути образ (а їх варто уникати), не кажіть нічого».

Я не можу з цим погодитися, і мене підтримала оцінка, яку дав документові журнал «Philadelphia Inquirer»:

«Документ «Ми пам'ятаємо: роздуми про Катастрофу», видрукований Ватиканом, є надзвичайним і складним текстом, це одночасно і визнання,

і виправдання, і покаяння. Сама назва вже є проривом. Наскільки важливо, щоб Католицька Церква сказала всьому світові: «Ми пам'ятаємо Голокост»? Це означає кінець офіційного мовчання упродовж трьох поколінь».

У своєму листі в «New York Times» Юдиф Банкі, програмний директор Центру міжрелігійного порозуміння ім. Марка Тетенбаума, вказує на інший аспект цього документу, на що так мало хто звернув увагу. У своїй презентації для преси 16 березня минулого року я наголошував, що під час зустрічі з Папою Іваном Павлом II у Кастельгандолфо 1 вересня 1987 року єврейська делегація висловила впевненість, що Заява Ватикану «послужить боротьбі з намаганнями переглянути або заперечувати реальність Катастрофи і применити її релігійне значення для християн, єреїв та людства». Юдиф Банкі правильно, на мій погляд, каже, що документ «Ми пам'ятаємо: роздуми про Катастрофу» «є спростуванням усієї індустриї заперечення і перегляду Голокосту. Приблизно 800 мільйонам вірюючих католиків і цілому світові Церква сказала: «Це було». Ніхто не зможе сказати, що документ Католицької Церкви, який висловлює покаяння за дії або мовчання її членів під час трагедії понад 50 років тому, не має значення, навіть якщо він недостатній або не відповідає очікуванням єврейської общини. Ця трагедія дійсно сталася».

5. Дяякі питання, порушенні в документі

Один з моментів, на які критики звертають увагу, це те, що документ порушує ряд важливих питань, але не дає на них задовільних відповідей. Я б хотів сказати кілька слів з трьох таких питань.

Перше — це питання про «зв'язки між нацистськими переслідуваннями і ставленням християн до єреїв, яке складалося віками». Мені відається, що це основне питання, на якому концентрується незадоволення єврейських лідерів.

Не можна заперечувати той факт, що від часів імператора Костянтина і пізніше єреї були ізольовані від християнського світу і зазнавали дискримінації. Література пропагувала стереотипи, звинувачуючи єреїв усіх поколінь у богохвістві; гетто для єреїв, вперше з'явившись 1555 року з виходом Папської Булли, започаткувало іхнє знищення в нацистській Німеччині.

Правда і те, що нацисти скористалися з цього у своїх нападках на єврейський народ, беручи символи і згадуючи події минулого, для виправдання своїх дій. Правда також і те, я гадаю, що деяка доля байдужості, виявлена під час масових депортаций та жорстокості, що супроводжувала насильницькі переміщення безпорадних і невинних людей, була результатом відносин між християнами і єреями, що складалися століттями, і проповідями про те, що єреї відповідають за смерть Ісуса.

Проте, якщо ми прямо пов'яжемо анти-юдаїзм Церкви з антисемітизмом нацистів, це буде означати, що ми не розуміємо природи нацистських

переслідувань. Як говорить заява Ватикану: «Катастрофа стала справою цілком сучасного неоязичницького режиму. Коріння його антисемітизму було поза християнством, і для досягнення своїх цілей, він не роздумуючи протидіяв Церкві, переслідуючи також і її членів».

Церкву можна справедливо звинувачувати в тому, що вона не виявляла до єреїв упродовж століть тої любові, яку її Засновник Ісус Христос зробив основним принципом Свого вчення. Натомість, антисврійська традиція залишила свій відбиток на різноманітних християнських доктринах та вченнях. «До такої міри, що пастори і ті, хто мають владу в Церкві, дозволили такому вченню зневаги розвиватися, і оскільки вони підтримували серед християн основну релігійну культуру, що формувала решту людських поглядів і відносини, вони несуть відповідальність, ...хоча не можна сказати, що Катастрофа безпосередньо пов'язана з цими антисврійськими почуттями, тому що план націстів знищити єврейський народ має своє коріння в інших джерелах» (*«Drancy Statement»*). Ніколи лідери Церкви не зирались знищити єврейський народ!

Інше питання, яке, очевидно, потребує пояснень, це відмінність між тим, кого документ Ватикану називає «Церквою», а кого — «членами Церкви». В нашому документі ми цитуємо Івана Павла II, який сказав, звертаючись до Ватиканського симпозіуму «Християнські корені анти-юдаїзму» в жовтні 1997 р.:

«У християнському світі — я не кажу конкретно про Церкву як таку — помилкові і несправедливі тлумачення Нового Заповіту щодо єреїв і нібито їхньої вини, надто довго перебували в обігу, породжуючи нена висть до цього народу»²⁷.

Ця відмінність — між Церквою і членами Церкви — що чітко простежується в документі, не завжди зрозуміла тим, хто не є членом Католицької Церкви. По-перше, я хочу сказати, що коли ми проводимо цю диференціацію, термін «члени Церкви» не означає конкретної категорії членів Церкви, а залежно від обставин стосується Пап, кардиналів, єпископів, священиків та прихожан.

Для католиків Церква — не просто люди, що складають її. На Церкву споглядають як на Христову наречену, небесний Єрусалим, як на святу та непорочну. Ми не говоримо про Церкву, що вона грізна, в той час як її члени — справді грішні; цю відмінність мабуть важко зрозуміти, але вона суттєва у нашему розумінні Церкви²⁸. 18 березня 1998 р. *«Philadelphia Inquirer»* визнав, що «з католицької віри неможливо уявити собі, щоб сама Церква, богонатхненна і Богом встановлена, могла припуститися такої

²⁷ «L'Osservatore Romano», 1 листопада 1997 р., с. 6).

²⁸ п. 8 Догматичної Конституції Другого Ватиканського Собору *«Lumen Gentium»* розрізняє «суспільство, що має єпархіальні органи, і Таємниче Тіло Христове», і стверджує, що їх не можна вважати двома реальностями. «Вони швидше є однією взаємопов'язаною реальністю, що складається із Божественного і людського елементів». Собор порівнює цю реальність з таємницею Слова, що стало Плоттю.

страшної помилки. Проте з власної волі окрім католики, навіть найвидатніші з них, могли зогрішити».

Таким чином, я наближаюсь до третього питання, порушеного у заяві Ватикану: про відповідальність окремих членів Церкви, які обіймали найвідповідальніші посади. Нас критикували за те, що ми називали декого із тих, хто висловлювався проти нацистської ідеології та антисемітизму, на ім'я. Нагадування про Пія XII викликало особливі заперечення.

Я гадаю, важливо відзначити всіх, хто на це заслуговує. Історія обов'язково виявить провину тих, хто мав змогу діяти, проте нічого не робив, і тих, хто міг говорити, але мовчав. У нас не було достатньо інформації, яка дозволила б нам засуджувати тих, хто міг би потрапити до цих категорій.

Що ж до Папи Пія XII, то ми переконані, що за останні роки його пам'ять було несправедливо знеславлено. Усі, звичайно, читали невелику замітку Кеннета Вудварда «На захист Пія XII», видруковану 30 березня минулого року в «Newsweek». Чому ми вирішили згадати Пія XII у нашому документі? З тої ж причини, що й Кеннет Вудвард, публікуючи свою статтю. Від часів постановки Рольфом Хочхутом 1963 року п'еси «Представник», страшні вигадки про Пія XII та другу світову війну стали сприйматися єреями як факти. На одній сторінці Вудвард показав, наскільки це не відповідало дійсності.

Вже дві важливі замітки, написані істориками, з'явилися на підтримку документу «Ми пам'ятаємо...»: одну було написано преподобним отцем Г'єром Блетом, S.J. і видруковано 21 березня цього року «La Civiltà Cattolica», а згодом передруковано «L'Osservatore Romano» 27 березня. Преподобний отець Блет був одним із тих, хто вивчив усі документи архівів Ватикану періоду другої світової війни. Другу статтю написав німецькою мовою професор Герберт Скамбек із університету Йоганеса Кеплера в Лінці (Австрія). Її було нещодавно опубліковано «Rheinischer Merkur».

6. Дивлячись у спільнє майбутнє

Документ «Ми пам'ятаємо...» закликає католиків поновити своє усвідомлення єрейських коренів своєї віри. Він висловлює глибокий сум з приводу гріхів синів та дочок Церкви і стверджує, що це — «акт покаяння (тшува)». Церква ставиться з глибокою повагою та великим жалем до того, що зазнав єрейський народ під час другої світової війни. Осмислюючи знищення єреїв, Катастроfy, Церква дивиться на це як на зобов'язання, щоб «зло не перемагало добро, як було з мільйонами дітей єрейського народу. Людство не може дозволити всьому цьому повторитися знову». «Більше того, — читаемо далі в документі, — ми просимо наших єрейських друзів, «чия жахлива доля стала символом помилок, притаманних людині, коли вона відвертається від Бога», вислухати нас з відкритим серцем».

Врешті, ми молимося, щоб наш жаль з приводу трагедії Катастрофи привів до нових взаємин між католиками та єреями. Ми справді розглядаємо цей документ як один із кроків назустріч таким стосункам.

Я чудово розумію, що самих слів замало; християнський ювілей, що надходить, закликає до повного прощення, і внутрішнього, і зовнішнього, перед лицем Бога та наших близьких. Як членам Церкви, та й просто як звичайним членам людської раси, історія ставить нам свої запитання. Замовчування, забобони, переслідування і компроміси минулих століть тяжіють над нами. Чи можливо нам, як людським істотам і як християнам, схилитися перед Богом у присутності жертв усіх століть, благаючи прощення і сподіваючись на примирення? Я вірю, що це можливо. А якщо це можливо, то ми мусимо зробити це, не чекаючи чогось, не марнуючи часу. Завтра може бути вже запізно. Якщо ми зможемо вилікувати рани, заподіяні християнсько-єрейськими відносинам, то зробимо свій внесок у лікування ран усього світу, в тиккун олам (удосконалення світу), що його Талмуд вважає необхідним для побудови справедливого світу, який готується до Царства Божого.

Наш документ закликає не тільки католиків, а й усіх людей доброї волі поміркувати над усім цим, а особливий заклик я вбачаю до тих християн — католиків, православних і протестантів, — які прагнуть іти далі шляхом єдності. Чи не могли б і вони приєднатися до нашої тшуви?

Давид Гордіс у нотатках, надрукованих у «The Jewish Advocate», на які я вже посилився, висловлює надію на те, що єреї побачать в документі «Ми пам'ятаемо: роздуми про Катастрофу» справжній акт християнського покаяння і тшуви. Його коментарі з цього приводу видаються мені вартими уваги:

«В юдаїзмі у нас нема «покаяння»; у нас є тшува, або «повернення». Ця відмінність важлива. Коли єреї розмірковують над минулим, ми звертаємося до позитивних змін нашої поведінки і взаємовідносин з Богом і близькими. Ми неминуче будемо помилитися і у великих питаннях, і у маліх. Ми покликані не карати себе, але виправляти своє життя, спрямувати своє життя добрим і правильним шляхом, путями Господніми».

Продовжує він цитатою з листа Івана Павла II, що супроводжує Ватиканський документ про Катастрофу, де висловлюється палка надія на те, що цей документ допоможе зділити рани минулого і «зможе допомогти пам'яті відіграти свою необхідну роль в процесі формування майбутнього, в якому невимовне беззаконня Катастрофи ніколи не буде можливим». Сам Давид Гордіс сподівається, що цей документ будуть сприймати саме таким чином, і що єреї «привітають його як ще один крок до того, щоб наш світ був кращим і безпечнішим місцем для всіх народів».

Це, на мій погляд, кидає виклик нам, єреям і християнам, перед лицем зростання секуляризму, релігійної апатії і морального сум'яття, стану, де для Бога залишається зовсім мало місця. Проте, не слід забувати, що суспільство, в якому Богові залишається мало місця, може в один чудовий

момент не залишити місця тим, хто вірить в Бога і бажає жити згідно з Його законом та заповідями²⁹. Ми повинні свідчити про наші спільні цінності скрізь, де це тільки можливо.

У всякому разі я впевнений, що християни і євреї мають сьогодні нову можливість зробити свій внесок у добробут суспільства, членами якого ми всі є, і взагалі усього світу, де ми живемо. Можливості ці величезні: піклування про довкілля і збереження його; повага до життя; захист слабких та пригноблених; поліпшення становища жінки у суспільстві та підтримка сім'ї; захист дітей; опір усім формам расизму та антисемітизму (який також може прибрати вигляду антисіонізму); виховання майбутніх поколінь і т.д.

Торкаючись теми сім'ї, Міжнародна комісія із зв'язків між католиками та єреями на зустрічі 1994 року оприлюднила спільну заяву про важливість сім'ї у суспільстві³⁰. Нешодавні збори комісії, скликані у Ватикані в березні минулого року, видрукували відповідний документ із питань довкілля³¹.

Крім різноманітних можливостей співпраці у царині захисту прав людини, є можливість спільних зусиль у сфері захисту релігійних прав, діалогу найважливіших світових релігій між собою з тим, щоб особливе місце в ньому приділялося віруючим мусульманам, а також взаємодії у галузі культури.

Все це закликає нас до «співпраці, взаємоповаги і розуміння, доброї волі і спільноти мети», як сказано в заяві Міжнародної комісії із зв'язків між католиками та єреями, яку утворено у Празі 1990 року³². Євреї та християни повинні навчитися вислуховувати одне одного, шукати взаєморозуміння, а не критикувати або сперечатися одне з одним, бути відкритими одне одному і поважати одне одного, разом працювати, не зрикаючись своєї віри й особистості, як діти єдиного Бога, котрі знають, що Бог їх любить і хоче, аби всі люди зазнали цієї любові, аби ми разом були «світлом народам».

Документом «Ми пам'ятаємо: роздуми про Катастрофу» Католицька Церква поновила своє зобов'язання в тому, «щоб добро завжди перемагало зло». Ми просимо євреїв усього світу прийняти нашу руку і йти разом з нами для розв'язання цих проблем.

Насамкінець дозвольте мені відзначити той внесок, який зробив і надалі робить Американський єрейський комітет у процес примирення католиків і євреїв у Сполучених Штатах та за їх межами. Ваша дружба,

²⁹ У колишній Східній Німеччині менше 25% населення вважають себе належними до церкви. Область, відома під назвою «Lutherland» («Земля Лютера»); «Sachsen-Anhalt»), де знаходяться місця, дорогі для кожного лютеранина (такі, як Віттенберг, Айслебен і т.ін.), до війни була на 90% християнською. Нині там усього 7% лютеран, 3% католиків, трохи євреїв та мусульман. Решта не належать до жодної релігії.

³⁰ 15 збори МКС, Єрусалим, 1994 р., прикінцева заява.

³¹ 16 збори МКС, Ватикан, 1998 р., прикінцева заява.

³² Служба інформації Папської ради з християнської єдності, № 75 (1990 р.), с. 176.

розуміння і співпраця високо поціновуються Комісією релігійних відносин з єреями, і ми бажаємо співпрацювати з вами і в подальшому, таким чином, щоб ми, єреї і католики, стали справжнім благословенням один для одного і для всього світу.

ВИСТУП МАРТИНА С. КАПЛАНА

Кардинале Кассіді, Президенте Ріфкінд, рабине Рудін, члени Американського єрейського комітету!

«Ми пам'ятаємо: роздуми про Катастрофу» (які я в подальшому називатиму «Заявою Ватикану») є найважливішим кроком в історії християнсько-єрейських відносин і включає в себе два моменти надзвичайної історичної ваги. По-перше, римокатолицька церква ясно до всіх промовляє, що ні в релігії християнства, ні в його богослов'ї нема місця антисемітизмові або анти-юдаїзмові незалежно від визначення цих двох термінів. Ясність та переконливість Заяви матиме велике значення не тільки для римокатоліків усього світу, але й для членів усіх християнських конфесій, а також для населення країн з християнством як основною релігією. Ця Церква знову закликала всіх католиків поновити осмислення єрейських коренів своєї віри та підтвердила визнання Папи Івана Павла ІІ, що єреї — «це наші улюблені брати, а в певному розумінні вони є і нашими „старшими братами“».

По-друге, римокатолицька Церква підтвердила жорстоку правду про Катастрофу, стверджуючи, що ця «невимовна трагедія» є «основною подією історії цього століття», і майже тими ж словами, які використовують єреї всього світу, застерігає, що її «ніколи не можна забути». Такими сильними словами Церква кидає виклик тим, хто хоче заперечувати реальність Голокосту та його гріховність.

Маю надію, що 33-річні зусилля, розпочаті ще Папою Іваном ХХІІІ, продовжені Папою Павлом VI, а нині розвинені Павлом Іваном II, завершать понад тисячолітній період антиєрейських виступів і відносин, які підтримувалися християнськими церквами.

Але чому тоді таким помітним є критицизм щодо Заяви Ватикану? Чез через наші надмірні очікування, що мали своїм підґрунттям заклик Його Святості до адептів всіх релігій, а особливо до християн, почати нове тисячоліття «з усією радістю прощення гріхів та примирення з Богом і близькими». Наше розчарування від недоліків Заяви не зменшує її достоїнств, а також не стойть на заваді нашій повазі та вдячності за очевидний прогрес у взаєморозумінні між католиками та єреями, адже за ці 33 роки ми пройшли більше, ніж за попередні 2000 років.

Для того, щоб єреї та християни досягли повного взаєморозуміння та примирення, необхідно, щоб єреї зрозуміли, чому до Заяви Ватикану було залучено виправдання та коментарі, несподівані для нас, а також —

щоб лідери Ватикану та католики зрозуміли, яке розчарування та біль цим заподіяно.

Заяв'язок анти-юдаїзму та антисемітизму

Заяву Ватикану слід оцінювати за мірками самого Папи Івана Павла ІІ: «Спільне майбутнє єреїв і християн вимагає, щоб ми пам'ятали, бо „немає майбутнього без пам'яті“». І Заява навпроте це підходить до ключової проблеми: «Той факт, що Катастрофа сталася в Європі, тобто в країнах, де здавен існує християнська цивілізація, ставить питання про пов'язаність між нацистськими гоніннями і ставленням християн до єреїв, яке складалося упродовж віків». І продовжує: «Історики, соціологи, політологи, психологи та теологи, — усі намагаються більше довідатися про те, чим насправді була Катастрофа, та про її причини. Багато ще залишилося невивченим. Але таку подію неможливо виміряти лише звичайними критеріями історичного дослідження. Тут потрібна «моральна та релігійна пам'ять», а також, особливо для християн, дуже серйозні роздуми над тим, що могло її викликати».

Проте, поставивши основне питання про взаємозв'язок між Катастрофою та історичними антиєрейськими настроїми християн, Заява згодом переходить до передчасних суджень з цього приводу і, не провівши ще історичного аналізу, робить висновок про те, що європейський антисемітизм мав світський, язичницький та нехристиянський характер, був результатом соціальної та політичної історії. Погодитися з тим, що християнство не впливало на розвиток антисемітизму в Європі, означало погодитися також з тим, що християнство не впливало на соціальну, культурну та політичну історію Європи. Нішо не може стояти далі від істини. Християнство було всепроникаючим аспектом європейського життя упродовж останніх 1000 років. Заява не бере до уваги четвертий Латеранський Собор 1215 року, що наказував єреям носити певний одяг, папський лист 1555 року, що започаткував гетто в Римі, і вигнання єреїв із папських держав Папою Пієм V 1569 року. Немає сенсу називати ці дії тільки антиєрейськими і відділяти їх від таких самих дій, що стали ключовими кроками у нацистських переслідуваннях.

Але ми всі знаємо тогочасну історію і знаємо роль, яку відіграла Церква, її епископи і священики у формуванні зневаги до єреїв та юдаїзму, у підбурюванні натовпу проти єреїв, як і у вченні про те, що єреї несуть відповідальність за розп'яття Ісуса у всіх поколіннях, — вченні, що врешті було відкинуте Церквою 1965 року.

Заява Ватикану заперечує будь-який взаємов'язок між історичним християнським анти-юдаїзмом і антисемітизмом, що призвели до Катастрофи, стверджуючи, що «Катастрофа стала справою цілком сучасного неоязичницького режиму. Коріння його антисемітизму було поза християнством...»

Таким чином, Заява Ватикану формулює цілковито нову проблему, намагаючись відділити 1000 років антиєврейських настроїв та переслідувань від «остаточного розв'язання єврейського питання» з допомогою Голокосту, начебто поділ особистості дозволяє християнам антиєврейське ставлення, проте тільки-но їхня поведінка перейшла певну межу під час Катастрофи, християни почали посилатися на свої язичницькі корені. Можливо, цей документ відкрив більше, ніж намірялися його автори, і ми взнали більше, ніж очікували. Адже зараз ми усвідомлюємо, наскільки необхідно християнам вивчати коріння антисемітизму, який був практично загальноєвропейським явищем.

Ніхто не звинувачував християнські церкви у скоєнні Голокосту. Ніхто не чекав вибачень за Голокост. Проте чи потрібно нам по-справжньому продовжувати аналізувати 1000 років історії Європи, щоб визначити, чи є зв'язок між християнським анти-юдаїзмом і антисемітизмом, який спричинив Катастрофу?

Історія і пам'ять, на які покликається Папа Іван Павло II, не виконали свого призначення, якщо у Заяві робиться висновок про те, що існує відмінність між «антисемітизмом, що базувався на теоріях, суперечних з постійним вченням Церкви про єдність людської раси і одинакову гідність всіх рас і народів, та тим, що ми називамо анти-юдаїзмом — давно існуючими почуттями недовіри і ворожості». Ми вітаємо заклики вивчати історію і шукати відповідь на питання, чому «Катастрофа сталася в Європі, тобто в країнах, де здавен існує християнська цивілізація». Християнам може бути «незручно» визнати християнські корені антисемітизму, проте страждання занадто великої кількості поколінні європейських єреїв, яких вони зазнали від християн, вимагають від нас зреکтися цього нового міфу про те, що антисемітизм Катастрофи не мав християнських коренів.

Якби римокатолицька Церква скористалася можливістю визнати, що корені антисемітизму лежать у християнській релігії, і виявила жаль та розкаяння стосовно ролі, яку відіграли її лідери та духовенство у 1000-літній історії ненависті та переслідування єреїв, то, вважаю, ми б просунулися на кілька світлових років уперед до тієї мети, яку поставив перед нами Папа Іван Павло II — «радість прощення гріхів та примирення з Богом і близькими». І, справді, прийняття на себе більшої відповідальності за антисемітизм потребувало б меншого аналізу історії!

Вибіркове використання історії у Заяві

Нас також засмутив виправдовувальний аналіз історії у заяві. Навіщо в деталях аналізувати історію першого століття, навіть не згадуючи про печальну історію хрестових походів, коли палкє бажання християн оволодіти Святою Землею призвело до вбивства тисяч єреїв по всій Європі? Або роль Церкви у вигнанні єреїв з Іберії, або Інквізиції? Навіщо згадувати про кількох сміливих християн, які рятували єреїв або самі зазнали переслідувань, у документі, де йдеться про вбивство шести мільйонів

євреїв, не згадавши тих християн, які брали участь у Катастрофі, або величезну більшість тих, які просто мовчали?

І навіщо включати захисні пасажі щодо Папи Пія XII? Якби у Заяві винавалась хоч якась відповідальність християнства та християн за європейську історію антисемітизму, або те, що Церква могла б зробити більше, щоб протистояти нацизмові, не було б потреби у захисті Пія XII у цьому документі про Катастрофу. Заява наполягає, що лідери Церкви чинили тільки добро під час Голокосту, а це вимагає від нас більш глибокого вивчення цього періоду історії. Справді, якщо все було так добре, чому стільки архівних документів усе ще недоступні для всіх бажаючих?

Нас також здивувало, що офіційна Заява Ватикану про Катастрофу містить висловлювання із скаргами на ставлення євреїв до християн. Заява закликає виявити «тверду рішучість будувати таке нове майбутнє, в якому не було б місця антисемітизму серед християн чи антихристиянським почуттям серед євреїв». Ми, звичайно, згодні з цим, проте тут припускається, що антихристиянські почуття євреїв дорівнюють тому ставленню, яке виявляла християнська Європа до євреїв упродовж тисячоліття. Хіба не вважає Ватикан, що переважаючим почуттям, якого зазнали європейські євреї стосовно християн, був страх?

У своєму листі, що супроводжує Заяву Ватикану, Папа Іван Павло II каже: «Катастрофа залишається незмивною плямою в історії сторіччя, що добігає кінця», і молиться, щоб «Господь історії» спрямував зусилля католиків та євреїв на спільну роботу заради створення світу, де б панувала справжня повага до життя і гідності кожної людської істоти.

Як Його Святість закликав усі релігії відповісти за свої дії та завершити тисячоліття релігійних воєн та насилия, так само прийшов час завершити звіт за ХХ століття. Нині відбувається розподіл відповідальності за дії, скоєні і нескоєні під час Голокосту та другої світової війни, хоч би яким запізнілим це не було через холодні війни, і не можна виключити жоден народ, жодну організацію.

Потяг двадцятого століття зупинився на 50 роках на запасній колії, його порожні вагони очікують, коли ж вони зможуть добрatisя до місця свого призначення. Відповідаючи за свої дії та своє ставлення, народи і організації допоможуть дістатися своїм вагонам. Маємо надію, що Ватикан учинить так само.

Кардинале Кассіді, у своїх близкучих зауваженнях (сьогодні вранці) Ви сказали: «Замовчування, забобони, переслідування і компроміси минулих століть тяжіють над нами. Чи можливо нам, як людським істотам і як християнам, схилитися перед Богом у присутності жертв усіх століть, благаючи прощення і сподіваючись на примирення?» Ми зворушені Вашим постійним та щирим прагненням домогтися подолання антисемітизму та анти-юдаїзму та досягти загальної поваги євреями та християнами релігії одне одного. Наскільки відмінною була б реакція на Заяву Ватикану, якби Ваш сильний і зворушливий заклик був присутній у цій Заяві! За-

ява Ватикану нині стала частиною тривалої і складної історії християнсько-єврейських відносин. Кардинале Кассіді, дозвольте мені запевнити Вас, що ми, Американський єрейський комітет та євреї усього світу, готові йти вперед разом з Вами, Ваше Святійшество, і разом з римокатолицькою Церквою розпочати дії та дослідження, котрі необхідні для досягнення взаємоповаги й миру, виявляючи найвищі й найкращі вчення обох наших релігій.

Спасибі.

Бенедикт Сарнов

Бенедикт Сарнов (род. в 1927 г.) — известный московский литературовед, критик, публицист, автор многих книг «о времени и о себе». Статья «Возвращение Андрюши Ющинского» написана специально для альманаха «Егупец».

ВОЗВРАЩЕНИЕ АНДРЮШИ ЮЩИНСКОГО

1

Из всех официально канонизированных советских подвижников, великомучеников и святых Павлик Морозов — фигура едва ли не самая одиозная.

Зоя Космодемьянская, повинная только лишь в том, что последними словами, выкрикнутыми ею с эшафота, были слова: «Сталин придет!» — все-таки заслуживает снисхождения. Как-никак, она отдала жизнь за Родину, а не за Сталина. К тому же, она ведь могла и не знать (скорее всего, даже и не могла знать), что умирает с именем преступника и убийцы на устах.

Николай Островский, прикованный к постели своим смертельным недугом, успел перед смертью восславить шигалевщину 37-го года. Но ведь своей страшной болезнью он был нагло отрезан от какой бы то ни было правдивой информации. Отрезан даже больше, чем остальные граждане Страны Советов, узнававшие обо всех событиях в мире только из самой лживой на свете газеты, по горькой иронии судьбы именовавшейся «Правдой».

Николая Островского тоже можно оправдать.

Но как оправдать того, кто предал родного отца?

Низвержение с пьедестала Павлика Морозова сперва не вызвало особенно громких криков негодования и протesta даже у самых яростных поборников рухнувших коммунистических святынь. Этого святого долго никто не спешил защищать.

Но вот, наконец, и у Павлика нашелся защитник.

На страницах «Советской России», гордо называющей себя «Независимой народной газетой», а в народе пренебрежительно именуемой «Совраской», появилась весьма странная статья Владимира Бушина, озаглавленная: «Он глубоко опасен». Подзаголовок: «О Павлике Морозове».

О том, для кого и по каким причинам «глубоко опасен» Павлик Морозов, сообщается в самом конце статьи. (К этому сюжету мы еще вернемся.) А начинается она так:

«Павел... Павлик Морозов... Пожалуй, нет в нашем недавнем прошлом другой фигуры, которая так часто и яростно проклиналась бы ныне питомцами «нового мышления» и их прихлебателями; фигуры, которая тем самым так резко и глубоко высвечивала бы всю духовную суть этой

компаний. Они говорят и пишут о нем с такой злобой, ненавистью и уверенностью в своем благородстве, словно не его, нежного отрока, вместе с малолетним братом предали лютой смерти здоровенные мужики, а он, вооружившись ножом, зарезал в лесу немощного сирого старца, да еще разбогател на этом и сделал карьеру.

Они — это журналист Альперович, писатель Амлинский, исторический беллетрист Балашов, человек без определенных занятий Бурлацкий, критик на все руки Татьяна Иванова, педагог вроде бы Соловейчик, профессиональный правдолюб Феофанов, литературовед Эйдельман... Среди них, конечно же, Владимир Солоухин. Сей всем известный русский патриот давно уже не может упустить ни единого случая присоединиться к тем, кто пишет ныне наш вчерашний день. Накал ненависти и страстной жажды опорочить несчастную жертву кровавой классовой борьбы просто изумляет».

Некоторых из перечисляемых им хулителей Павлика Бушин цитирует.

Вот, оказывается, что написал про него «педагог вроде бы» Симон Соловейчик:

«Он нанес удар в завязь нравственности. Под анестезией жалости к убитым, в сердца детей, читавших о них, вливали жуткую вакцину против совести».

А вот — реплика Владимира Амлинского:

«Павел Морозов это не символ стойкости, классовой сознательности, а символ узаконенного предательства».

Эта вырванная наудачу фраза вызывает у Бущина особенно пылкое негодование.

«Как это не символ стойкости, — возмущенно восклицает он, — если ему то и дело грозили расправой, не раз избивали так, что нужно было отправляться в больницу, пытались утопить, а он стоял на своем».

По поводу такой же вырванной из контекста реплики Юрия Феофанова — «Меня заставляли молиться на Павлика!» — Бушин в праведном гневе роняет:

«Лучше уж молиться на убиенного отрока, чем на Гайдара, предавшего деда...»

О самом же Павлике он говорит с тем же романтическим, комсомольско-пионерским задором, с каким писали о подвиге юного пионера из далекого села Герасимовка в незабвенные тридцатые годы. Цитирую:

«... Тринадцатилетний деревенский мальчишка в ответ на угрозы деда «бить до тех пор, пока не выпишешься из пионеров», бросил ему в лицо: «Убивай хоть сейчас, но из пионеров не выйду».

Но время от времени Бушин все-таки вспоминает, что пишет он свою статью не в 1932 году, а ровно шесть десятилетий спустя. И тогда он слегка трезвеет. И пламенный комсомольский пафос уступает место раздумчивым рассуждениям, предположениям и догадкам, цель которых состоит уже не в том, чтобы восславить Павлика, а в том, чтобы оправдать его.

Оказывается, Павлик Морозов вовсе не «заложил» родного отца, написав на него донос. Он лишь (цитирую): «... дал на суде показания против отца, а точнее сказать, по причине малолетства будучи допрошен в присутствии матери и учительницы, подтвердил то, что в качестве свидетельницы показала мать. И никак иначе он поступить не мог. Надо думать, что, как это водится всегда, его предупредили и он знал об ответственности за ложные показания. И вот мать уже дала правдивые показания. Значит, если Павел захотел бы выгородить родимого негодяя, то, во-первых, он скорее всего был бы уличен в неправде, а главное, ему пришлось бы выбирать между ненавистным отцом и любимой матерью, которую он ложными показаниями мог бы поставить под удар».

Далее автор сравнивает поступок Павлика с поведением писателей, выступивших против Пастернака после присуждения тому Нобелевской премии. И сравнение это, конечно, оказывается не в пользу последних.

«В отличие от зрелых мужей, многоопытных писателей, требовавших в 1958 году лишить гражданства своего собрата, которого они называли предателем, — размышляет Бушин, — малограмотный тринадцатилетний мальчик, ничего, кроме своей таежной глухой Герасимовки не знавший, конечно же, не способен был предвидеть какие-либо последствия. Тем более, что на дворе стоял только 1931 год, и он, опять же в отличие от помянутых выше московских писателей, не мог учесть ничем не заменимый опыт тридцать седьмого года, которым располагали те.

Наиболее вероятным будет предположить, что Павел хотел только притупить отца, надеялся, что приезжий дядя всего лишь задаст ему хорошую взбучку, он образумится и вернется в семью».

Легко заметить, что тут у нашего автора решительно не сходятся концы с концами. С одной стороны, Павлик герой, и поступок его — подвиг. Недаром ему то и дело грозили самой лютой расправой, а он твердо стоял на своем, храбро пренебрегая всеми этими угрозами. («Убивай хоть сейчас, из пионеров не выйду!») С другой же стороны, поступок его, очевидно, все-таки не совсем благовиден даже с точки зрения нашего автора. Недаром он пытается найти для него всякие оправдания и смягчающие обстоятельства. (Вынужден был подтвердить показания матери, будучи предупрежден об ответственности за дачу ложных показаний. Не мог предвидеть трагических последствий своего поступка. Надеялся таким хитроумным способом вернуть отца в семью. И т.д.)

Все это, конечно, полная чепуха. Любой из этих доводов ничего не стоит опровергнуть, тем более, что все они основаны на домыслах и предположениях. Утверждение же, что Павлик, в отличие от писателей, клевымиших Пастернака, не имел еще трагического опыта 37-го года — просто смехотворно. В 1958 году всем было ясно, что никакая тюрьма Пастернаку отнюдь не грозит. А о том, что могло ожидать в 1931 году человека, продававшего липовые справки кулакам, не мог не догадываться тогда даже и тринадцатилетний подросток.

Но все эти смехотворные аргументы автора статьи не стоит опровергать не только потому, что абсурдность их и без того очевидна. Вся штука в том, что поступок Павлика, как к нему ни относись, НЕ НУЖДАЕТСЯ НИ В КАКИХ ДРУГИХ ОПРАВДАНИЯХ, КРОМЕ ОДНОГО: он верил, что обязан поступить так, а не иначе, и готов был выполнить этот свой нелегкий долг, каких бы нравственных (а потом и физических) страданий это ему ни стоило.

Владимир Бушин пытается оправдать поступок Павлика разными смягчающими его вину обстоятельствами, потому что сам он (что бы он там ни говорил) не вполне уверен в нравственной безупречности его поступка. Но сам-то Павлик был уверен в ней абсолютно. И именно это как раз и стало причиной его трагедии.

И тут, как это ни грустно, приходится признать, что автор статьи в «Советской России» во многом прав.

Родной дед, зверски зарезавший внука, и двоюродный брат Павлика Данила, убивший трехлетнего Федю, который, как рассказывал на суде этот самый Данила, «плакал, просил не убивать, но мы не пожалели»... Все это не может не вызвать у любого нормального человека ужаса и негодования. (Тем более, что, как уже было сказано, этой своей страшной смертью Павлик расплатился за поступок, который сам он вовсе не считал ни подлостью, ни предательством.)

Насколько легче нам было бы думать, что подросток, решившийся до нести на родного отца, был просто — маленький подлец. Предатель, так сказать, по самой своей природе.

Но в том-то и беда, что Павлик действительно был человек убежденный. Готовый жизнь отдать (и отдавший) за свои убеждения. Он действительно был честен. И стоец. И смел. И именно это — самый страшный приговор обществу, которое его воспитало. Той нравственной (лучше сказать — безнравственной) общественной атмосфере, которая чистого и смелого мальчика сделала предателем.

Если бы цель статьи Владимира Бушнина состояла только в том, чтобы защитить от неправедного суда потомства тринадцатилетнего подростка, зверски убитого в далеком таежном селе Герасимовка в 1931 году, мне даже и в голову бы не пришло с нею спорить. Но статья эта написана о другом. Совсем о другом.

Не Павлика Морозова защищает в своей статье Владимир Бушин.

Он защищает символ.

Ведь тем, кого он гневно разоблачает, именуя их злобными ненавистниками «кубиенного отрока» и ненавистен не сам Павлик, а — то, что из него сделали, во что его превратили. Не настоящая, реальная судьба погибшего тринадцатилетнего мальчика вызывает их правдивый гнев, а тот зловещий миф, в который превратила эту трагическую судьбу всевластная машина официальной советской пропаганды.

Поскольку за давностью лет далеко не все представляют себе это достаточно ясно, а люди, родившиеся и выросшие уже после смерти Сталина, быть может, и вовсе не имеют об этом сколько-нибудь отчетливого понятия, я попытаюсь ненадолго вернуть вас в социальную и психологическую атмосферу тех незабываемых лет.

2

Задача эта — не из легких. Но мне выполнить ее будет не слишком трудно, поскольку жизнь столкнула меня однажды с человеком, судьба которого тесно переплелась с судьбой Павлика Морозова. Не реальной, а — той самой, мифологизированной его судьбой.

Было это в 1956 году. Только что прогремел XX съезд с знаменитым докладом Хрущева «О культе личности». Кровавые преступления минувшей эпохи тогда еще обозначали этим стыдливым эвфемизмом. Но уже возвращались из дальних лагерей немногие уцелевшие жертвы вот этого самого «культя».

Я работал тогда заведующим отделом литературы детского журнала «Пионер».

И вот однажды мне позвонил мой друг Лев Эммануилович Разгон, — сам, кстати сказать, отсидевший в сталинских лагерях свои 17 лет и лишь сравнительно недавно вернувшийся в Москву, — и сказал:

— Я позволил себе направить к вам одну мою знакомую. Она пишет детские рассказы. Рассказы, вероятно, не Бог весть какие... Но я вас очень прошу: будьте с ней поласковее. Она двадцать лет провела на Колыме...

Никаких жалостных подробностей о несчастной судьбе этой своей знакомой он мне рассказывать не стал. Да в этом и не было необходимости. Двадцать лет на Колыме... Какие тут еще нужны были подробности!

Я, естественно, ожидал, что ко мне явится изможденная, измученная долголетней каторгой старуха. Каково же было мое изумление, когда по сланнице Льва Эммануиловича оказалась отнюдь не старая (в теперешнем моем возрасте я бы даже сказал — молодая), очень живая и привлекательная женщина. Опешив, я задал ей бес tactный вопрос, который женщинам задавать не полагается: «Сколько же вам лет?» Но, смущившись, тут же поправился: «Простите, я хотел спросить: сколько же вам было, когда вас...»

Оказалось, что тогда ей было девятнадцать.

В самом этом факте ничего поразительного не было: я знал, что сажали и «малолеток», даже детей. Удивительно было другое. Все реабилитированные тогда на вопрос, сколько лет привелось им мыкаться по лагерям, называли один и тот же срок: «семнадцать». Объяснялось это очень просто. В большинстве все возвращающиеся тогда были из потока «тридцать седьмого года». Освобождать их начали в 1954-м. Вот и выходило — семнадцать. А тут — двадцать!

— Меня взяли в 1934-м, — пояснила моя собеседница.

В 1934-м, за три года до повальных арестов 37-го! Да еще девятнадцатилетнюю девчонку к тому же! За этим явно скрывалась какая-то нетипичная, во всяком случае, не банальная судьба.

Так оно и оказалось.

История, которую тут же — очень скромно, буквально в нескольких словах — рассказала мне знакомая Разгона, и в самом деле была далека от банальности. Она поразила меня, хотя в те времена не было недостатка в самых причудливых и необычных лагерных сюжетах.

Этот сюжет даже на фоне самых необычных поражал своей, — скажем так — неординарностью.

«За что же вас?» — не удержался я от вопроса, и тут же осекся, вспомнив ходивший в то время невеселый анекдот. «Сколько ты оттянул? — спрашивают у вернувшегося из заключения зэка. «Пять», — отвечает тот. «А за что?» — «Да ни за что». — «Врешь! Ни за что десятку давали».

Но собеседница моя на мой глупый вопрос не обиделась. Казалось, что к ней эта классическая формула («ни за что») — не подходит. Во всяком случае, ее история в эту формулу не вполне укладывается.

А история была такая.

Как уже было сказано, случилось это, когда ей только-только исполнилось 19 лет. Была она молодой журналисткой, работала в «Пионерской правде». Считалась талантливой, подающей надежды. И вот, то ли в виде премии за хорошую работу, то ли просто так, на практику, послали ее на все лето в «Артек». Предполагалось, что, поработав все лето пионервожатой в этом — самом знаменитом в стране — пионерском лагере, она напишет потом о нем серию очерков.

Поначалу все было хорошо. Даже прекрасно. Новая работа ей нравилась. Детей она любила. Дети ее тоже. Будущее рисовалось ей в самом радужном свете, и тот роковой день, который круто переломил всю ее судьбу, тоже как будто не сулил ничего необыкновенного. Начался он как обычно. Начальник лагеря созвал всех пионервожатых на «летучку», чтобы получить от них рапорт о дне минувшем и дать распоряжения на день грядущий.

И вот тут-то все и началось.

— Сегодня, — сказал начальник, — к нам прибывает партия детей, ПОВТОРИВШИХ ПОДВИГ ПАВЛИКА МОРОЗОВА.

Далее он сообщил, что партия насчитывает что-то около тридцати ребят. Что прибудут они совсем скоро. И надо быстро, оперативно, не теряя ни минуты, организовать им встречу. Торжественную линейку и все такое.

— Надеюсь, всем ясно, — сказал он, — какое огромное воспитательное значение будет иметь это мероприятие. Поэтому провести его надо на самом высоком идеино-политическом и организационном уровне.

Все присутствующие отнеслись к этому сообщению как должно. И только наша девятнадцатилетняя журналистка высказала свое, особое мнение.

Нет, она не сказала, что мальчик или девочка, настучавшие на отца или мать, совершили поступок, заслуживающий осуждения. Что только в чудовищно искаженной, уродливой нравственной атмосфере больного общества, где все человеческие ценности поставлены с ног на голову, это может называться подвигом. До таких мыслей она тогда еще просто не дорошла. Она сказала лишь, что нормальному ребенку, совершившему такой поступок, — хоть и поступил он безусловно правильно, как и подобает настоящему пионеру, — вряд ли это далось так уж легко и просто. Наверняка для каждого из тридцати ребят, повторивших знаменитый «подвиг», это было тяжелой психологической травмой. Поэтому она считает, что ни в коем случае не надо устраивать им торжественную встречу. Наоборот! Надо как можно меньше напоминать им об этом их «подвиге», чтобы не травмировать, не причинять лишних нравственных страданий.

Само собой, это ее выступление получило суровый отпор. Некоторыми из присутствующих оно было расценено как дерзкая вылазка классового врага. Но начальник лагеря смягчил эту суровую оценку, назвав пылкую и несколько сбивчивую речь нашей героини всего лишь проявлением некоторой политической незрелости.

Предполагалось, что на этом инцидент будет исчерпан.

Но молодая журналистка не успокоилась. Обуреваемая волновавшими ее мыслями и чувствами, она в тот же день сочинила рассказ о мальчике, который написал «КУДА НАДО» донос на родного отца, а потом, не в силах вынести терзаний мучившей его совести, кинулся в пруд и утонул. Этот свой наивный, но глубоко искренний рассказ она прочла у пионерского костра своим питомцам, за что и поплатилась потом двадцатью годами Колымы. То ли среди малолетних ее слушателей нашелся еще один юный герой, решивший повторить подвиг Павлика Морозова. То ли кто-то из более взрослых ее товарищей и коллег проявил бдительность...

История эта, я думаю, в комментариях не нуждается. Она достаточно наглядно показывает, в какой уродливый мир, где перевернуты все нравственные координаты, хочет вернуть нас своей статьей Владимир Бушин. У этого мира — мира моего детства и моей юности — была не только своя перевернутая, искаженная мораль, но и своя уродливая эстетика. Свои сказки («Мальчиш-Кибальчиши»), свои песни: героем одной из них был «красный герой», который «все начальству доносил», героями другой — храбрые «бойцы Наркомвнутдела», бодро и весело хваставшиеся своей полезной деятельностью в таких выражениях: «Мы отстаиваем дело, созданное Ильичом! Мы, бойцы Наркомвнутдела, вра́жьи головы сечем!».

Конечно, вернуть нас назад, в этот рухнувший, развалившийся мир сейчас уже невозможно. И если бы весь смысл статьи «Советской России» сводился только к этому, она была бы просто смешным, нелепым и даже сравнительно безобидным анахронизмом, о котором и говорить-то особенно долго не стоило бы. Но к трогательной ностальгии по «нашему героическому и романтическому прошлому» и к наивной, безусловно утопической, а потому и бессильной попытке реабилитировать это прошлое и даже реставрировать его, содержание статьи Бушина не сводится.

Революционная фразеология автора, его патетические возгласы о несчастной жертве жестокой классовой борьбы — это лишь первый, поверхностный слой содержания его статьи, за которым лежит другой, более мощный пласт уже совсем иной, не менее зловещей, но куда более живучей, а потому и более опасной (во всяком случае, — сегодня) идеологии.

3

Нагляднее всего эти подспудные, глубинные намерения автора обнаружает нарисованный им портрет его героя.

Совсем не случайно Павлик Морозов в его статье предстает перед нами не в обычной, традиционной своей ипостаси (алый пионерский галстук: рука, поднятая в пионерском салюте, или скжатая в кулак: «Рот фронт!»), а в совершенно ином, но, увы, тоже хорошо нам знакомом облике. Цитирую:

«Цвет волос — русый, лицо — белое, глаза голубые, открыты. В ногах две березы».

А вот еще несколько определений и постоянных (как в былинах) эпитетов, которыми в статье Бушина сопровождается едва ли не каждое упоминание имени ее главного героя: «нежный отрок», «убиенный отрок».

Эпитеты, конечно, тоже имеют значение. И немалое. Но ключевое слово здесь — именно «отрок». Не «мальчик», не «подросток», не «паренек», не, скажем, «пацан», как именовались сверстники Павлика в самой знаменитой книге того времени, героями которой были подростки — «Педагогической поэмы» Макаренко, а именно — отрок. То есть — слово совсем из иного стилистического ряда, восходящее не к советскому, а к библейскому лексику, не к революционно-пролетарской, а к церковно-православной эстетике.

Ключевое слово это появилось в статье Бушина не случайно. И пришло оно к нему отнюдь не из Библии, а из куда более близкого нам по времени источника.

Приведу небольшую выдержку из книги Василия Розанова «Обнительное и осаждательное отношение евреев к крови», вышедшей в 1914 году в Санкт-Петербурге.

«В разных местах, у разных пророков, — говорилось в этой книге, — встречается мглистый, глухо указанный «отрок» — которого «ведут на заклание»... Это какое-то темное указание, как будто глаза пророческие где-то вдали видят его, — видят и не могут рассмотреть... Эти слова об «отроке, ведомом на заклание», издавна поразили ум читателей и истолкователей Библии, и Святые Отцы Церкви, недоумевая, что бы это означало, включили эти слова в состав «messианских указаний на Господа нашего Иисуса Христа»...

Сообразно такому пониманию, в синодальных изданиях Библии печатается «отрок» с большой буквы — «Отрок»; и тогда при чтении как будто ясно, что это относится к Иисусу Христу. Но оставим так, как было написано в древних манускриптах, — простое, нарицательное и общее название «отрок», — и тогда не забрезжит ли у нас мысль, что в пору израильского царства и пророков все равно уже существовал ритуал, по коему какой-то «отрок» в возрасте и невинности Андрюши Ющинского приносился в жертву ритуально, как и теперь?! Ведь Иисус Христос, умирая на кресте, имел 33 года, и никакой пророк Его не именовал бы «отроком»...

«Отрок, ведомый на заклание» пророков — вот он, «приготовишка» духовного киевского училища, — избранный именно за чудное, ангельское лицо по общему методу закона Моисеева — избрать в жертву «лучшее, непорочное, чистое, невинное»... И для этих, а не для каких-нибудь других целей, была взята кровь Андрюши Ющинского. Но не одна кровь была нужна, а и замучивание жертвы...»

Андрюша Ющинский, «приготовишка», как называет его Розанов, киевского духовного училища, на самом деле был убит содергательницей воровского притона Верой Чеберяк и шайкой ее дружков-уголовников. Убит он был, потому что знал об их темных воровских делишках и угрожал выдать их полиции. По навету вот этой самой Веры Чеберяк, по подозрению в убийстве Андрюши был арестован еврей Бейлис, и чисто уголовное преступление это было объявлено ритуальным. Так возникло знаменитое «Дело Бейлиса», целью которого было доказать, что евреи на протяжении столетий совершают вот такие ритуальные убийства, поскольку их «законом» им предписывается подмешивать в мацу христианскую кровь.

Процесс, как известно, кончился пшиком: Бейлис был оправдан. И можно только дивиться и сокрушаться по поводу того, что высокоумный и высокообразованный Василий Васильевич Розанов поверил во всю эту чепуху, в которую решительно отказались поверить двенадцать присяжных — простых, необразованных украинских и русских крестьян и мещан, вынесших Бейлису оправдательный приговор.

Но это уже совсем другая, особая тема, и здесь не место ее обсуждать. Вернемся к несчастному Андрюше Ющинскому. Главу своей книги,

специально посвященную трагической судьбе и всему облику убитого мальчика, Розанов начинает так:

«Страшное лицо Андрюши Ющинского, с веками, не вполне закрывающими глазное яблоко, как бы еще смотрит на нас... Сколько истомы в лице, какая грусть! Какое милое все лицо, бесконечно милое, какое-то особенно кроткое, какое-то особенно нежное...»

Вот откуда у Бушнина в его словесном портрете Павлика Морозова: «глаза голубые — открыты». И вот откуда это странное, так не идущее к традиционному облику мужественного героя-пионера словосочетание: «НЕЖНЫЙ ОТРОК».

Заключает Розанов эту главу своей книги таким патетическим восклицанием: «Кто как хочет думает, — для меня Андрюша Ющинский есть мученик христианский. И пусть дети наши молятся о нем как о замученном праведнике».

Павлик Морозов у Бушнина — вот такой же «замученный праведник». И замучен он, как и Андрюша Ющинский, не кем-нибудь, а — евреями.

— Но позвольте! — скажут. — Причем тут евреи, когда совершенно точно известно, что Павлика и его трехлетнего брата Федю зарезали родной дед обоих детей и их двоюродный брат Данила?

А при том тут евреи, — дает нам понять Владимир Бушин, — что речь идет не о первом, физическом, а о втором, так сказать, духовном убийстве Павлика Морозова. О том, что уже сейчас в наше время, более полувека спустя после своей физической смерти, Павлик снова стал объектом глумления и мучительства.

Напоминаю бушинский перечень современных гонителей, духовных палачей Павлика: журналист Юрий Альперович, писатель Владимир Амлинский, педагог Симон Соловейчик, литературовед Нatan Эйдельман... Были у него в этом списке еще и Юрий Феофанов, и Владимир Солоухин. Но это, так сказать, для гарнира. А вернее, — для отвода глаз. (В перечень «бездонных космополитов» печально знаменитой редакционной статьи «Правды» тоже был вставлен чистокровный русак Малюгин. И в список «убийц в белых халатах» тоже попали — по тем же причинам — русские профессора Виноградов и Егоров. Все, однако, прекрасно понимали, на кого направлена инспирируемая публикациями этих списков «ярость масс».)

В том, что и на этот раз речь идет об очередном еврейском заговоре, нас окончательно убеждает одна характерная деталь. Тот, кого Бушин представляет нам в своей статье под кличкой «журналист Альперович» — не кто иной, как Юрий Дружников, автор вышедшей на Западе книги о Павлике Морозове. Стоит ли особенно гадать, зачем понадобилось Бушину раскрывать скобки. Ведь как журналист, как литератор, автор этой книги известен лишь под фамилией «Дружников», а то, что «девичья» его фамилия — Альперович, это, как говорится, интимный факт его биографии. И придавая этому факту какое-то особенное значение,

напиная на него и всячески его подчеркивая, можно лишь с одной-единственной, хорошо нам знакомой целью.

Вот для кого по-настоящему опасен Павлик Морозов, — разъясняет нам Владимир Бушин. Для «бездонных космополитов», для «сионистов», для всех тех, кому не дорога Россия, ее прошлое, ее будущее, ее судьба, ее национальные интересы. И чтобы ни у кого уже на сей счет не оставалось никаких сомнений, добавляет:

Для них он — «глубоко опасен и сейчас. Как опасен для них Александр Невзоров в «600 секундах», Виктор Анпилов и Сажи Умалатова, Светлана Горячева, Николай Павлов, Сергей Бабурин, Владимир Исаков в парламенте России. Как опасен для них сам народ».

Список красноречивый, что и говорить. Лет пять тому назад нас, быть может, еще и могло бы удивить, что оголтелые коммунисты, откровенные монархисты и почти откровенные русские фашисты предстают перед нами в одном списке, как верные друзья и единомышленники. Но сегодня, когда словосочетание «красно-коричневые» давно стало расхожим политическим термином, этим уже никого не удивишь.

Именно стремление найти некий единый символ, который еще прочнее, еще крепче повязал бы «красных» с «коричневыми», побудило Владимира Бушина предпринять эту отчаянную попытку воскресить Павлика Морозова. И не просто воскресить, а дать этому старому миру новый смысл, новое идеологическое наполнение. Потому и в роли истинного палача, гонителя и убийцы Павлика предстает перед нами уже не кулак с обрезом, а крючконосый борзописец с шариковой ручкой или пишущей машинкой (а то и с компьютером) — платный наемник «мирового сионизма». Потому и сам Павлик обрел новые для этого образа черты «христианского мученика». Теперь он уже не жертва «жестокой классовой борьбы», а страдальц, отдавший свою жизнь «за Русь, за нашу веру». (Даром, что ли, не красный пионерский галстук, а две березы символизируют теперь смысл и значение его подвига).

Эволюцию общественного сознания от коммунистической к христианской системе ценностей, казалось бы, можно только приветствовать. Ведь в отличие от коммунистической, христианская система ценностей вызывает к любви, — а не к ненависти.

Но у наших «новых христиан», к каковым несомненно причисляет себя Владимир Бушин (не зря статья его завершается мистическим указанием на то, что два гонителя его героя умерли, хоть и в разные годы, но в один день: в день убийства Павлика), — так вот, у новых наших «христиан» эта их так называемая «христианская» система ценностей вызывает отнюдь не к любви, а тоже к ненависти. На сей раз, правда, уже не к классовой, а к расовой, национальной.

Но даже если бы и не было в бушинской попытке воскресить старый миф о Павлике Морозове этой расистской подоплеки, существа дела мало бы изменилось. Ведь «подвиг» Павлика, как его ни объясняй и ни

истолковывай, в самой сути своей несовместим с библейскими заповедями, ставшими основой и христианской морали. «Почитай отца твоего и матерь твою...» — гласит пятая заповедь, предшествующая таким, как — «Не убий», «Не укради», «Не лжесвидетельствуй»... И только коммунистическая мораль разрешает — и даже предписывает — нарушить эту заповедь во имя иного, высшего долга, — иной высшей морали.

Нет, как бы ни прикидывались Владимир Бушин и его единомышленники радетелями за истинную, христианскую мораль, цель у них — иная. Прямо противоположная. Любыми средствами, любыми способами, под любой новой вывеской хотят они сохранить свою перевернутую, античеловеческую, антихристианскую систему нравственных координат, где заповедь «Почитай отца твоего и матерь твою» замещается другой, противоположной: «Предай отца своего и мать свою, если того требуют иные, высшие интересы, ибо морально все, что служит...» Чему? Раньше сии говорили — «делу пролетариата». Теперь говорят: «делу возрождения России». Завтра, глядишь, придумают что-нибудь еще. На самом деле судьба России волнует их так же мало, как и пресловутое «дело пролетариата». Им важно только одно: чтобы сохраняла свою власть над душами людей вот эта их перевернутая, звериная мораль.

Мирон Петровский

ШУМ И ЯРОСТЬ АРКАДИЯ БЕЛИНКОВА

Опыт комментария к одной автобиографии

Обочины железной дороги кишмя кищели афоризмами. В полосе отчуждения их можно было собирать как грибы. Грубо намалеванные на фанере огромными трафаретными буквами, они дерзко выкрикивали вслед то, о чем мы не могли сказать в наших статьях и книгах. Разве что в тестом дружеском кругу, в заполночных кухонных посиделках, за бесконечным чаем и скорострельными сигаретами.

«Нормальное положение шлагбаума закрытое». — Мы, романтики либерализма на грани пятидесятых и шестидесятых годов, горько усмехаясь, соглашались: увы, закрытое. Для нас. Для других. Для всех.

«Берегитесь высоких платформ!» — Мы гордо вскидывали подбородки: это мы стоим на высокой платформе, опасной для нас. Но, может быть, и для них...

«Не ходите по путям!» — Мы искали другие пути, и любые, отличные от ихних железных, поначалу казались привлекательными. Неприятие тех путей объединяло. Это уже потом, много после, пестрый идеологический клубок шестидесятых распался на множество нитей разного качества, цвета и направления, но тогда, в античную эпоху советского либерализма, привлекательным и драгоценным казалось все, что не с ними, все, что против них.

«Сбережешь минуту, потеряешь жизнь». Ну, это уже был прямой призыв если не к конспирации, то к чрезвычайной осмотрительности, потому что простодушных ласточек, принявших оттепель за весну и прилетевших первыми, стаями и поодиночке отправляли зимовать обратно. В том самом киевском здании, где некогда судили — и оправдали — Бейлиса, непрерывно шли процессы над людьми, вся вина которых состояла в том, что они научились отличать правду от лжи, и ни один из этих правдолюбцев не был оправдан. Мог ли советский суд не проштамповывать приговор, заказанный комитетом государственной безопасности?

«Входа нет. Выхода нет. Надписи в метро» — поставил, а затем вынужденно снял эпиграф к своей книге Аркадий Белинков. Впрочем, в экземпляры, которые он раздавал, Аркадий вписывал этот путейский афоризм — острым карандашом, своим острым почерком.

Никуда не впускаемый и ниоткуда не выпускаемый, порывистым жестом отчаяния я сбежал в Москву со смутной надеждой затеряться в столичном многолюдстве, уйти из поля зрения моих киевских опекунов, искусствоведов в зеленых фуражках и в штатском. Наивную попытку спрятаться от тюремщика в соседней камере сопровождали многозначительные железнодорожные афоризмы с обеих сторон поезда.

И надо же так случиться, что первый человек, к которому я обратился по рекомендации друзей, вместо того, чтобы спровадить беглеца куда-нибудь на подмосковную дачу, привел меня в какой-то замоскворецкий дом на сходку снобириующих диссидентов (впрочем, тогда еще и слова такого не было). До тех пор я полагал, что одно и то же помещение не может быть одновременно карбонарской вентой, литературным салоном и блатной хазой. Хозяин, румяный молодой человек, выгуляв огромного пса, вернулся к заждавшимся гостям — и началось чтение стихов и прозы, истерическая оппозиционность которых была, боюсь, единственным их достоинством. Присмотревшись к этой публике, я понял, что многие попали сюда, как и я, впервые, друг друга они не знают, никто не знает всех. Их эскапады были не ответственным мужеством убеждения, а самолюбующимся баухальством непуганых детей. Этую среду я знал — она была беззаконна. Входа не было, выхода не было. Надписи на лбу.

Я отозвал румяного хозяина на кухню и коротко рассказал ему о волне обысков и арестов, накрывшей Киев. Я намекнул на разумную осторожность в духе железнодорожного афоризма «Сбережешь минуту — потеряешь жизнь». — «Ну, это только у вас в Киеве может быть такое!» — возразил он хорошо поставленным голосом столичного превосходства и почесал собаку за ухом. Простодушный провинциал, я сделал все, что мог: предупредил. Собака глядела на меня умытыми глазами, но сказать ничего не могла.

Через две недели, узнал я стороной, в тот дом «пришли». Впрочем, обыск был совсем по другому поводу: румяный хозяин был замешан в историю с подделкой документов, с помощью которых друзья пристраивались в московские вузы. Вот за этими поддельными документами и охотились обыскивающие. Во время обыска — совершенно случайно — вместе с фальшивыми аттестатами были прихвачены документы иного рода, те самые стихи и проза. Разобравшись в изъятых бумагах, обыскивающие, надо полагать, взывали от восторга: о таком подарке они могли только мечтать. Через четыре часа они (или их коллеги из КГБ) явились с повторным обыском, на этот раз уже всерьез. За эти четыре часа можно было сделать многое — вынести, перепрятать, уничтожить. Обескураженный хозяин не сделал ничего. Успех второго обыска был полный.

— Нет уж, — чуть ли не кладая зубами от ненависти и презрения, сказал Аркадий, когда до него дошла (не через меня) эта история, — нет уж, если занимаешься политикой, то будь добр уголовщиной не баловаться.

Казалось, что с политикой уже все ясно. Преступность режима не подлежала сомнению, хотя до отказа от надежды немного подправить режим было еще далеко, и противоречие между безнадёжностью и надеждой — не особенность этой фразы, а свойство тогдашнего мышления, одно из проявлений пресловутого «двоемыслия». «Чуть больше социализма и чуть меньше репрессий», — язвил по этому поводу Аркадий. В этом смысле — по крайней мере в этом — он отнюдь не был шестидесятиком. В

своем критицизме он опережал шестидесятые годы на добрую четверть века. Его — едва ли не в равной мере — не понимали и приверженцы, и тогдашние оппоненты режима.

В задушливой атмосфере нашего бытия тонкой пластинкой сквозняка ощущалась необходимость некоего текста — книги, что ли, которая в противовес утомительной назойливости официальной пропаганды дала бы систематическую критику советского полу столетия, его идеологии и практики, замкнула бы разброс претензий, стала бы точкой нового отсчета. Кто из молодых людей тех лет не мечтал об этом? Такого текста не было, его — в порядке идеологической самодеятельности — собирали по словечку, по фразочке из старых и новых источников, и обнаружив такой фрагмент (у Пушкина, Чаадаева, Кюстина, Козьмы Пруткова или даже у Маркса), радостно делились им друг с другом. Ожидаемая книга, казалось, должна была явиться с Запада, — где же еще, как не на вольном Западе, можно свободно собрать информацию, свободно осмыслить ее и свободно предъявить.

Но вольный Запад сам загнал себя в угол идеей, которая позже будет названа «детантом» — не надо, дескать, дразнить зверя, не лучше ли успокоить его и попробовать если не приручить, то хотя бы образумить? Те немногие тексты, которые проникали оттуда через щели в железном занавесе, казались составленными в другой галактике, — они поражали глубиной непонимания наших обстоятельств и самообманом свободных мыслителей вольного Запада. Доморощенный самоделковый самиздат делал первые робкие шаги, вслепую продвигаясь вперед и нащупывая в темноте самого себя.

И вот у меня на столе лежат пятьсот аккуратнейших, педантично вычитанных машинописных листов. Третий или четвертый бледный экземпляр ослепительно яркого текста. Яростно клокочущая и ювелирно отделанная проза. Стилистически ориентированная на так называемых «русских формалистов» — Шкловского, Тынянова, пожалуй — Эйзенштейна, но опровергающая её напряженным социологическим анализом. Литературоведение — по верхнему слою; по сути — громыхающая историософская публицистика, то и дело взрывающаяся неистовыми протуберанцами. Антисоветская листовка в облике монографии. Называется не броско, со сдержанной корректностью: А.Беликов. «Юрий Тынянов». Следовало бы назвать: «Дело о преступном советском режиме и его реакционной идеологии».

Не то чтобы писать так и такое, но и подумать про себя что-нибудь в этом роде.. Бледный шрифт прожигает бумагу. Рукопись раздавливает стол. Читаю всю ночь напролет. Экземпляр рукописи был вручен мне при первом же знакомстве, с величественным спокойствием, потому что рукопись уже отнесена в издательство. Несколько лет спустя этот ход станет общедоступным: цензурано безнадёжная рукопись сдается в издательство и одновременно — в самиздат; поди потом разберись, откуда текст пошел

гулять — из авторского ли, из редакционного ли портфеля. С автора, как говорится, взяты гладки. Но Аркадий, видите ли, всерьез собирается издать это в «Советском писателе», с которым подписан договор. «Они пошли на заключение договора, поскольку, когда я вернулся по амнистии, было принято жалеть вернувшихся. Они заключили со мной договор в надежде, что я не напишу книгу. А я написал...» Аркадий, дорогой, вы что, сумасшедший? Самоубийца? Вы полагаете, что это можно напечатать в советском издательстве? Что это можно хотя бы показать в советском издательстве?

Юрий Тынянов написал книгу об Александре Грибоедове, где рассказывает о том, как «на законном основании коллежский советник представил бумагу, в которой истребовал себе королевскую власть».

Аркадий Белинков, отнюдь не коллежский советник даже, а вчерашний зек, недавно амнистированный и еще, кажется, не реабилитированный, на законном основании представил рукопись, в которой истребовал себе право судить советскую власть. И осудить ее.

Но это лишь половина дела. Свой приговор вместе со всеми прилежащими судебными протоколами — свою почти литературоведческую книгу о Тынянове — он подал в одно из самых свирепо-официозных советских издательств (а других-то ведь и не было!). И тут произошло нечто совершенно невероятное: одно из самых свирепо-официозных советских издательств выпустило книгу в свет. Появясь эта книга в самиздате — автору не избежать бы нового многолетнего срока. Но она вышла в «Советском писателе», снабженная всеми надлежащими реквизитами — подписью редактора, визой цензора и прочим — и читателям оставалось только не верить собственным глазам, растерянно недоумевая: что это — чудо, фокус, провокация, грандиозная опечатка на двадцать с лишним печатных листов или уже так можно? Если представить себе более чем фантастическую картину — имперского всадника, убегающего по потрясенной мостовой от «ужо тебе!» бедного Евгения, который преследует его с тяжелым грохотом, то описываемая реальность сравнима разве что с этой гиперфантастикой.

Парадоксальным был и выход книги, и она сама. В стране победившей революции Аркадий написал книгу о том, как мерзостна реакция после победенной революции, и — разве не парадокс? — обе ситуации оказывались похожими до неразличимости. Это сходство становилось возможным лишь потому, что Аркадий рассматривал перерождение победившей революции как ее поражение, но вот вопрос: переродилась ли Октябрьская революция или же она последовательно всегда была равна сама себе?

Еще один парадокс — идеологическая недифференцированность книги, особенно заметная сейчас, через сорок лет после ее выхода, а тогда почти неосознаваемая. В «Юрий Тынянове» Аркадия Белинкова как единое целое представлены все голоса, оппонирующие советскому режиму, от голоса либеральнейшей демократии с требованием полного набора личных

свобод — до голоса перманентной революции: «... В России было ровно столько революций, сколько могло быть, но было их в прошлом слишком мало...» (оценим это угрожающее «в прошлом»!).

Сосредоточенная на эпохе декабризма (точнее — на эпохе разброда и реакции после поражения восстания), книга Аркадия подобна декабризму своим слитным многоголосием. Ведь никакой целостной идеологии декабризма не существовало, в декабризме были заявлены все голоса несогласия и противостояния, голоса, которые, конечно, вычленились бы и развились в самостоятельные политические направления, продлились жизнь декабризма немного дольше (с восстанием или без него). Резко личностная, книга Аркадия отменно представляла свое время — раннюю, «декабристскую» эпоху отечественного диссиданса, его жадную юность, но у Аркадия — какую-то уж очень «взрослую» юность. «В «Смерти Вазир-Мухтара» декабризм представлен людьми, которые «с бешенством проповедуют умеренность», — с удовольствием цитировал Аркадий Тыняновский сарказм. Про самого Белинкова, автора книги «Юрий Тынянов», можно было сказать, что он отвергает большевизм с большевистской нетерпимостью, проповедует либеральную демократию с безудержным революционаристским радикализмом.

После выхода книги Аркадия Белинкова «Юрий Тынянов» официозная критика предпочла сделать вид, будто ничего не произошло (через восемь лет она по команде спохватится, и тогда начнется травля всерьез, «на поражение»). В «Литературной газете» появилась рецензия Виктора Шкловского под названием «Талантливо!». Совершенно игнорируя смыслы книги, рецензент настаивал на ее превосходных литературных качествах. Оно и понятно — любая попытка выявить смыслы книги превратила бы рецензию в донос, а время столь решительных действий в отношении Белинкова еще не пришло. «Фанера на шесте, на фанере написано «талантливо», а шест высокий: Шкловский», — повторял Аркадий чью-то дефиницию. Рецензия как-то замазывала несомненный скандал и на время защитно прикрывала книгу, но разговоров о своей литературной талантливости, то есть об умении писать «красиво», Аркадий не выносил и в ответ на комплименты этого рода, клокоча, скандировал Маяковского: «Для меня сейчас неважная честь, что рифмы чудные рожу я. Мне только как покрупнее уесть, уесть пожирнее буржуя». Хотя «уедал» он как раз не буржуя...

После выхода книги ему предложили вступить в Союз писателей. Так сказать, пригласили. Неслужащий интеллигент считался фигурой не то чтобы подозрительной, а откровенно преступной. Именно это — «тунеядство» — через несколько лет стало формулой обвинения на процессе Иосифа Бродского. Членство же в Союзе писателей давало определенный статус. Для поступления Аркадий написал автобиографию — кажется, самую необыкновенную автобиографию, которая когда-либо подавалась в это казенное учреждение. Аркадий представил не формально-ритуальную

справку — родился, учился, женился и так далее — а художественное произведение, наполненное тем же шумом и яростью, которыми громыхает его книга. Я тогда же выпросил у него экземпляр этого документа, и Аркадий, подписав и поставив дату, подарил его мне. Привести его здесь следует не только потому, что он, насколько мне известно, никогда не был в печати, но и потому, что этот документ (слово, которое так и тянет взять в кавычки) дает представление о книге, давно ставшей библиографической редкостью и легендой, о ее авторе, о том, как он разговаривал с могущественным советским учреждением. Не писательским министерством, по определению нынешних публицистов, а с отделением КГБ по пригляду за писателями и борьбе с ними (что гораздо точнее).

В 1940 году я поступил в Литературный институт им. Горького и тогда же на искусствоведческое отделение филологического факультета ИФЛИ.

Я писал стихи и щурился. Я не одобрял тех, кто не пишет стихи, а занимается всякими другими делами.

Творческий путь мой, дорогие товарищи, короток, но, несомненно поучителен и печален.

Я пришел в Литературный институт с тощими и полными яда стихами (я был молодым скептиком и сnobом в зеленых клетчатых штанах), и только хорошо знающий жизнь и много переживший человек мог верить, что автор этих стихов когда-нибудь бросит это занятие.

Таким человеком был заведующий кафедрой творчества Илья Львович Сельвинский.

Он взял меня в институт с условием, что я брошу писать стихи.

Начав писать прозу, я попал в семинар Виктора Борисовича Шкловского.

Виктор Борисович Шкловский согласился подписать мою дипломную работу — художественное произведение — с условием, что я больше никогда не буду писать художественные произведения.

Оказавшись в безвыходном положении, я стал критиком.

Все произошло, как в известном романе З.Паперного:

«Ночка темная приключилася...»

Это произошло во время войны, когда выбор жанра и нюансы стиля в жизни общества не играли решающей роли.

Я писал очерки на радио, четверостишия для окон ТАСС, грыз сухарь, ездил на фронт и дул на руки на холодном и длинном военном ветру.

29 января 1944 года по подложму доносу я был арестован органами государственной безопасности и просидел в тюрьмах и лагерях двенадцать с половиной лет. В 1956 году было установлено, что я ошибочно содержался под стражей двенадцать с половиной лет, и, после того как ошибка была установлена, а я просидел в тюрьмах и лагерях двенадцать с половиной лет, меня освободили.

В Москву я вернулся инвалидом II группы с комбинированным пороком сердца, туберкулезом легких, ревмокардитом, атрофическим цирозом печени, малярией, хроническим тонзиллитом и легкой возбудимостью при всяких ночных шорохах возле двери.

Но случилось так, что мне выдали 426 рублей — двухмесячную стипендию, — у меня было прекрасное настроение, я сбежал в институт, получил диплом, купил собаку и женился.

(В ту пору я был легкомыслен, как всякий человек, который еще не пробовал издать книгу).

И тогда мимо меня в длинной консерваторской толпе прошла женщина.

Потом я сел за письменный стол и написал книгу.

Это было очень весело и легко, я сделал это, почти не затрачивая усилий, кроме всего еще и потому, что меня предупредили, что на творческий процесс нельзя тратить много сил, ибо они понадобятся для более важных и актуальных вопросов.

На более важные и актуальные вопросы, как-то издание книги и поиск хлеба, я потратил гораздо больше времени, чем на творческий процесс, и гораздо больше сил нервной материи, энергии, фантазии, хитрости, изобретательности, изворотливости, жизненного опыта и выносливости.

Некоторые выборочные цифровые данные помогут осветить эту выразительную и актуальную картину: я был инвалидом III группы, когда начал издавать книгу, а кончил это занятие уже инвалидом II группы, т.е. таким же, как после тюрем и лагерей. Таким образом, мы наблюдаем несомненный рост.

И все-таки у меня нет ощущения безнадежной гибели русской литературы.

Все-таки я верю, что книги писать нужно, что книги писать можно.

Что все-таки их не до конца вытаптывают в издательствах.

Что они нужны людям.

Я неисправимый оптимист.

Пусть товарищи меня поправят.

1961 год, 4 апреля.

Малеевка.

Аркадий Белинков.

Не знаю, понята ли современному читателю неслыханная дерзость предъявления по начальству этой автобиографии. В ней штатные палачи извещаются о том, что их усилия, направленные на погубление русской литературы, хорошо известны, учтены и безнадежны. Что эти усилия не достигают цели и, следовательно, не только преступны, но и бессмысленны. Что он, Аркадий Белинков, русский литератор, смеет смеяться над их мнимым всесилием.

Стилистика этого «документа» не менее дерзостна, чем его прямые смыслы. Вместо положенной смиренной канцелярщины предъявлено, по

сути, художественное произведение, быть может — стихотворение в прозе. Справка, востребованная для бюрократического ритуала, написана той же рукой, с той же непреклонной резкостью, что и книга. У этой стилистики, помимо крутой выразительности, есть и свой смысл: автор отказывается играть с чиновниками от литературы по их правилам, тем самым отлучая их от литературы. Отшвыривает их, не нагибаясь.

Поступил в Литературный институт и на искусствоведческое отделение филологического факультета ИФЛИ... К началу шестидесятых годов Институт философии, литературы и искусства (ИФЛИ) успел стать легендой о каком-то небывалом «советском лицее», где высочайший уровень преподавания сочетался с хартией вольностей для студентов. Бывшие воспитанники ИФЛИ — те, кто выжил на войне, — с опозданием и с трудом, но впечатляюще входили в литературу. Насколько я мог понять, Аркадий и среди них был аутсайдером, во всяком случае, ни с кем из них знакомство не водилось, имена их в разговорах не назывались. Только однажды, был случай, я застал Аркадия в крайнем раздражении, превышающем даже его обычную норму. Раздражение было вызвано только что состоявшимся визитом Бориса Слуцкого. — Нет, вы подумайте, — клокотал Аркадий, — он пришел и с порога заявил: излагай только факты! Только факты — никаких оценок и концепций! То есть: твое мнение знаю наперед и слышать о нем ничего не хочу, выводы сделаю сам! Это он так блудет свою комиссарскую невинность от моего лагерного разврата! Я его выгнал, чуть не выставил, хотел попросить уйти, все рассказал...

Литературный же институт упоминался в связи с доносом («29 января 1944 года по подложму доносу я был арестован...»). Называлось имя студентки, комсомольской активистки и мастерицы эпистолярного жанра, которая написала то письмо в компетентные органы, за которое Аркадий заплатил годами тюрем и лагерей. В пору наших с Аркадием бесед она, уже достопочтенная литературная дама, вполне благополучествовала и, отогревшись на нежарком от тепельном солнышке, с талантливой осторожностью обличала мерзости сталинизма.

Здесь, надо полагать, было некоторое преувеличение, неполная, так сказать, корректность: никакого доноса не требовалось. Свой студенческий роман Аркадий, по его собственным же рассказам, давал читать стольким, и сам стольким читал, что раньше или позже он был бы услышан недреманным ухом. Аркадий словно бы сам спровоцировал арест, опьяненный победой: шутка сказать, первый роман! Не мог же не понимать, что по адским обычаям того времени чтение неизданной рукописи считалось криминалом, а ее читатели и слушатели — соучастниками. Ведь Аркадий и сам любил напомнить кстати, что Россия — единственная страна, где мирный акт чтения — государственное преступление, и великий писатель Достоевский был присужден к расстрелу не как писательだけ, а как читатель. За чтение вслух одного неподцензурного письма.

Автобиография, представленная по начальству, считается кислотами и ядами, полна вызывающего сарказма и мистификаций. Дело даже не в том, что она начинается 1940 годом, когда Аркадию было 19 лет, и в его жизни, надо полагать, к этой дате накопилось немало былого и дум, «сыгравших значение», как говорили советские функционеры. При ранней памяти (он уверял, что хорошо помнит траурные дни Дзержинского), при кипучем темпераменте и обостренной рефлексии к девятнадцати годам накапливается целая жизнь. Но Аркадий пишет автобиографию литератора, писателя, «ауктора», то есть действователя, уже создавшего нечто, а эта автобиография, по его разумению, только тут и начинается. Как в пушкинской маленькой трагедии, «форгешхте» («предыстория») опущена, а «история» превращена чуть ли не в прокламацию, брошенную в лицо тем, кого она же и обличает. Среди множества осевших в архивах бумаг — свидетельств испуга, сломленности, подлости и предательства, эта автобиография должна остаться маленьким памятником человеческого достоинства, сопротивления, антистраха.

Вместе с тем, по всему тексту автобиографии разлито свободно игровое отношение к фактам собственной жизни, мистификаторские уловки, если понимать под этим замену (или усиление) фактов «незнаковых», реальных, но мало что говорящих, на другие, частично или полностью выдуманные, зато обладающие необходимым смыслом, значащие и «знакомые». Автобиография Белинкова едва ли может послужить «источником» для историка, с точки зрения историка она неверна, но она глубоко верна в художественном смысле слова. Образ человека и писателя, заключенный в маленьком тексте, достоверен и красноречив.

В устном общении Аркадий тоже непрерывно мистифицировал свою биографию — в большом и в малом. Чего стоит, например, его рассказ о том, что поцеловав девушке руку, он, шестнадцатилетний, был уверен, что теперь, «как честный человек», обязан жениться? Или рассказ о том, как впервые (будто бы впервые) столкнувшись с лагерной феней, он был настолько наивен (будто бы наивен), что спросил, все ли можно выразить на фене и как будет, например, «Академия наук СССР»? Ясно, что это были рассказы с установкой не на факт, а на образ. Лепился образ, соответствующий действительности: городской юноша из интеллигентной среды, почти мальчик, опередивший в развитии сверстников по многим статьям и непроходимо инфантильный по другим, брошенный в гулаговское пекло. Смею думать, что в совписовской автобиографии легкая мистификация коснулась строк и об учителях, и о состоянии здоровья, и о войне.

Его отношение к войне было иное. Эту войну надо было проиграть! — огорожил он меня однажды. Я к тому времени уже несколько притерпелся к некоторой, мягко говоря, нетрадиционности суждений Аркадия, но эта мысль показалась мне не то чтобы парадоксальной, а откровенно кощунственной. Наслаждаясь моей растерянностью, Аркадий пояснил: де-

мократические сдвиги в Российской империи всегда были следствием военных поражений. Победы питали реакцию.

Грустную закономерность, связывавшую развитие демократии с военными поражениями, я давно знал, выведя ее самостоятельно из опыта изучения отечественной истории. Но на войну Отечественную мысль не посыгала. Отечественная война оставалась едва ли не единственной ценностью, которую приходилось делить с режимом. Застигнутый врасплох, я не нашел, что возразить, хотя ощущал неправоту Аркадия, как кость в горле.

После бессонной ночи я напросился к Аркадию и предложил ему — в продолжение вчерашнего разговора — такие, примерно, выкладки. Делая ставку на пораженчество, демократия должна учитывать не только естественные патриотические чувства воюющего народа, но и — первейшим образом — характер войны. Попросту говоря — с кем, как и ради чего ведется война. Именно характер войны, а не подлинные или мнимые причины и поводы, не силы и пружины, не экономические обстоятельства и политические интриги, развязавшие войну. Отечественной войну сделал не Сталин, пытаясь объединить им же расколотый и наполовину уничтоженный народ; Отечественной ее сделал, как ни странно, Гитлер, начав войну на уничтожение. Перед угрозой геноцида бледнеют и теряют смысл (на время хотя бы) внутрисоциальные и политические проблемы и разногласия. Война приобрела характер борьбы против тотального уничтожения, за выживание рода. Такую войну проиграть нельзя.

И выиграл эту войну, продолжал я излагать своиочные размышления, не Сталин и не его мясники-маршалы. Выиграл войну воюющий народ, буквально, а отнюдь не метафорически утопив врага в своей крови. А Сталин узурпировал победу и немедленно отменил демократические надежды народа-победителя. Конечно, вопрос стоял бы иначе, окажись другой противник, если бы, скажем, войну против СССР вел блок буржуазных демократий. История, как верно твердит банальный афоризм, не знает сослагательного наклонения, но человеку, осмысливающему свое место в истории, без него не обойтись. Эту войну нельзя было проиграть...

Я был поражен вниманием Аркадия к моим доморощенным историософским выкладкам. Но еще больше меня поразило то, что выслушав эти выкладки, Аркадий после недолгого размышления согласился со мной. Насколько помню, это был единственный случай, когда по серьезному поводу он согласился со мной, да и вообще с кем бы то ни было по какому-либо поводу.

Илья Сельвинский и Виктор Шкловский, помянутые в автобиографии в качестве первых наставников, занимали в мыслях Аркадия особое место. Это были любимые враги, учителя, которых следовало изобличить и опровергнуть, выставить на всеобщее обозрение как примеры творческой катастрофы, неизбежно карающей отступничество даже очень талантли-

вых людей. Имя Иосифа Флавия, перебежчика, было на устах и под пером Аркадия самой мягкой из метафор, осмысливших их судьбу.

Блистательно начинавший в 1920-е годы, удачливый соперник Маяковского («последнее его стихотворение — это пародия на меня»), поэт с репутацией интеллектуала, по праву поднимавший тост «за всех учителей моих — от Пушкина до Пастернака», Сельвинский, отступившись, превратился, по любимой формуле Аркадия, «из пророка в аккомпаниатора государственной мудрости», выщел, поблек и заметно поглувел. Дальше — хуже: он публично предал Пастернака, с неприличной поспешностью закричав: «И я, и я!», когда науськиваемая сверху толпа честных советских граждан забрасывала поэта камнями и грязью. Это было гражданская смертью.

Виктор Шкловский, генератор идей, которые сдвинули с мертвой точки русскую — и мировую — филологическую науку, создатель теории, которая в том или ином изводе входит в основные литературоведческие концепции современности, выдал на расправу идеи своей молодости, поскольку они не были приняты идеологами советской государственности. Вместе с тем он предал и своих единомышленников, своих соавторов и свою гениальность. Он согласился на скромную талантливость, ограниченную рамками советской заурядности. Великий изобретатель, он стал неплохим популяризатором, не устававшим повторять, что его изобретения были досадной ошибкой. Это была катастрофа, поскольку он по-прежнему понимал, что литература все-таки вертится.

Анализ отступничества, «сдачи и гибели советского интеллигента» стали не просто «темой» второй книги Аркадия, но сфинксовой задачей, не решив которую невозможно было продолжать жить. Тема была определена жестко и бескомпромиссно, требовался персонаж, наиболее удовлетворяющий теме, и Аркадий подбирал его, как кинорежиссер подбирает актера, органически сливающегося с ролью. Пробы на роль — с точки зрения Аркадия, вполне удачные — проходили Сельвинский и Шкловский. Со свойственным ему темпераментом Аркадий истекал ненавистью к своему потенциальному персонажу, но при этом продолжал знаться со Шкловским, искал встречи с ним, охотно навещал его. Что это было? Изучение, так сказать, натуры? Двойственность самого Аркадия или изощренное самомуучительство? Аркадий, зачем же вы общаетесь с человеком, о котором знаете, кажется, все, и которого предназначили в прототипы отрицательного персонажа своей будущей книги? Аркадий уходил от вопроса, отмалчивался.

Однажды он в прекрасном настроении вернулся с Наташей от Шкловского (визит, следовательно, был семейный). Наташа, поощряемая Аркадием, рассказала, что Виктор Борисович был дома один и за чайным столом попросил ее принять на себя роль отсутствующей хозяйки. Выполняя эту нетяжкую обязанность, Наташа стала наливать чай в чашку Виктора Борисовича сразу из двух чайников — одного с заваркой, другого с ки-

пятком. И тогда неожиданно, прервав беседу с Аркадием на полуслове, Шкловский схватил ложку и начал раздраженно выплескивать горячую жидкость из своей чашки с воплем: «Я пью одну заварку!» — словно возможно отделить от заварки уже смешавшийся с нею кипяток. Аркадий с удовольствием слушал и подхватил Наташин рассказ — в этом эпизоде, дескать, весь Шкловский, весь непредсказуемый парадоксализм его мышления! И без паузы, через запятую перевел интонацию восхищения в интонацию обличения: но как он мог смешать крутую заварку своей филологической молодости с ледяным советским кипятком!

На роль «сдача и гибель советского интеллигента» он выбрал Юрия Олешу, и это, кажется, был не самый удачный выбор. В названии книги ««Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша» первая часть важнее, чем вторая.

Советская монография о творчестве советского же писателя была жанром априорным. Литературным упрядом было непререкаемо известно, кто из советских писателей тянет на монографию, а кто не тянет. Монографическая работа о творчестве писателя выдавалась как правительенная награда, как разновидность ордена или лауреатской медали — за выслугу лет и добросовестное служение. Сам факт выхода такой книги свидетельствовал об официальном признании, об одобрении и поощрении очередного инженера человеческих душ. Поэтому монография, посвященная советскому писателю, — жанр безоговорочно апологетический.

Он, Аркадий, мечтает разрушить установку жанра на апологетику. Он подумывает о монографическом исследовании творчества, прости господи, Всеволода Кочетова, неудобоупоминаемого литературного монстра, или кого-нибудь еще из того же соцреалистического бестиария. И в исследовании подробно, без фельетонной спешки, рассмотреть специфику этого явления в связи с порождающими обстоятельствами. Рассмотреть социалистический реализм в контексте реального социализма.

Разговоры о жанрах велись не на пустом месте — у меня незадолго до того вышла книжечка (первая моя бедная книжечка), которая была обозначен как «критико-биографический очерк». Жанр оказался не «формой», безразлично облекающей «содержание». Жанр был учрежден и разработан именно для апологетической брехни, и лживый жанровый канон властно навязывал лживое каноническое содержание. Сколько мог, я пытался сломать жанр или хотя бы выйти за его рамки, но мои силы новичка оказались несоизмеримыми с натренированными силами издательства, ритуально блюдущего предустановленную традицию. Книжечку мою Аркадий великодушно одобрил, скорее из добрых чувств к автору, нежели по ее собственным замечательным качествам. Подлинное же свое отношение к ней он выразил в дарственной надписи на своей книге (на первом издании «Юрия Тынянова»):

Дорогой Мирон!
Возьмите керосин и спички!
Вооружитесь тилой, топором, костылем!
Берите камень, нож или бомбу!
Хватайте копье, ружье, крупнокалиберное орудие!
Вы слышите меня, Мирон?
Убивайте жанр очерка жизни и творчества!
На фонарь!

9.2.61.

Арк. Белинков

Нож, ружье, дальнобойное орудие и бомбу не следовало, разумеется, понимать слишком буквально. Эти смертоубийственные метафоры выражали, конечно, не его террористические замыслы, а его яростный темперамент сопротивления. В блестящем — едва ли не вровень с Герценом — русском писателе Аркадии Белинкове сидел непримиримый жестоковынный иудей. Казалось, что если бы беспощадная судьба лишила его рук и ног, он зубами выгрызal бы свои инвективы на камне. Кое-что судьбе, надо признать, все-таки удалось: «В Москву я вернулся инвалидом II группы...» Во всяком случае, длинное издевательское перечисление болезней, следующее в автобиографии за этим признанием, далеко не метафора.

Высокий четвертый этаж дома на Стромунке, как-то символически расположенного между тюрьмой, студенческими общежитиями и фабрикой Гознака, резко ограничивал свободу передвижения. Спуститься из своей комнаты в коммуналке он еще как-то мог, подъем при возвращении был проблемой. Поэтому он пользовался любой возможностью пожить у друзей на первом этаже или в доме с лифтом. Сколько раз бывало, что работая за столом, он вдруг слабо вскрикивал, тихонько звал жену и начинял крениться на бок. Это обозначало, что на него наваливается стенокардия. Лицо у него становилось белое, а губы синели. Совместными усилиями его перемещали на тахту, совали нитроглицерин и вызывали скорую. В «скорой» уже знали этого пациента, машина прибывала мгновенно, врачи вбегали со шприцами наперевес. Приступ медленно отступал, краска возвращалась в лицо, губы светлели, ресницы начинали подрагивать. И тогда, еще не раскрывая глаз, больной тянулся за карандашом и узкими, как рецепты, заранее заготовленными полосками бумаги. Да, думал я, вот это литератор: во тьме обморока, в бреду, в полуబеспамятстве он успел ухватить какую-то мысль, требующую немедленной записи...

Аркадий спешил. Очень и небезосновательно спешил. Тюрьмы и лагеря отняли у него не только те двенадцать с половиной лет, что ушли на отсидку. Они ощутимо сократили «всю оставшуюся жизнь», а оставалось ее после тюрем и лагерей примерно столько же, сколько забрали тюрьмы и лагеря. Он ловил напоминания о конечности своего земного существования и заглушал их работой, он жил на полную катушку, жил ежесекунд-

но, в удвоенном темпе, словно бы наверстывая украденные у него полжизни. Он должен был успеть исполнить свое предназначение — создать и издать свои книги — прежде, чем его вызовут с вещами на выход для последней пересылки.

На издание книги и впрямь было истрачено едва ли не «больше времени, чем на творческий процесс, и гораздо больше сил, нервной энергии, фантазии, хитрости, изобретательности, изворотливости, жизненного опыта и выносливости». Книга Аркадия Белинкова о Юрии Тынянове была беспрецедентным явлением в истории советского книгоиздательства, советской литературы, советской власти. И, конечно, советской цензуры, никогда не упоминавшейся под этим цыкающим именем: с ханжеской стыдливостью оно заменялось в издательской практике соловьевым — на два «кл» — эвфемизмом «главлит». Словечко очень содержательное, ибо главным в литературе был именно главлит или, откровенно говоря, цензура.

Цензорской функцией вместе с главлитом были наделены все этажи издательской иерархии — от младшего редактора отдела до директора и главного редактора издательства. Институты рецензентов, консультантов и членов редакционного совета существовали главным образом для того, чтобы вылавливать крамолу, недосмотренную штатными сотрудниками. И собственно в цензуру как таковую рукопись поступала отпрепарированная уже настолько, что цензор мог и поблагодушествовать. Его работу уже выполнила целая армия цензорят.

Всех их Аркадий переиграл. Он со скрежещущей злобой высмеял цензуру на страницах представленной в цензуру же рукописи, а затем продолжил борьбу с нею особым способом, до которого не додумался — или на который не решался — никто из его предшественников. Он разработал тактику и стратегию подцензурного издания книги в обход и на подавление цензуры. Метод был просчитан теоретически и проверен на практике. Технология обхода и подавления была разработана с такой научной тщательностью, что через шесть лет после первого издания книги «Юрий Тынянов» удалось выпустить второе, выросшее на треть по объему и втрое по обличительной дерзости.

Впечатление от второго издания было такое, как если бы знаменитый «философский пароход» с изгоняемыми мыслителями вернулся и, войдя в Неву на место ночной «Авроры» (то ли стрелявшей, то ли нет), дал мощный интеллектуальный залп по коммунистическому Смольному.

Если хочешь что-то сказать, объяснял Аркадий свою методу, надо писать не статью, а книгу: чем обширней текст, тем легче в нем спрятать свои крамольные мысли и пасквили. В трех соснах цензор разберется, в лесу он заблудится — или его можно будет «заблудить». Деревья вырубить легко, лес — мудрено. Затем, нужно изначально задать очень высокий средний уровень свободы высказывания — редактор и цензор, как показывает опыт, реагируют лишь на то, что выше среднего уровня оппо-

зиционности текста. У них, видите ли, возникает иллюзия, что средний уровень есть уровень дозволенности, и они ополчиваются на то, что «торчит». Поэтому, далее, следует подготовить фрагменты совершенно отчаянной дерзости, куски «волчьего мяса», которыми надо будет пожертвовать после показного сопротивления, а затем колоть глаза редактору или цензору своей уступчивостью. Остальное иметь в нескольких сравнивательно равноценных вариантах, чтобы, опять-таки подчеркивая свою покладистость, по-футбольному «замотать» противника.

Не знаю, был ли знаком Аркадий с теорией стратегических игр, но, в сущности, ему не было нужны быть знакомым с нею — он ее изобрел и разработал сам. Стоит только напомнить, что в той игре, которую он вел с советским издательством, его ставкой («ценой», в соответствующих терминах) была не только судьба книги, но и свобода, если не жизнь автора.

Он играл по-крупному и хорошо знал, зачем он играет. Дипломат грибоедовской школы (даже внешне похожий на Грибоедова смоляным пробором и очками), он пускал в ход всю восточную изворотливость и всю западную логистику. Конечно, его ухищрения едва ли достигли бы цели, если бы вместе с ним в этот заговор во имя свободного слова не были вовлечены десятки его друзей-единомышленников, рисковавших не меньше, чем он. Тайная война шла на всех участках — в том числе в самом издательстве.

Ответственным редактором — то есть редактором, ответственным за то, что в книге не будет никакой крамолы, — была назначена Е.Ф.Книпович, дама умная, образованная и беспощадная, готовая лечь костью за коммунистические идеалы и свое место в советской литературной иерархии. Каждая встреча с нею (точнее было бы сказать — схватка) кончалась для Аркадия приступом стенокардии или еще чего-то (было чего). Но красавица двадцатых годов, одна из последних пассий Александра Блока, Евгения Федоровна была хотя и пожилой, однако все же дамой, и она не могла устоять, когда в разгар ее палаческих усилий над рукописью Аркадия кто-то из сотрудников издательства сообщал вскользь, что рядом на углу «выбросили» японские зонтики. Немедленно устраивался перерыв, во время которого выяснялось, что японские зонтики то ли уже распроданы, то ли вообще продавались на каком-то другом углу, а к моменту возращения редактора в издательство огнеопасный кусок рукописи уже уходил, считаясь «принятым».

В эту же, примерно, пору я показал Аркадию очень смешной научно-фантастический рассказ. Не слишком научный, но весьма фантастический: сочинитель рассказа обсуждал модный вопрос «может ли машина мыслить». Доказывая, что не может, рассказ предлагал такой эксперимент. На поле стадиона в определенном порядке расставлялось несколько тысяч человек, каждому из которых присваивалась одна — только одна — строго ограниченная функция. Получив зашифрованную информацию от соседа, каждый должен был проделать с ней некоторое преобразование

и передать результат дальше, другому, а тот в свою очередь — следующему. Попросту говоря, каждый участник эксперимента уподоблялся одному элементу тогдашнего электронно-вычислительного устройства, «триггеру», по соответствующей терминологии. В конце концов оказывалось, что несколько тысяч человек, проделав все предписанные операции, перевели на русский испанскую фразу, но, конечно, ни один из них не понимал смысла своих действий и не догадывался о конечном результате. Получалось, что машина, смоделированная из живых людей, мыслить не может, что и требовалось доказать.

Несколько не оспаривая конечный вывод, Аркадий мгновенно понял подтасовку понятий в этом эксперименте: неспособность одного элемента мыслить вовсе не означает, что не мыслит система. Ведь мышление — свойство человеческого мозга, а не отдельной его клетки (аналогия хромает). Функцию мышления осуществлял в рассказе не каждый из участников, а организатор эксперимента. Аркадию ли было не понять ошибку в рассуждении научного фантаста, если он, Аркадий, проводил, строго говоря, подобный же эксперимент. Сотни людей участвовали в издании его книги, даже не подозревая об этом. Определенная и опасная задача дробилась на множество совершенно невинных частей, скажем, полузнакомого Ивана Ивановича просили позвонить (в точно обозначенное время) вовсе незнакомому Петру Петровичу и передать привет от Николая Николаевича. Точно выстроенная цепочка (действие которой Аркадий контролировал, оседлав телефон) в конце замыкалась результатом, совершенно недоступным пониманию каждого звена. Построенная Аркадием «машина» не мыслила, но работала весьма успешно.

В самый последний момент вдруг выяснилось, что по недосмотру в книгу заверстан портрет Юрия Тынянова вместе с несколькими строчками никогда не публиковавшегося тыняновского автографа. Какую неистовую активность развел Аркадий, добиваясь немедленного изъятия портreta вместе со злополучным автографом! Ведь из-за этих нескольких «нелитованных», то есть не прошедших цензуру строчек может рухнуть с таким трудом сооруженное издание! Телефон раскалился от звонков, портрет и автограф были благополучно сняты, книга спасена. Он переиграл их всех.

Грандиозно задуманной и осуществленной режиссуры спектакля под названием «издание книги» Аркадию было мало, он ощущал себя невоплощенным режиссером с неуемной жаждой творчества. Он был хорошо осведомлен о московской театральной жизни, хотя каждое посещение театра было для него маленьким подвигом. Ведь возвращаясь домой из театра, нужно было подняться пешком (лифта не было) на высокий четвертый этаж, останавливаясь чуть ли не на каждой ступеньке, успокаивать сердце и ловить дыхание. Подъем требовал такого количества нитроглицерина, что его хватило бы на порядочный взрыв.

Но поднявшись, он немедленно начинал разговор о спектакле. Он не анализировал и тем более не пересказывал увиденное, он предлагал свою, неожиданную и острую режиссерскую экспликацию. Можно только пожалеть, что его воображаемый театр так и остался воображаемым. Но мне порой кажется — за давностью лет, что ли? — будто я видел его постановки.

Задыхаясь, он говорил, что театр на Таганке — вторичен, и это ясно всем, кто, подобно ему, успел увидеть мейерхольдовские спектакли. О Таганке нельзя говорить, что это «лучший» или хотя бы «хороший» театр, — нет, он лучший из бедственно существующих, хороший в контексте нынешней несвободной театральности. Восторги по поводу Таганки характеризуют не столько ее, сколько заторможенную, остановленную, насищенно архаизированную театральную ситуацию. Таганка же сильна не своими достижениями, а напоминанием о возможности иных путей, и в этом смысле, конечно, ей следует воздать должное...

Единственным местом, где он имел печальную возможность осуществить себя как режиссер, был лагерь. Гулаговское начальство, видите ли, хотело культурно развлекаться. Развлекать его должны были измученные непосильным трудом, сонные от голода зеки. Аркадий, по его словам, среди прочего, поставил в зоне один из самых безобидных чеховских рассказов — «Дачный муж», превратив его в гротескное действие о тотальной катастрофе: «в конце все стреляются». Постановщик разорвал цепь чеховской юмористики, и порвавшись, она одним концом била по морде охранников, другим — по сердцам заключенных. Не знаю, был ли это рассказ о подлинном событии или же очередная мистификация Аркадия, репортаж из воображаемого театра, но катастрофизм его мышления воплощался здесь с той же категоричностью, что и в его книгах.

Видели ли вы «Большевиков» в «Современнике»? Непременно пойдите, посмотрите. Там весь вечер на сцене Центральный Комитет в полном составе, после покушения на Ленина, обсуждает, что делать. А в углу Крупская штопает дыры от пуль Каплан в пальто Ильича. Спектакль доходчиво объясняет, почему большевики в 1918 году должны были прибегнуть к террору. Но остается неясным: почему они до сих пор не могут от него отказаться?

В конце 1968 года должно было выйти третье издание книги о Юрии Тынянове. По объему и глубине оно настолько же превосходило второе, насколько второе превосходило первое. Третье издание было фактически готово и не состоялось только потому, что автор стал невозвращенцем за несколько месяцев (скорее, недель) до изготовления тиража. Я сохранил типографский оттиск портрета Беликова, предназначавшегося для кляпана суперобложки третьего издания, — на случай, если кто усомнится, что третье издание было готово.

Можно было бы сказать, что с третьим изданием Аркадий просчитался, если бы этот просчет не был частью расчёта. Редактор выходившего в

далекой Бурятии журнала «Байкал» Африкан Бальбуров предложил Аркадию напечатать у него фрагменты из книги «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша», и Аркадий, избегавший журнальных публикаций из опасения помешать выходу книги, на этот раз согласился. Была достигнута договоренность о публикации трех фрагментов в последовательных номерах журнала. Выход первого из них (с коротким и значительным предисловием К.И. Чуковского) превратил периферийный, никому не ведомый журнал в столичный бестселлер. В Улан-Удэ полетели заказы на номер с публикацией Белинкова. Сложилась невообразимая ситуация: официально опубликованный текст затмевал то, о чем исподтишка толковал самиздат. Выход второго фрагмента вызвал уже настоящий скандал. Для Аркадия это не было неожиданностью. Он заранее объяснял, что не надеется на выход всех трех частей. Все три могли бы выйти, если бы журнал был ежемесячный — тогда репрессивная государственная машина не успела бы среагировать. Но журнал был двухмесячный (шесть номеров в год) — и скрипучий бюрократический механизм успел дернуться. Первая часть, конечно, выйдет, говорил Аркадий, вторая — вряд ли, но не исключено; третья не выйдет точно. Помните анекдот о буре и трех прикуривающих англичанах? Когда прикуривает первый, бур берет винтовку, когда прикуривает второй, бур целился, когда третий — бур стреляет.

Все так и вышло. После появления второго «Байкала» началась публичная травля по всей форме. Травля застала Аркадия с Наташей в заграничной туристической поездке. Возвращаться под выстрел он не пожелал. Накануне отъезда его вызывали («пригласили») в соответствующее учреждение, и следователь, тыча пальцем в страницы книги о Юрии Тынянове, задавал вежливые, но настойчивые вопросы: что, собственно, вы хотели здесь сказать? Было ясно, что начинается новая большая охота. Аркадий мучительно прикидывал: знает ли следователь о завтрашнем отъезде или не знает? Вежливо отвечая на вежливые вопросы следователя, он решил ни за что не признаваться, что у него в кармане выездные визы и билеты на завтра. Это его и спасло. Из заграничной поездки он не вернулся.

Программа жизни Аркадия Белинкова включала создание литературо-ведческой и вместе с тем публицистической трилогии: о попытке советского интеллигента выстоять (Юрий Тынянов), о попытке сдаться (Юрий Олеша) и о попытке оказать сопротивление (Александр Солженицын). Первая часть вышла в Москве (дважды). Вторая была издана посмертно — сначала в Мадриде, потом в других местах. Третья, полагают, вообще как будто не состоялась. Но это ведь заблуждение, это далеко не так — состоялись все три части. Третью следует считать не столько наброски и фрагменты, сохранившиеся в его архиве, сколько собственную биографию Аркадия Белинкова, его жизнь и литературу, его резистансную судьбу.

ДЯКУЮ ЗА... ПОЗИТИВНИЙ ОБРАЗ ЄВРЕЯ

Цього року виповнюється 100 років від дня народження єврейського літературознавця, філолога, педагога Юхима Борисовича Лойцкера, діяльність якого була пов'язана з роботою лінгвістичної секції Інституту єврейської пролетарської культури при ВУАН. Він неодноразово реорганізувався, остання похідна структура — Кабінет єврейської мови, літератури і фольклору АН УРСР — була ліквідована у 1950 році. Але Ю.Б.Лойцкера, як і багатьох інших діячів єврейської культури, було заарештовано ще у 1948 р. Реабілітований він лише в середині 50-х.

На жаль, реабілітація окремих єврейських діячів не означала реабілітації єврейської культури. Літературознавчих дослідженень з єврейської літератури в цей час майже нема. Що до Ю.Б.Лойцкера, то він в ці роки надрукував до сторіччя від дня народження Шолом-Алейхема невеличку брошурку українською мовою, яка містила біографічні дані про класика єврейської літератури. З появою в Москві у 1961 р. журналу «Советіше Геймланд» Ю.Б.Лойцкер став його автором.

Пропоновані читачам матеріали — лист Ю.Лойцкера відомому письменнику Ю.К.Смоличу, знайдений в Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України (ф. 169, оп. 2, од.зб. 519), і новела Ю.Смолича «Людина з ресторану», про яку йдеється в листі, — є гіркими свідченнями часу.

Цикл нарисів «Про хороше в людях», до якого входив і твір Ю.Смолича «Людина з ресторану», був започаткований 1964 р. в газеті «Вечірній Київ» М.Т.Рильським, з яким активно й співпрацював Юрій Корнійович Смолич. Їхня спільна праця під тією ж назвою «Про хороше в людях» вийшла друком у 1965 році, вже після смерті Максима Рильського.

Але що ж представляє собою вищезгадана новела? За що так палко дякує єврейський письменник письменнику українському? Чий образ викликав таке захоплення? Виявляється, що це жінка на ім'я Ревекка, красива, вправна, хазяйновита, яка прожила довге і важке життя з паралізованим чоловіком. Назвавши героянню новели Ревеккою, автор натякає на її єврейське походження і підкріплює цей натяк місцем її проживання — багатонаціональна Одеса. Ю.Б.Лойцкер, як видно з листа, беззастережно приймає ретельно замаскований персонаж, вписаний, як нам зрозуміло сьогодні, не надто переконливо. Особливо відчувається відсутність вказівок на час дії. Автор свідомо уникає табуйованої теми Голокосту, юдінним чином не пояснюючи, як змогла вижити єврейка з нетранспортабельним чоловіком під час окупації Одеси.

Ось якою обмеженою була «свобода» часів відлиги 60-х, яка майже не торкнулася «єврейського питання»: про це свідчать і наявні в листі посилання Ю.Б.Лойцкера на антисемітські публікації в тодішній «Літературній Україні».

Олександра Підопригора

Юрій Смолич

ЛЮДИНА З РЕСТОРАНУ

Новела четверта

...Того літа ми з дружиною жили в Одесі на сімнадцятій станції — «диким способом»: наймали помешкання ближче до моря, а харчувалися самотужки. Тобто сніданок та вечерю організовували з гастронома й молодчої, а обід нам давала Ревекка.

З Ревеккою ми були сусідами через яр, і вона охоче згодилася підробити — готовати нам обід у дні, вільні від роботи, через день. Готовала вона надзвичайно смачно — була вона великим майстром своєї справи. Все своє життя пропрацювала вона в ресторані — до останніх років поваром, а доживши до пенсійного віку, перейшла на роботу офіцантки: на цілий день біля гарячої плити в неї вже не вистачало здоров'я.

Було Ревеці за шістдесят, і була це жінка надзвичайної вроди. Навіть зараз, на схилі віку, була вона красунею — чарівна не сивою красою старості, а саме незів'ялою, розквітлою красою молодості.

Жартуючи, ми питали Ревекку:

— Скажіть, Ревекко, мабуть, не одному хлопцю за своє життя закрутили голову, признавайтесь?

Ревекка ніякovo посміхалась, ховала очі й просила в мене цигарку. Ховаючи цигарку за корсаж, вона говорила:

— Чоловікові. Він у мене охочий покурити...

Ми пропонували взяти цілу пачку, але Ревекка відмовлялась:

— Нехай вже одну покурить після обіду. Курити йому взагалі не можна: недужий він...

Обід Ревекка приносила нам сама, в каструльках та серветках, і самий процес «приймання їжі» з її рук був насолодою чисто естетичною. Крім того, що страви були апетитні й смачні, Ревекка ще вміла якось особливо подати їжу та сервірувати стіл. Все було в неї чисте, акуратне, принадне: скатертина й серветки щодня свіжо випрасувані, посуд аж вибліскував, скло — прозоре, як кришталь. Сама Ревекка з'являлася неодмінно в елегантному, хоч і простенькому, щойно випраному і щойно випрасуваному платті, а руки її — запрацьовані всім життям біля кухні руки — були проте наче випещені, з чисто й гарно, хоча й без манікюру, підрізаними нігтями.

Якщо ми вирішали до обіду випити вина, то запрошували Ревекку, наливаючи їй по вінця велику шклянку. Але Ревекка тільки пригублювала, а шклянку з вином забирала з собою.

— Чоловікові, — казала вона, — він у мене охочий до цього.

Ми пропонували взяти пляшку, але Ревекка відмовлялась: чоловік недужий, пити йому не можна — нехай вже потішиться одною шклянкою.

Ми просили познайомити нас з її чоловіком, але Ревекка ухилялась:

— Хворий він у мене... Колись вже іншим разом, нехай трохи одужає...

— І давно ви заміжня?

Ревекка сміялась і від точної відповіді ухилялась:

— До золотого весілля вже недалеко! Неодмінно запрошу вас на золоте весілля. Прийдете?

Познайомились ми з чоловіком Ревекки тільки напередодні від'їзду. В цей день Ревекка не принесла обід у судках, а запросила прийти пообідати в її хаті.

Ми прийшли. Обід сервовано в садку під величезним крислатим горіхом: розкішний обід з кількох змін страв, з прегарним букетом квітів посередині столу і маленькими букетиками, закладеними кожному у серветку. Але на столі стояло тільки три прибори.

— Чому тільки три? Хіба чоловіка вашого нема?

— Він же в мене... нездужає. Ходімте до хати, я вас познайомлю.

Ми зайдли в хату — чистеньку, гарненьку, як дівоча світличка, прибрану кімнатку, — і Ревекка рекомендувала нам свого чоловіка. Він лежав у ліжку на біlosніжній постелі... Але лежав не тому, що от-от захворів і мусив перележати якийсь час, — лежав тому, що був нерухомий, паралізований.

Побалакавши, ми вийшли — Ревекка запрошуvala до столу, до прощального обіду.

— Що з вашим чоловіком? — запитали ми Ревекку. — З чого то? Чи давно це трапилось?

— Давненько, — дістали ми відповідь, — ще за царя Миколая: контужений був ще в першу світову війну на германському фронті. Таким — з неживими ногами — і привезли тоді до мене прямо з госпіталлю. А оженилися ми якраз як йому до армії треба було йти. Тільки днів зо три і погуляли разом...

— Отак, виходить, і минуло ваше життя?

— А як же? — здивувалася Ревекка. — Це ж мій чоловік. І покохалися ми тоді дуже...

Лист Ю.Б.Лойцкера до Ю.К.Смолича

Київ 1.12.1964 р.

Вельмишановний, дорогий Юрію Корнійовичу!

Я весь час пильно стежу за серією Ваших статей «Про хороше в людях» і читаю їх з насолодою. Це почуття у мене сполучається з почуттям суму аж до сердечного болю від усвідомлення того, що немає поруч з Вашим ім'ям імені незабутнього Максима Тадейовича, що лише дух його витас над цими розповідями. Вони пройняті благородним гуманізмом, що притягує до себе увагу активно хороших людей, — ім'я їм легіон! — а пасивно хороших — таких теж є безліч — активізує і надихає на добрі діла...

Це не моралізуючі, дидактичні твори, що безпосередньо-настриливо наче тикають пальцем: «Ось воно, хороше в людях, і ти повинен наслідувати їм!..» Ні, це високохудожнє зображення, яке говорить саме за себе й проникає в серце читача.

Особливо мені сподобалась остання Ваша, 17-та стаття — «Людина з ресторану». І над усе у цій статті — епізод (я б це називав «новелою», оскільки дія тут відбувається у більш-менш тривалому часі) про Ревекку.

Ви, може, подумаете, що я тут не зовсім безсторонній: мабуть, воно так. Але хто вимагатиме від мене байдужості у такій деликатній, часом болючій темі?! І чи байдужість і сумнівна об'єктивність — вірні помічники у наших міркуваннях про явища літератури, мистецтва тощо?

За нормальних умов не має нічого надзвичайного й дивного в тому, що український чи російський письменник дає позитивний образ єврея, як не вбачаю нічого ганебного в тому, що такий письменник інколи, без тенденційних узагальнень і на відповідному позитивному фоні виводить негативний тип єврея, — адже їх у житті є чимало, аби воно було правдиве й з добрими намірами. І навпаки, сусальний, заяложений показ єврея бездоганного не викликав би захоплення; штучне, нудотне прикрашення шокувало б моє національне почуття.

Але на фоні суто антисемітських «творів», як, наприклад, роман Дімарова «Шляхами життя» і схваленої рецензії на цей витвір на сторінках «Літературної України» від 3.IV.1964 р., або під кричущо-сенсаційним заголовком вміщеної в цій же газеті від 15.X.1963 р. юдофобської поеми «Про багача, що їздив біду купувати» — твору раннього Франка, який не вважав за потрібне вмістити його у зібрання своїх творів, бо, мабуть, вважав цю поему не гідною свого творчого генія (до речі, наш покійний друг М.Т. (Рильський — О.П.) цілком солідаризувався зі мною в оцінці самої поеми і факту вміщення її на сторінках газети ... (підкреслено мною. — О.П.), — на цьому темному фоні чесних і благородних людей, особливо з євреїв, спроможне розчутливо зображення єврея в позитивному плані, навіть незалежно від художнього рівня цього зображення.

Тим більше зрозуміло мое захоплення Вашою новелою, тому що вона органічна й щира за почуттям і художньо завершена за формою. І саме в

гармонічному поєднанні цих двох факторів і втілений Ваш глибокий гуманізм, гідний Вашої багаторічної дружби з великою Людиною й найталановитішим поетом, чию благородну постать я назавжди зберігатиму в своєму серці...

Насіння мого захоплення Вашими прекрасними людяними оповіданнями й нарисами з серії «Про хороше в людях» потрапляють у благодатний ґрунт моєї симпатії до Вас, яка утворилася під час підготовки й приведення вечора зустрічі з єврейським київським читачем.

А може, навпаки: «насіння» — це мое особисте знайомство з Вами, а «ґрунт» — це Ваша серія «Про хороше в людях», читання якої почали піредувало нашому знайомству, — думаю, що хронологія тут річ другорядна, що «от перемени мест слагаемых сумма не изменяется»...

Мені трохи ніякovo перед Вами, чудовим майстром слова, за мою незграбну українську мову: хай недовершеність моєї мови компенсується щирою любов'ю до неї, як і до Вас особисто...

З сердечним привітом

Ю.Б.Лойцкер.

Публікація Олександри Підопригори

Александр Кантор

Александр Кантор — московский исследователь и публицист, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета, сотрудник Института всеобщей истории РАН, кандидат исторических наук, специалист по психологии и психоанализу.

РОССИЯ И ЕВРЕИ В КОНЦЕ ХХ СТОЛЕТИЯ: КАСТРАЦИЯ И НАРЦИССИЗМ

Конец века дает традиционный повод к рассуждениям и даже пророчествам о судьбах, итогах, канунах и т.д., и т.п. Особенно в России с ее бесчисленными проблемами, включая еврейские.

«Перестройка» в СССР, его распад, а также крушение восточноевропейских сателлитов Советского Союза непосредственным образом затронули «еврейский вопрос»: отношение к сионизму и государству Израиль, антисемитизму, праву евреев на свободную эмиграцию и возможности образования гражданских национальных организаций внутри страны... Произошло немало позитивных для евреев изменений, но одновременно усилился антисемитизм, который приобрел публичный и, наверное, более агрессивный, чем прежде, характер. Но самое существенное: еврейский вопрос (опять?!?) оказался в фокусе советского (российского) общественного мнения, а именно: настоящее, прошлое и будущее СССР (России) и даже мировых процессов стало обсуждаться в связи с особой ролью в них еврейства. Говорилось разное: в дискуссии на еврейскую тему были втянуты поистине широкие и разные слои советского (российского) населения, практически всех — от левых до правых — политических спектров, причем дискуссии велись как в средствах массовой информации, так и на улице, от Балтии до Тихого океана. Нечто подобное уже имело место в иные, также переломные для российского общества периоды: на рубеже XIX–XX веков, во время революций 1917 г. и гражданской войны, в послевоенные 40-е годы... И хотя во всех случаях еврейская тема была инспирирована властными или близкими к ним кругами, она обязательно приобретала глобальное звучание. За всем этим стоит специфическая российская традиция. Но нас в данном случае интересует современная российско-еврейская ситуация, сложившаяся в результате событий последнего десятилетия — 1987–1997 гг.

Пытаясь в очередной раз разобраться во всем этом, приходишь к выводу о парадоксальности самого факта существования в СССР (и в России) еврейского вопроса. Даже в научной литературе последних лет содержатся утверждения, что евреи как этнос не существуют (они «растворились», главным образом, среди русских) и, в то же время, они вполне различимы, так как имеют ряд специфических еврейских черт. Колли-

зия «неуловимой наличности» евреев давно присутствует в советской модели мира. Так, отвергая критику антисемитизма в СССР со стороны Запада, советское руководство апеллировало к цифрам. Сравните, — говорили они, — статистические данные о количестве евреев в СССР (0,69 % от общего числа населения) с их (евреев) численностью среди деятелей искусства, науки, образования; хотя среди рабочих специальностей, — добавлялось ехидно, — евреев-де гораздо меньше 0,69 %...

«Загадочность» еврейства ощущалась в СССР также на уровне повседневности. В одном из анекдотов 70-х гг. глава компартии Брежнев спрашивает у главы правительства Косыгина: «Сколько у нас в стране евреев?» Косыгин отвечает: «Наверное, миллиона 2–3». — «А сколько из них захотят уехать, если мы откроем границу?» — «Думаю, миллионов десять».

Проблемность еврейства как этноса существовала (да и существует) даже для самих евреев (кто не слышал разговоров об «ассимиляции»?). Кстати, и русские почвенники (как и турецкие и т.д.) толкуют об «исчезновении» русского народа. Спорят и потому, что нет согласия в том, что есть этнос как таковой. Лишь зная последнее, можно сказать — есть евреи или их нет, хоть и после этого не все будет очевидно.

С распространенной точки зрения, в основе своей — сталинской, нация есть понятие территориальной, экономической, языковой и даже характерологической общности одновременно. Столь субстратное, по сути, племенное определение этноса было вполне адекватным тоталитарной политике. «Формула» сия помогала управлять нациями: отслеживать, прикреплять, определять «нацменами» или «нацболами» (помнит ли читатель советский новояз: «национальные меньшинства» и «большинства»?), назначать классиков и героев, при необходимости — отменять (уничтожать, ссылать) «вредные» нации. Кстати сказать, советская этнопарадигма была сравнительно открыто заявлена в Конституции СССР, где «равноправные» республики перечислялись в порядке их державности: согласно масштабам пространства, количеству населения (вначале Россия, потом Украина, Белоруссия, затем — неславянские республики); и, соответственно, в гимне СССР: «Союз ... сплотила навеки великая Русь».

Мы отметили здесь лишь самое основное, но и этого вполне достаточно, чтобы обнаружить несостоятельность евреев как «социалистической» нации: у них отсутствует какая-либо форма государственности или административности (Еврейская автономная область — образование более чем условное), нет национальных школ, еврейская тематика напрочь исключена из учебных пособий, евреи в большинстве своем пользуются русским языком. Но, несмотря на столь низкий этностратификационный ранг, евреи по-прежнему составляют проблему, суть которой — по преимуществу, как нам кажется, в культурно-антропологической плоскости.

Они явно не вмещаются в советское определение нации (впрочем, это относится и к другим современным этносам, живущим частично в рассеянии, пользующимся разными языками, даже к русскому). И вообще, этнические общности, оформленные и живущие в условиях индустриальных (или модернизирующихся) обществ, объединяют в большей степени культурные ценности и нормы, нежели биогенетические, территориальные или даже социально-экономические и статистические («паспортная» национальность) факторы. В свете данного положения неудивительно, что по данным Р.Брима не менее 18% из записанных в паспорте «русскими» продолжают считать себя евреями. Малоразличимое внешне, еврейство идентифицировалось по поведению и образу мышления: «Меня всюду за еврея принимали потому, что не пил, не курил ... скопидом, значит» — жаловался автору статьи один работяга. А вот анекдот о приеме на работу в милицию: знающего правильный ответ на «дважды два» заподозрили в еврействе. И в самом деле, реальное происхождение тщательно отслеживалось госорганами; в частности, в анкетах поступающих в вуз или даже временно отъезжающих за рубеж, требовалось указать фамилии, имена, отчества родителей, включая добрачные и т.д. Итак, можно констатировать узнаваемость и значимость евреев в советской, точнее, русско-советской среде (культуре).

Кризис режима усилил агрессию не только по отношению к традиционным имперским ценностям России, но и к ее более архаическим пластам, что объяснимо, главным образом, крестьянским происхождением послевоенной советской элиты. Отчасти эти ценности были эксплицированы законодательно: стратификационное первенство русских вытекало из масштаба заселяемой ими территории и количества населения. Это обуславливало не только их очевидный приоритет в верховых органах власти, но также наличие русских «наместников» в лице вторых секретарей республиканских компартий и т.д. Русские преобладали в «передовом отряде строителей коммунизма», а институт вербовки русского населения на промышленные объекты национальных регионов способствовал их русификации. Последний вал русификации намечался в оказавшуюся столь короткой эпохи Андропова (в мае 1983 г. Политбюро рассматривало «письма трудящихся» о совершенствовании изучения русского языка в нерусских школах) *.

* Не следует отбрасывать и фактор психологической регрессии: учитывая преклонный возраст большинства советских руководителей (70—сер. 80-х гг.), к тому же людей малокультурных. Интересный материал о нравах Политбюро тех времен содержится в мемуарах Б.Ельцина, Р.М.Горбачевой и др. По нашим наблюдениям, плакаты эмблематического характера, изображающие девушек и юношей «славянского типа» и утверждавшиеся на «высоком уровне», восходят к иллюстрациям русских сказок художников И.Билибина и В.Васнецова и сходным популярным изданиям «детства во́ждей». Автор, работая в 70-е годы в советской школе, оказался свидетелем отбора школьников для приветствия какому-то партийному форуму: партийная директива требовала «светловолосых, девушка обязательно с косой, родители — рабочие».

Неудивительна поэтому роль государственности в русской этноидентичности: она более значительна, чем роль семьи. Семья и личность выступают в Russianess в качестве модуса коллективности большому целому — роду, общине, организации (анекдотический афоризм советских времен: «Русская женщина сильна парторганизацией») и т.д. Отсюда смешение частно-правовых и публично-правовых аспектов советского правосознания, принудительная коммунальность личной жизни, ее «общественный» контроль, распространение (поддержанного политически) феномена «копыся» («корпоративных существ») — бессубъективной массы, мимикрирующей, протеистичной, способной принять любую господствующую форму. Модель советско-еврейской идентичности (по материалам конца 80-х — нач. 90-х гг.) в большей степени семейно-персоналистична, ориентирована на разделение личной и общественной жизни, хотя и отнюдь не антигосударственная: анкеты и иные источники содержат немало советских клише «евреи — часть советского многонационального народа», «для евреев характерно, как и для всех советских людей, чувство гордости за советскую Родину» и т.п.

Различие этнокультурных ценностей сказалось на формировании массовых, обыденных русско-советских представлений о евреях. К их позитивным модификациям относится тип, называемый нами по аналогии с известными американскими кросскультурными штудиями, «хорошего еврея» или «младшего брата». Им может быть, в принципе, «положительный», т.е. лояльный к партии и государству, но все-таки нравственно и политически недалекий, в чем-то комичный, излишне поглощенный мелкими личными или семейными делами «советский гражданин». Соответственно выглядит и «тиปично еврейская семья» — отгороженная от общественных интересов, олицетворяемая часто образом надменной, «с поджатыми губами» матери.

Статус еврейства предстает в этом контексте расщепленным: еврей может рассчитывать на признание себя как отдельной личности («хороший, хоть и еврей», «ответственный, добросовестный специалист», «толковый, хотя себе на уме»), члена семьи или рода («семейственные, они друг за дружку держатся»), но собственно этнический статус (самодостаточной большой социальной группы) — по русско-советским культурным меркам как бы отсутствует.

В массовой русской среде «еврейский ум» оценивается положительно, отмечается его «ученость» («вон они сколько чего придумали»), — и негативно оценивается склонность евреев к т.н. «непыльной» работе («рабочих на заводе — их нету»; «только инженерами»; «учителя да врачи»; «всё говорить и ручкой водить, а пахать не хотят»). Данные мнения отражают, помимо социальных реалий (распространенность среди евреев городских профессий), различия культурного свойства. В русской народной (!) традиции отношение к «слову» имеет, по преимуществу, магический (связанный с аграрным хозяйством и физическим трудом) и символический

(относящийся к сакральным и властным функциям) смыслы. Это во многом способствовало созданию в СССР режима «идеократии» и даже «логократии»; отсюда же и впечатление: «евреи хотят командовать», «евреи всех дурят».

Политика гласности Горбачева и ослабление логократии (власти предписанного слова) приводит к публичной легитимизации еврейской проблематики и официального полупризнания государственного антисемитизма. Усиливается дозволенная эмиграция, а также общественная активность евреев внутри страны: происходит становление национально-культурных обществ, прессы, учебных учреждений и даже еврейских детских садов. Ослабление, а затем крах «социалистической государственности» повлекли за собой изменения в стратификации этносов: русско-советская модель общества оказалась серьезно поколебленной. И хотя национальные движения становились практически явлением повсеместным, «еврейский случай» стал, очевидно, наиболее разительным. Во-первых, еврейство занимало самую нижнюю ступень в советской иерархии, во-вторых, казалось, сбывались вещие слова советской пропаганды о «сионизме как ударном отряде мирового империализма» (из речи главы КГБ Ю.Андропова, 1967 г.) и массовые представления о поголовной связи евреев с американским шпионажем против СССР и т.п. В огромном количестве, открыто и повсеместно распространялась антисемитская литература разнообразного содержания: от пресловутых «Протоколов...» до новейших листовок, сообщавших о «скрытом еврействе» тех или иных, явно русских по происхождению, политиков или общественных деятелей, мыслящих сравнительно либерально. Одним из результатов «перестроечного» антисемитизма, по свидетельству психиатров, явилось распространение психозов соответствующего содержания.

На самом деле, русское (массовое) национальное самосознание пережило в связи с распадом государства травму сепарационного характера. Ведущая этносоциальная и культурная роль русских в Советском Союзе была, по сути дела, превращенной формой идеи о русском народе-богоносце, вручающем себя Богу, предающем себя божественному промыслу. Крах СССР как бы отлучал русских от божественных даров и от пророчества, вызывая чувство покинутости, богооставленности, страха исчезновения из истории, депрессии или даже отчаяния, подобно отлучению ребенка от материнской груди («Россия-Мать»!). Отсюда — актуализация архаических тревог, вспышка демонологии, причем не только на уровне устной массовой культуры, но и на страницах респектабельных советских изданий типа газеты «Правда» и «Советская Россия».

Еврейство представлялось им некой враждебной и грандиозной силой, едва ли не космического масштаба, сравнимой с дьяволом и т.д. На наш взгляд, антиеврейская риторика сводима к одному из базовых образов русского фольклора — черту. Именно таким евреем изображался на карикатурах: остроголовый, с торчащими дыбом волосами («лысый»); «люди

еврейской нации склонны к махинации» ... «А ты приготовился к рынку?» — вопрошают один еврей другого, набивая карманы деньгами из русских закромов... Рисункам сопутствуют статьи аналогичного содержания. Черт особенно страшен своей неузнанностью, способностью к оборотничеству; таковы евреи, крадущие и присваивающие себе русские имена, тайно действующие из-за «мировой закулисы»... Страх потери чего-либо, именуемый в психоанализе кастрационным, — один из основных страхов «еврейского комплекса». Это, в частности, боязнь порчи крови, подсчеты этнической чистоты, опасность подвергнуться еврейскому насилию («не ходите, девки, в баню *», в бане моется еврей, у еврея батарея аж до самых до дверей) и т.п. Показательна фиксация на генитальной символике, что отражает страх утраты плодородия («я евреям не даю — я в ладу с эпохой, я их сразу узнаю по носу и по х...»). Присущи «еврейскому комплексу» и мазохистские мотивы («подружка моя, приходи скорее, эту штуку надо мной сделали евреи»). Конечно, в целом будучи негативным, отношение подобного рода к евреям не во всем однозначно, скорее, амбивалентно — в нем также присутствует некий пиетет, например, к тайне обряда обрезания; евреям иногда приписываются колдовские чары и т.д. Кроме того, согласно инверсионному характеру архаического мышления, еврейство способно воплощать ценности и позитивного толка («Надоело жить в Рязани, всюду грязь, говно и пыль, сделай Федя, обрезанье и поедем в Израиль»; «В нашем маленьком кибуце заживем мы как в раю, остальные пусть е..... в этой тундре на краю») или носить вполне нейтральные, бытовые смыслы — «как другие» («Я в Израиль собралась и еврею отдалась, он е..... как армян — проще ехать в Ереван»). Впрочем, как отмечают современные российские лексикографы, ссылаясь на европейские этнопсевдонимы («испанцы», «французы», «малайцы») и проницательное наблюдение И.Бродского о соотнесении именований «жид» и «еврей» со словами браны и оскорблений, русский язык в настоящий момент рискует оказаться вовсе без нейтрального обозначения лица европейской национальности.

Такова, на наш взгляд, общая картина роста еврейского статуса в зеркале российского (русского) менталитета в переломный период конца 80 — начала 90-х гг. Вспышки антисемитизма, на наш взгляд, совпадают с проведением избирательных кампаний, что также есть показателем статусно-политического аспекта еврейского вопроса, его связи с абсолютами советского и русского мифов. Разумеется, значимость русско-советской модели еврейства нельзя, все-таки, назвать тотальной, всепроникающей: Россия 80—90-х гг. (да и 70-х!) была иной, чем в 40-е и 50-е гг. А ведь надо учесть еще и международную обстановку.

Так или иначе, последнее российское десятилетие определяется в терминах еврейского мыслителя Іцхака Лурия, сжатием (цимцум) прежних

* Баня в традиции — место обитания черта и семантически также связана с похоронным обрядом (т.е. смертью, потерей).

абсолютов и, следовательно, освобождением иных, ранее связанных сил. За короткое время, например, в 1987–1998 гг., возникло без преувеличения огромное число еврейских обществ (даже в населенных пунктах, где количество евреев не превышало 300 человек), по принципу: два еврея — три партии... Лекции, книжки на еврейскую тему, споры, открытые дискуссии с властями и даже с антисемитами, эйфорическое ощущение еврейской свободы... Еврейское Я, таким образом, получало шанс избавиться от присущей ему амбивалентности личного и социального, гармонизировать этническую субъективность. Происходила актуализация потаенного, вытесняемого прежде отовсюду (в СССР и России) еврейского именования, легализация позитивных образов Израиля, Торы, сионизма, иудаизма, — то, что (по М. Веберу) называется «расколдованием» и открытием пути к обретению самости как новой связи с самим собой и миром («индивидуализации», по К. Юнгу). Сам факт общественной реанимации слова «еврей» означал серьезные культурные изменения. Преодолевается негативный модус европейской самоидентификации («евреи», по словам И. Бродского, звучало подобно упоминанию венерической болезни), возникала его принципиально иная символизация. На глубинном архетипическом уровне культуры уже название имени есть нарождение из смерти, и, будучи однажды допущенным, символ превращает объект в «открытое событие», связывает внутреннюю энергию субъекта.

И в самом деле, еврейство получило определенные возможности реализовать такие самоидентифицируемые (еще в советские времена) качества, как «повышенное чувство личной ответственности», «склонность к рациональному и критическому мышлению», «интерес к творческой деятельности», «ожажда активных действий», «преданность делу» и т. п. Качества, кстати сказать, коррелируемые с многовековой традицией. Более того, согласно недавним исследованиям, проведенным в России израильянами и американцами, усиление интереса к еврейским традициям и корням присуще наиболее молодому, «ассимилированному», как принято считать, поколению российского еврейства.

Характерная для «потаенного» еврейства советской эпохи идеализация европейской среды и Израиля, завышенные ожидания «тепла, взаимопонимания, милосердия» и т. д., вполне объяснимые фрустрациями на почве антисемитизма, сказываются на формировании новых этнообщинных связей. Автор свидетельствует о нередко неадекватных межличностных отношениях в еврейских структурах, о нетерпимости в борьбе за влияние и лидерство, приверженности групповым интересам; стремлении к «единственно» верным и правильным формам еврейского общежития, отношений с властями, участия в политике и т. д. Самоутверждающее поведение, «отзеркаливание» собственной личности в средствах масскоммуникации есть показатель хрупкого самоуважения, компенсируемого

нарциссизмом *. Между тем, социальный статус не есть сумма личностных достижений индивидов определенной группы или правовых деклараций (с евреями как отдельными личностями могли считаться и в СССР, а на бумаге существовало «равенство и братство народов»), но — степень корпоративного (общинного) влияния этноса на общество (и государство) в целом. И это весьма убедительно подтверждается опытом американской diáспоры.

* В этом ряду — публичная (нередко навязчивая) поддержка российских правительств отдельными еврейскими активистами, особенно за рубежом. Например: «непременно помогите Гайдару (Чубайсу и т.д.), а не то будут погромы!» Факты подобного рода, с нашей точки зрения, есть проекция советского еврейского конформизма — гиперсоциализации, т.е. приспособления к власти имущим, дошедшего иногда до самоуничижения — еврейского антисемитизма (таковы фигуры Ц.Соладаря, В.Магидсона и даже дважды Героя Д.Драгунского, председателя «Антисионистского комитета советской общественности»).

Андрей Николаевич Муравьев
ЗАПИСКА О СОХРАНЕНИИ
САМОБЫТНОСТИ КИЕВА
(Начало 1870-х гг.)

От публикатора

Текст «Записки», предложенный вниманию читателя, сохраняется в виде писарской копии с авторской правкой в отделе рукописей Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге (фонд 498, № 10). Автором текста признается А. Н. Муравьев — личность необычная и весьма колоритная.

Андрей Николаевич Муравьев (1806–1874) родился в московской аристократической семье. Отец его был генералом, из братьев известны военный и государственный деятель Николай Муравьев-Карский, участники декабристского движения Александр Муравьев и Михаил Муравьев-Виленский. Сам Андрей Николаевич имел офицерский чин, но с 1827 г. служил дипломатическим чиновником: был сотрудником Азиатского департамента Министерства иностранных дел. Он совершил паломничество в Палестину, описанное им в книге «Путешествие по Святым местам в 1830 г.» Она выдержала много переизданий и стала едва ли не первым популярным русскоязычным произведением духовного содержания, получившим известность в высших слоях общества. Муравьев подарил свою книгу царю Николаю I, вследствие чего был назначен столоначальником при обер-прокуроре Святейшего Синода.

Литературное наследие Муравьева разнообразно. Его труды касались различных вопросов богословия, истории церкви, обрядности, описывали христианские святыни. Неоднократно он посещал Киев. В книге «Путешествие по Св. местам русским» Киеву посвящен отдельный большой раздел. Судьба Андрея Николаевича сложилась так, что он решил оставить российскую столицу. В 1859 г. Муравьев приобрёл большую усадьбу с домом в старинной части Киева, напротив церкви св. Андрея — его небесного покровителя (ныне — дом № 38 на Андреевском спуске). Здесь он устроил себе прибежище с молельней для ежегодного отдыха и благочестивых размышлений. В 1868 г. Муравьев окончательно переселился в Киев, где и умер. Его прах покоится в домовом храме цокольного помещения Андреевской церкви. Могильная плита сохранилась поныне.

Воспоминания современников об Андрее Муравьеве весьма противоречивы. Они, как правило, признают весомую роль его произведений в общественной и духовной жизни, но к нему лично многие относились с нескрываемой иронией. Особенно это чувствуется в очерке Николая Лескова «Синодальные персоны», где Муравьев изображен как неисправимый ханжка и интриган-неудачник. Имеются сведения о том, что высшее киев-

ское духовенство раздражали постоянные придирики Муравьевы по поводу соответствия всех обрядов церковным канонам.

В своем видении действительности Андрей Николаевич предстает романтиком-консерватором. Это ярко отразилось и в «Записке...», приведенной ниже. Слово «прогресс», по его мнению, «не может усвоиться родному наречию». Он грустит о патриархальной старине, утрате которой, по утверждению автора, лишила Киев его неповторимой самобытности. К ряду негативных факторов Муравьев относит и строительство железной дороги («чугунки»), и избрание в городскую Думу «ученых, т.е. людей прогресса», и распространение театральных зрелищ...

Справедливости ради следует отметить, что в определенном отношении романтический консерватизм Андрея Муравьева был, бесспорно, полезен. Это касается охраны памятников старины. Муравьев потратил много усилий и личных средств для реставрации Андреевской церкви и памятника в честь магдебургского права в парке над Набережным шоссе. Он сумел также помешать военному ведомству провести разрушительные для памятников старины фортификационные работы на Старокиевской горе. Его деятельность в этом направлении отметили известные русские поэты — Федор Тютчев и Алексей Апухтин: оба посвятили ему стихи. Кстати, Андрей Муравьев был лично знаком и с другими классиками — Пушкиным, Лермонтовым, Крыловым, Жуковским, Грибоедовым.

Особое место среди причин, разрушающих, по мнению Муравьева, благодатную киевскую старину, принадлежит «язве Ерейской». Чрезвычайно показательны для своего времени пассажи автора о «полном преобладании» евреев в городе и о кабаках, с помощью которых они спаивают православное население. Отметим, что Муравьев представлял, так сказать, великорусскую ветвь юдофобства. Если украинцы в своих претензиях к евреям чаще всего ограничивались житейско-экономическими вопросами, то великороссы (в среду которых евреи попадали значительно реже) с нескрываемым ужасом писали о диктатуре кагала, о заговоре всех евреев против христиан, о таинственных средствах их влияния и тому подобном.

Андрей Муравьев был не только юдофобом-теоретиком, но и юдофобом-практиком. В 1864 г. он создал в Киеве так называемое «Свято-Владимирское братство», имевшее целью, кроме содействия приходским школам, «утверждение православия» в Юго-Западном крае. На практике это воплощалось в миссионерской деятельности среди неправославных, прежде всего — среди евреев. Братство организовало специальный приют и школу, где принимавшим крещение евреям предоставлялось временное жилье и образование. Муравьев лично составил «Наставление еврею, приготавляющемуся к святому крещению» (К.: 1872).

В принципе, текст предлагаемой «Записки» говорит сам за себя. Прежде всего, из него отчетливо видно, что во многих случаях антисеми-

тизм является частью определенного целостного мировоззрения, обращенного лицом в прошлое.

Наиболее подробные сведения о жизненном пути Андрея Муравьева можно найти в таких изданиях: его собственные «*Мои воспоминания*» (М.: 1913); «*Знакомство с русскими поэтами*» (К.: 1871); «*Воспоминание об А.Н.Муравьеве*» (К.: 1875). Произведения А.Н.Муравьева стали библиографической редкостью, но в последнее время его «*Путешествие по Святым местам в 1830 г.*» и «*Путешествие по Св. местам русским*» переизданы в Москве.

Оригинал публикуемого текста не датирован. Приблизительная дата ограничена избранием нового состава городской думы, о котором говорится в «*Записке*» — 1871, и смертью Муравьева — 1874. Текст печатается в последней авторской версии (то есть с учётом всех исправлений). Орфография приведена к современному русскому правописанию с незначительными исключениями, отражающими стиль и колорит эпохи.

Михаил Кальницкий

Не надобно быть давним старожилом Киева, чтобы видеть, до какой степени изменился самобытный его характер. Не более как в 10 или 15 лет исчезла вся патриархальность, которая составляла его отличительную черту и едва ли не лучшее украшение после дивных красот его природы! «*Древняя мимо идоша и вся быша нова*»*, но к лучшему ли? Хотя это и слышит прогрессом, но самое сие слово еще не может усвоиться родному наречию. Киев, колыбель нашей веры, на тех горах, где впервые просияло для нас просвещение не светское, а духовное, Киев, сокровищница отечественной молитвы от первых веков нашего христианства и оплот православия в средние века нашей истории, — сделался теперь, и по наружности и даже по духу (что всего прискорбнее), из священной матери Городов Русских почти таким же, как и все прочие. Он уже не выходит из общего их разряда, и если бы не древние его храмы на живописных высотах, более посещаемые богомольцами, нежели местными жителями, то нельзя было бы признать в нем нашего родного Иерусалима — до такой степени утратил он ныне свой поэтический и легендарный характеры.

Бывало, на всех путях, ведущих к Киеву, встречаешь вереницы богомольцев, с посохом и котомкой и даже на костылях, плетущиеся за несколько тысяч верст, со всех концов Руси, в ее священную сердцевину. Помню, как однажды, когда невольно потеснил я во мраке Лаврской церкви одну убогую старушку, она смиленно мне сказала: «*Батюшка, да ты бы лучше спросил, откуда я пришла, — ведь прямо из Иркутска!*» А теперь пролетают мимо, на паровых крыльях чугунки, как будто ничего нет в Киеве, что бы могло удержать этот быстрый полет! Как прежде, при

* Древнее прошлое, теперь все новое (2 Кор. 5, 17).

более трудных путях, миновать Киев без молитвы казалось делом несбыточным! Тенеръ же только и слышится во все часы дня и ночи свист пароходов или железных дорог, и одни лишь убогие богомольцы в летнее время десятками тысяч продолжают напоминать нам о священном значении родного Киева, которое как будто стирается временем из нашей памяти! Иногда, однако, эти смиренные дети природы каются на исповеди, что не пешими прибрели они на богомолье, но согрешили по чугунке, — сколько назидательного в такой исповеди!

Бывало, накануне праздников и особенно Лаврских, перед заветным днем Успения или Преподобных Печерских, как только раздастся густой вечерний благовест ко всенощной, толпы богомольцев всякого звания отовсюду стремятся в храм. А ныне со звоном колоколов слышится по мостовой стук экипажей, несущихся не в Лавру, но в театр или в Шато*, которое обезобразило бывший Царский сад; там гремит музыка и лопаются ракеты, как будто в одном и том же городе два совершенно различных населения по исповеданию их веры, не говоря уже о Ерейском. А внутри храма во все эти дни, не только на всенощной, но и на литургии, опять те же смиренные молитвенники, еще верные завету своих предков, и только немногие из высшего общества; оно является в царские дни на молебны, но его всегда можно встретить на всех общественных собраниях или гульбищах.

Скажу более: с некоторого времени даже и духовные власти не дают себе труда присутствовать на сих знаменательных торжествах, к крайнему соблазну и прискорбию православных. Поверят ли в иных городах, что в нашем богоспасаемом Киеве, при таком стечении богомольцев, уже три года не было в великий четверток положенного по чину церковному умовения ног, которое совершается везде во всех губернских соборах? Поверят ли также в обеих столицах, что в древнем Киеве не услышишь никогда раннего благовеста к утрени, кроме как в Лавре и в двух монастырях? Уже около двадцати лет, как все приходские церкви, не исключая и соборной Св. Софии, испросили себе льготу совершать с вечера утреннюю службу, так что в зимнее время в 4 часа пополудни она уже везде окончена. Это, может быть, очень удобно для священнослужителей, но согласно ли сие с древними правилами? и как бы взороптали против такого нововведения православные жители первопрестольной столицы, не говоря уже о староверах! Так, мало-помалу, обычаи домовых церквей переходят в приходские и даже в кафедральные храмы, хотя и с нарушением церковных канонов. То, что немыслимо в иных местах, терпимо в Киеве. Но, при свисте железных дорог и пароходов, кому есть дело до утреннего благовеста?

Я помню Киев еще до первых его укреплений, когда он был только крепок своею Лаврою и почивающими в его пещерах подвижниками, когда

* «Шато-де-Флёр» («Замок цветов») — увеселительное заведение с рестораном и сценой на территории нынешнего стадиона «Динамо».

он еще сохранял свой первобытный характер. Как отрадно было смотреть на этот город, исключительно посвященный молитвенному назначению, вне всяких интересов житейских, которых теперь он сделался центром! Кто бы сказал, при нынешнем наплыве путешественников, для коих недостает помещения в многочисленных гостиницах Крещатика, что в то время для всех приезжих достаточно было и двух, Лаврской и на Минеральных водах *? Может быть, недолго могло бы существовать такое отвлечное положение, потому что Киев был тогда как бы вне всяких путей и почти разобщен с нашим Севером во всех отношениях, кроме только общения духовного. Но, во всяком случае, и при нынешних условиях его новой общественной жизни можно бы, кажется, сохранить ему свой оригинальный характер молитвенного города, если бы только местные власти более на то обращали внимания и не увлекали бы его так безоговорочно по направлению совершенно противоположному, при явном отступлении от всех его заветных обычаев и преданий. На все действует пример свыше.

Бывало, и Киев, во время контрактов **, принимал вид Польского города, при стечении окрестных магнатов и шумных увеселениях многолюдного торжища, но все это исчезало мгновенно вместе с контрактами. Несмотря на Польскую речь и на Krakowską uprąż, встречавшуюся на Крещатике, крепкая рука предержащей власти умела все сдерживать в должном приличии и Русский дух преобладал над чуждою стихией, потому что каждому известно было, дальше чего не мог он идти, и строгое величие Бибикова *** внушало общее уважение. И вот рядом с ним сияла в духовном мире другая высокая личность старца Святителя, в полном смысле его слова, глубоко проникнутого сознанием своего священного сана, перед которым все благоговели, несмотря на его отеческую простоту; невольно склоняясь перед ним и гордое чело самого Начальника Края. Митрополит Филарет **** был достойный представитель православия своей церкви; все вокруг него проникалось тем же духом, подражая его благому примеру. Надобно было видеть Лавру во дни ее торжеств, когда все мирские и духовные туда стремились, не ради одной лишь суетной формальности, но чтобы действительно назидаться духовным словом своего пастыря, не только в храме с кафедры, но и в домашнем быте, который всегда и везде был верен сам своему званию. Его духовное настроение отзывалось и в его Пастыре не только в братии Лаврской, но и в юных воспитанниках академии, которые нередко постригались в пещерах, при-

* Минеральные воды — заведение искусственных минеральных вод. Действовало в помещении Царского дворца (в 1830—1860-х гг.) и на территории нынешнего Крещатого парка (в 1860—1880-х гг.).

** Ежегодные Контрактовые ярмарки, которые проводились в Киеве с 1798 г. и значительно оживляли экономическую жизнь города.

*** Бибиков Дмитрий Гаврилович — Киевский военный, Подольский и Волынский генерал-губернатор (1837—1852), настойчивый проводник ксенофобской политики Николая I в Юго-Западном крае.

****Филарет (Амфитеатров) — митрополит Киевский и Галицкий, священно-архимандрит Киево-Печерской лавры (1837—1857).

принимая с любовью имена их подвижников. Явился под его сению и схимник Парфений*, святыни жизни привлекавший к себе духовных чад со всех концов России. Ближайший сотрудник Святителя, старец Епископ Аполлинарий** украсил своими добродетелями обитель Михайловскую, обновляя ее и наружно. С каким благолепием совершилась Божественная служба в Лавре и в обителях! Сами архиереи всегда предстояли на акафисте Великомученицы, которые ныне без пения ликов весьма небрежно служат одни монашествующие. Мудрено ли, что внешний упадок отозвался и внутри? Было ли когда слышно, чтобы в дни, посвященные памяти Антония и Феодосия, сих основателей иночества на Руси, все власти духовные не собирались в Лавру? При подобных представителях православия оно действительно процветало в Киеве, привлекая к нему и таких ревнителей, какова была Графиня Орлова-Чесменская***, обновившая Св. Софию и устроившая драгоценную раку для великомученицы, кроме других денежных приношений. И как бы дорого было для всей России, если бы сохранился Киеву этот священный его характер, созидаемый и поддерживаемый веками! Нельзя не дорожить верою народной, пренебрегать тем, что искони избрала себе наша святая Русь, предметом особенной любви и благоговения!

Есть еще одна причина, почему Киев утратил свой первобытный православный характер, и даже отчасти и Христианский. Это язва Еврейская, которая к нему приразилась в последние десять лет, тогда как он был совершенно чист от сего неприязненного населения и ни один Еврей не смел в нем показаться**** иначе как по выданному билету на заставе, до заходения солнца. Гуманность местных властей под предлогом благотворительности, которая дорого обошлась поверившим великодушно мнимых филантропов, навлекла на нас эту язву, и с тех пор она растет не по дням, а по часам. Громкие фразы о равенстве всех исповеданий перед Богом и всех национальных прав в обществе подвергли свободный дотоле Киев такому Египетскому рабству, от которого некогда избавился сам Израиль. Кто не знаком с внутренним бытом самоуправления Еврейского, тот не может себе представить, какая нравственная сила и вместе деспотическая власть сосредоточены в Жидовском кагале, он безусловно господствует над крепко сплоченным своим племенем и через него высасывает

* Парфений (Краснопевцев) — иеромонах Киево-Печерской лавры, известный своей подвижнической деятельностью.

** Аполлинарий (Вигилианский) — настоятель Киево-Михайловского Златоверхого монастыря (1845—58).

*** Орлова-Чесменская Анна Александровна — графиня, известная благотворительница киевских храмов: в частности, благодаря её пожертвованиям была украшена гробница св. великомученицы Варвары в Михайловском Златоверхом соборе.

****Речь идет о положении, которое сложилось вследствие указа Николая I от 2 декабря 1827 г. «О воспрещении Евреям постоянного пребывания в Киеве и о высылке их из оного». Восстановление еврейской оседлости в Киеве состоялось лишь после того, как в 1859 г. купцы 1-й гильдии получили право повсеместного проживания в Российской империи.

последние соки из христиан, выданных ему по неопытности гуманных властей, так что вместо мнимого равенства на стороне Евреев полное преобладание, и достаточно одной их горсти, чтобы покорить себе все население в селах и городах.

Есть подомовая и поголовная перепись всему Христианскому населению Киева, но таковой не существует для Евреев. Дозволено было вначале селиться в городе только двум первым гильдиям их купечества, с необходимую прислугою, которая без всякого отчета и надзора разрослась в тысячи и не подлежит никаким податям, кроме коробочного сбора * в свой кагал, тогда как христиане поголовно обременены непрестанно возрастающими налогами. Между тем никто не обращает внимания на то, что Жиды (или, как ныне велено в Мировых судах по деликатности называть их Ереями, чтобы не проштрафиться, хотя имя Жидовин усвоено им даже в Евангелии) числятся по спискам весьма в небольшом количестве в Киеве, несмотря на то, что они наводнили собою весь город и захватили не одну лишь предоставленную им Плоскую часть **, но и все лучшие местности. Они забрали в руки всю промышленность и раскинули повсюду обычные свои сети, т.е. кабаки, которыми растлевают все население. Дома их магнатов, еще не отложивших свои песики и жидовские обычаи, несмотря на богатства, являются теперь и на дворцовой площади, и против Царского сада, который сделался их любимым шабашовым гульбищем, и на торговом Крещатике. Таким образом Киев, мало-помалу, обращается из священного центра нашего Христианства в Жидовскую столицу, и скоро овладеют им, как и всем Юго-Западным краем, сии закоренелые враги Христовы, которые сделались в нем не только домовладельцами, но, под фирмою арендаторов, и настоящими помещиками, хотя они гораздо вреднее магнатов Польских во всех отношениях, и в промышленном, и в нравственном, и в религиозном.

Не больно ли и то, что православному настроению Киева, не менее Евреев, повредило устройство в Царском саду так называемого Шато-де-Флер или воксала, по заграничному образцу, который искал чудный сад сей и вместе с ним и нравственность народную. Местные власти, во времена Польских смут, думали тем отделить общество русское от неприязненного ему Польского круга и создали в самом центре города такого рода развлечение, какого прежде никогда не бывало в Киеве и которое окончательно убило всю его патриархальность. Для сего шумного гульбища уже не соблюдаются никаких заветных преданий; будни и

* Коробочный сбор — налог, взимавшийся с еврейских общин (главным образом за употребление кошерного мяса). Поступал в Киеве не в кагал, как пишет Муравьев (кагалы были ликвидированы еще в 1844 г.), а в основном в городской бюджет как интегральный налог с евреев; то, что оставалось сверх фиксированной суммы, с разрешения губернской администрации использовалось для нужд еврейской общины.

** Плоская часть — один из полицейских участков Киева (между ул. Нижний Вал и Куреневкой, теперь Подольский район), в котором допускалось проживание евреев, временно находившихся в Киеве.

праздник — все подошло под один уровень разгула для публики, а за полночь водворяется там и разврат, изгоняющий из сада более скромных посетителей. Театр способствовал также новому настроению киевских нравов, с тех пор особенно, как начали разыгрываться такие пьесы, как Орфей в аду или Прекрасная Елена*. Местная администрация, как бы позабыв все минувшее Киева, благоприятствовала, с своей стороны, всем нововведениям, которые совершенно изменили первобытный характер Киева, хотя бы, казалось, следовало всеми мерами оберегать его как священный залог, переданный нам минувшими веками. Вышло наоборот — Церковь, при безмолвии своих пастырей, везде уступала свои священные права, и суетные развлечения стали привлекать нахлынувших по чугунке посетителей столько же, сколько и древняя святыня влечет к себе убогих богомольцев, и можно почти сказать, что они одни только ее и посещают.

Оставалась еще некоторая надежда на новое городское управление **, которое должно бы восстановить утраченное благочиние, при отсутствии всякой полиции, и возвратить городу его прежний благоговейный вид; но и эта надежда изменила, потому что новая управа, составленная более из ученых, т.е. людей прогресса, нежели из опытных старожилов, для которых дорогое их минувшее, пошла наперекор всем преданиям старины; не стесняясь противоречиями купечества, она перенесла старую Думу из торгового центра в частный дом на краю города, бросила Царский сад на произвол Шато и продала великолепную площадь Университета под жилье Еврейское *** ради мнимого банкротства, сохранив все притоны пьяниства и обременив новыми налогами город, что возбудило общий ропот; а между тем при так называемых санитарных мерах смрад и нечистоты по всем улицам. Еще не знаем, чего нам ожидать от новых Мировых учреждений ****, до сих пор они еще не касались общественного пьянства и разврата и занимаются только мелочными взысканиями за личные обиды или за долги, при самых немилосердных условиях для несчастных должников, коих собственность выдается заимодавцам наиболее из Евреев. Мы видим, однако, что уже переполняются места тюремных заключений, от избытка осуждаемых за самые ничтожные вины, как например 3 месяца ареста за доказанную кражу только 3-х кирпичей, а между тем хозяева

* «Орфей в аду» (точнее, «Орфей спускается в ад»), «Прекрасная Елена» — классические оперетты французского композитора Ж.Оффенбаха.

** Новое городское управление — Киевская городская дума, избрана в начале 1871 г. согласно новому «Городовому положению» 1870 г. (городским головой стал князь П.П.Демидов-Сан-Донато).

*** «...продала великолепную площадь Университета под жилье Еврейское» — речь идет о распродаже в начале 1870-х гг. части прежнего пустыря перед университетом под частную застройку для пополнения городской кассы, вследствие чего сформировалась нечетная сторона ул. Терещенковской. Упрек Муравьева относительно «жилья Еврейского» ни на чем не основан.

**** Новые Мировые учреждения — институт мировых судей, созданный для рассмотрения малозначительных преступлений и гражданских исков согласно судебной реформе 1864 г.

не могут сладить со своими мастеровыми и заставить их работать более трех дней в неделю от непомерного их пьянства, опасаясь, что их самих потребуют на суд за малейшее слово укора. На улице беспрестанно слышатся угрозы: «к мировому!», как бывало, во дни оны, страшные «слово и дело!», и действительно это в своем роде тоже слово и дело, хотя при умножении нравов теперь и без пыток, но при произвольном суде, основанном иногда на одних личных возврениях и, следственно, небеспристранным, который грозит, однако, долгим заключением без приспособленных к тому мест и чрез то и семейным разрушением, — не тот же ли это застенок? — Сутяжничество видимо умножается; как будто из-под земли внезапно выросло множество адвокатов, и Польских и Еврейских, предлагающих каждому за деньги свои услуги, лишь бы только было кому судиться, прав ли он или не прав; на всех перекрестках вы можете встретить их громкие вывески, столь же многочисленные, как и привилегированных повивальных бабок! — *Sapienti sat*^{*}. — Местная же администрация, которая сперва весьма благодушно сложила бремя своих забот о благосостоянии города на его новое самоуправление, теперь еще более почитает себя обеспеченной при введении Мирового Института и отдыхает на лаврах под волшебные звуки Орфеевой лиры в аду. — О Киев заветный, град Святых Владимира и Ольги, чего тебе еще ожидать в будущем?

Публикация и примечания М.Кальницкого

* *Sapienti sat* (лат.) — понимающему достаточно.

Евгений Якер

Евгению Якеру досталась тяжелая судьба — гетто, концлагерь, побег, боевой путь солдата-разведчика — освободителя Европы...

После войны, закончив Черновицкий мединститут, Евгений Лазаревич работал на Урале, на Крайнем Севере, попадая и здесь в непростые ситуации.

А потом настал час алии, переезда в Израиль...

Естественно, на склоне лет Евгению Лазаревичу захотелось рассказать о пережитом, о событиях, свидетелем которых он был.

ШЕСТЬ СЮЖЕТОВ ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ

I. Озаринецкая гора

У каждого человека есть что-то, чего он не может забыть никогда. Для меня это Озаринецкая гора. В июле 1941 года часть евреев из северной Бессарабии депортировали в Секурянский лагерь, что в Черновицкой области. Среди депортированных была и наша семья.

Мы шли пешком от Хотина до города Атаки, расположенного напротив Могилёва-Подольского. Два дня нас продержали под палящим солнцем на берегу Днестра, потом погнали в Секуряны.

Голод и грязь быстро сделали своё дело: начались эпидемии тифа, дизентерии, я уж не говорю о завшивленности. Люди опухали от голода и болезней, особенно — дети.

Как-то держались лишь те, кому удалось припрятать какие-нибудь драгоценности, на которые можно было выменять у румынских жандармов хлеб, подгнившие овощи, кусочек прогорклого, оплавившего масла... Но у нас не было ничего, и надеяться нам было не на что. В лагере, вмещавшем до двенадцати тысяч мучеников, ежедневно умирало двадцать-двадцать пять человек.

Голод заставил меня, мальчишку, рыскать повсюду в поисках чего-нибудь съедобного. Однажды мне повезло: как-то я забрался на чердак и увидел, что там рассыпано довольно много фасоли. Я торопливо принял ся собирать ее, стараясь не пропустить ни одной фасолины! Насобирал ведра два. Они-то и спасли нас от голодной смерти.

А еще через несколько дней в одном полуразрушенном сарае я нашёл несколько кучек перемешанных с мышиным помётом и землей семечек подсолнуха. Мы перебрали их, очистили от мусора, перемыли, просушili... Они не насыщали, но всё-таки как-то помогали протянуть время от одной порции фасоли до следующей.

В Секурянском лагере мы прожили три месяца. А потом румынская администрация, то ли опасаясь распространения эпидемий, то ли по другим причинам, выстроила нас в колонну и погнала дальше.

Лето и осень 1941-го выдались дождливыми, Днестр вышел из берегов, затопив прибрежные села. Мы двигались медленно — километров по десять в день. Ночевали в открытом поле, иногда (это казалось благом!) — в лесу.

Конвоировали нас румынские жандармы. Слабых, отстающих, больных пристреливали. У трупов вырывали золотые зубы, у живых отбирали все, что еще можно было отнять.

Кроме голода людей мучила жажда. Слава Богу, все время шли дожди, и мы пили прямо из луж, потому что местные жители не подпускали нас к колодцам, а смельчаков, пытавшихся подойти, отгоняли вилами...

На четвертый день нашего страдного пути заболела мама. Она вся горела и, поддерживаемая нами под руки, с трудом передвигалась. Кое как дотянули до спасительного ночлега на сырой земле. Мама все время просила пить, а от семечек отказывалась. А ведь другой еды не было.

Утром мама уже не смогла подняться. Мы понимали, чем это может обернуться для нас. Понимала это и мама, она просила бросить её, лучше умереть ей одной, она не хочет, чтобы из-за нее погибли мы все... К счастью, семечки оказались и своеобразной «валютой». Нам удалось выменять на них старый рваный мешок. К нему мы прикрепили верёвки и получилось нечто вроде рюкзака — в него и уложили больную маму. Несли по очереди. К тому времени мама весила всего-то килограммов сорок—сорок пять. Немного. Да вот беда: у отца стала ущемляться грыжа. Так что дальше нести маму пришлось мне одному.

Кое-как дотащились всё же до города Атаки. Заночевали прямо на берегу реки, на речной гальке. Разжечь костер нам не разрешили.

Вечером сменился конвой: пришли трое румынских жандармов и пять местных полицаяев.

На рассвете нашу очень поредевшую колонну паромом переправили в Могилёв-Подольский, где загнали в трёхэтажное кирпичное здание казармы, во дворе которой позволили, наконец, разжечь костры. Мы успели за ночь просушить одежду, обувь, мешок. Но утром снова хлынул дождь. Нас всё равно подняли и снова погнали в сторону небольшого местечка Озаринцы. Дорога потянулась в гору — крутая, немощёная, из жёлто-красной глины вперемежку с камнями. Взбираться было тяжело: глина прилипала к ногам, мы без конца останавливались и очищали от неё обувь, колотило сердце, я задыхался. А рядом плелись, ползли, карабкались такие же несчастные. Краем глаза я замечал, как окончательно обессилевшего портного Мойше Шнайдера тянет в гору его сын Гершеле; как Янкель Слобиткер, обвязав жену верёвкой и запрягвшись, подобно коню, просто волочит её вверх; как аптекарь Мойше Швайгер ведёт под руку свою престарелую мать...

Сзади время от времени раздавались выстрелы. Мы понимали: не стало ещё одного еврея. Полицай и жандармы убивали отстающих.

Полицай отобрал четырёх молодых, крепких еврейских парней и заставил их оттаскивать трупы на обочину. Так и двигались мы среди мертвцев — наших отмучившихся братьев и сестёр.

Мои силы иссякли, от меня валил пар, как из кипящего самовара, папа иногда подносил к моим губам бутылку и я судорожно глотал мутную воду.

Внезапно отец попросил остановиться и заглянул в мешок: мамина голова безжизненно свисала набок, глаза смотрели непонимающе.

— Сыночек мой, кажется, всё напрасно, — сказал отец и заплакал, — нам не спасти маму.

— Я всё равно буду нести её, сколько смогу.

У края дороги лежала куча камней, мы присели на них. Знакомые и незнакомые люди проходили мимо нас.

Пора идти дальше: не дай Бог оказаться в конце колонны. Выстрелы, стоны, смерть...

Через мокрую одежду я чувствовал, как горит тело моей мамы. Что с ней? Тиф? Воспаление легких?

Я иду, потом почти ползу, но мешок с плеч не снимаю. Если сниму, чувствую — больше не взвалю. Стараюсь не смотреть по сторонам, не отвлекаться.

Внезапно слышу голос жандарма: «Стойте! Вы уже пришли...»

Мы остановились.

— Сними мешок! — велел жандарм. — Что там в нём?

Жандарм заглянул внутрь:

— Ну и ну! — сказал он. И вдруг закричал: — Если есть золото — давай, нет — всех перестреляю.

Щёлкнул затвор. Но, видно, в Судный день нам не суждено было погинуть.

— Ионел, не стрелять! — раздался чей-то властный голос, и на лошади подскакал к нам жандармский офицер с нагайкой в руке.

Ионел доложил, что я ташу в мешке полуживую мать и отстал от колонны. А майор велел убивать отставших.

Лейтенант тоже заглянул в мешок.

Я упал на колени.

— Встань! — неожиданно сказал офицер. — Если перед тобой человек, то этого не надо делать, а если скотина, то ничего не поможет.

Мы ошеломлённо молчали.

— С таким грузом до Озаринец вам не дойти.

Мы это и сами понимали.

— А стрелять в отстающих не надо, всё равно они обречены: местные никого не приютят.

Офицер вынул из планшета плитку шоколада, несколько кусков сахара, пачку галет:

— Это для вашей мамы, — повернулся лошадь и ускакал.

Мы напоили маму водой, вложили ей в рот кусочек шоколада, он растворялся и мама проглотила его. И себе отломили по кусочку галеты, пожевали без всякого желания: мы как будто отвыкли от еды. Нечеловеческая усталость доканывала меня, я закрыл глаза и, кажется, уснул стоя. Сколько проспал — не знаю. Проснулся, услышав тихое ржанье, с трудом разлепил веки и увидел рядом телегу и какого-то человека. «Мне велено отвезти вас в Озаринцы», — сказал он по-украински. Я догадался: помог опять тот удивительный румынский офицер.

Мы погрузили на телегу маму, туда же забрался и отец. Я укрыл их соломой.

— Вот вам картошка в мундирах, полхлеба и бутылка молока. Это передала моя баба.

Папа съел кусочек хлеба, попил молока, мама тоже сделала пару глотков — и мы поехали.

К счастью, и дождь поутих. К вечеру преодолели, наконец, гору и остановились на ночь в Озаринецкой синагоге. Там было полно людей, пришедших раньше нас из того же Секурянского лагеря.

Я уложил родителей на пол, подсунул под головы охапки соломы. Что ещё я мог сделать?

А утром всех нас погнали снова, но — о, чудо! — больных погрузили на телеги. Спасибо офицеру! Я думаю, это он всё организовал. Правда, воспользовавшись его отсутствием, Ионел опять бесчинствовал, бил палкой по головам медленно выходящих из синагоги евреев. Но — по сравнению с пережитым — это уже было не так страшно...

Маме стало лучше: внезапно упала температура, она даже поела картошки и выпила оставшееся на донышке молоко.

Когда добрались до пересыльного пункта Вендинчаны, из всей колонны уцелело всего тысячи две, от силы три...

После войны я вторично поднялся на Озаринецкую гору. Никаких следов произошедшего здесь не обнаружил: ни братской могилы, ни следов захоронений. Ничего.

И захотелось мне, чтобы памятник погибшим был. Надел я гимнастерку со всеми орденами и медалями и зашёл в местный райком партии.

Первый секретарь выслушал меня и сказал:

— Мы ничего не знаем о советских гражданах, погибших на Озаринецкой горе. Сейчас сооружаем памятник воинам, освобождавшим наш город. Кстати, среди них были и евреи. Что же, ставить ещё один памятник — евреям? Отдельно? Нас не поймут.

Так и ушёл я ни с чем. Тогда-то и решил написать о том, что видел и пережил на Озаринецкой горе и по дороге к ней.

2. Мозес и Хайкеле

Уже после Озаринецкой горы, весной 1942-го, когда мне было всего восемнадцать, я очутился в гетто в еврейском местечке Шаргород. Там тоже властвовали румыны. Принято считать, что они вели себя не столь жестоко, как немцы. Это не совсем верно. Они всячески старались показать немцам, что относятся к евреям не лучше. Просто от румын иногда удавалось откупиться...

В Шаргородском гетто оказался и Мозес — высокий, стройный, крепкий парень. В гетто его любили за отзывчивость, за постоянную готовность помочь ближнему.

Начальство определило его в гробовщики, выделило ему повозку и полуодолхую рыжую лошадёнку. Только благодаря заботам Мозеса эта лошадка еще кое-как существовала на свете. Жил Мозес в убогой комнатёнке рядом с конюшней и всё свободное время проводил со своей лошадкой — разговаривал с ней, чистил, подкармливал.

Каждое утро Мозес объезжал гетто, собирал покойников, увозил и хоронил их. Он делал всё сам: родственникам присутствовать при печальном обряде не разрешалось.

Румыны часто устраивали облавы на молодых трудоспособных людей. Я обычно прятался от них на кладбище, считая это место наиболее безопасным, и там невольно наблюдал за трудами Мозеса. Он старался, очень старался! И румыны, по-видимому, были довольны им: шутка сказать, ему ежедневно выдавали буханку хлеба! Кроме того, Мозесу не грозила отправка в немецкий концлагерь под Одессой.

Однажды Мозесу сказали, что на одной из окраинных улиц умерла женщина. Он отправился туда и, войдя в дом, увидел лежащую на полу покойницу, а рядом — убитую горем девушку. Это была Хайкеле. Она со страхом смотрела на человека, пришедшего забрать ее маму. Мозес помог ей подняться, проводить покойницу до похоронной повозки...

Сделав всё, что полагалось, Мозес не поехал домой, а вернулся к Хайкеле, покормил ее своим хлебом и молча просидел с ней до сумерек. Он пришёл и на следующий день. И снова кормил её, как маленького ребёнка.

Девушка сперва смотрела на него с опаской и недоумением: зачем пришел? Что ему нужно? Но постепенно она привязалась к юноше, и сама уже беспокоилась о нем.

Как-то Мозес не пришёл в обычное время. Он перевозил чьи-то вещи, за это ему обещали пять яиц. А ему так хотелось подкормить Хайкеле!

Так началась эта несвоевременная любовь.

Часами они, держась за руки, просиживали рядом. И, случалось, Мозес, засидевшись, не успевал уйти до наступления комендантского часа. Девушка просила его остаться, но он всегда отправлялся домой, опасаясь, как бы кто-нибудь из соседей не подумал плохо о Хайкеле.

Наступило лето 42-го. В гетто свирепствовали тиф и дизентерия. Области стали ежедневными. И тогда Мозес и Хайкеле решили бежать из Шар-города в Мурафу: там, по слухам, режим оккупации был не так жесток, и в случае чего можно было податься в лес к партизанам.

Мозес решил вывезти Хайкеле из гетто — сперва на кладбище, а оттуда уже бежать. Так и сделал. Уложил свою возлюбленную в повозку, как покойницу, прикрыл соломой и повёз. Вначале всё было, как обычно, но на контрольном пункте при выезде из местечка дежурил особенно рьяный полицай Савва. Остановив телегу, он трижды штыком винтовки проткнул солому, после чего разрешил проезжать дальше.

Мозес погнал лошадь к кладбищу, он понимал, что случилась беда: из телеги на землю просачивалась кровь.

На кладбище, отбросив солому, Мозес увидел смертельно бледную Хайкеле: дважды штык не задел её, но в третий раз... Как только ей удалось не издать ни звука?!

«Похорони меня рядом с мамой...» — успела только прошептать Хайкеле. Мозес исполнил её последнюю просьбу.

В тот день я прятался на кладбище от облавы. Там я и встретил Мозеса, рассказавшего мне о случившемся.

Вечером я нашёл Мозеса в конюшне: он висел на перекладине, а рядом стояла его лошадёнка.

Что ж, в те годы многие евреи, несмотря на все запреты иудейской религии, кончали жизнь самоубийством. Такая она была, эта жизнь.

3. Отец и сын

Лето 42-го. Очередная облава в гетто.

В этот раз ни мне, ни некоторым моим собратьям по несчастью увернуться не удалось. Румынские жандармы схватили нас и отконвоировали в Тираспольскую тюрьму, а там почему-то передали немцам. Так я после гетто оказался в концлагере.

Там-то познакомился я с отцом и сыном Койфманами, Мойшем и Янкелем, местечковыми кузнецами. Они сразу же понравились мне: среди всеобщего разброда и страха их спокойствие, выдержка, чувство собственного достоинства были особенно заметны. При них и другие узники вели себя как-то иначе, старались не так паниковать, не так метаться.

Хотя отец и сын держались друг за друга, всегда были рядом, но охотно откликались на любое душевное движение в их сторону, как-то незаметно поддерживали слабых, павших духом.

Мы подолгу разговаривали, вспоминали прошлое; как могли, заглядывали в будущее. И только о настоящем — ни слова.

— Вот наладится жизнь, — говорил Мойше, поглядывая на сына, — Янкель женится, сын у него тоже кузнецом будет.

Янкель улыбался:

— Не женюсь, я всегда буду с тобой, отец!

— Ещё чего! — притворно сердился Мойше, но видно было, как ему приятна привязанность сына.

И разве я мог предположить, что скоро стану свидетелем их ужасной гибели?

Немцы, должно быть, очень скучали, слоняясь по лагерю, искали хоть каких-то развлечений. И нашли!

Короче, придумали они вот что: пусть отец и сын встретятся, как гладиаторы, в смертельной схватке, на тесной площадке мостовой опоры, что над рекой — тот, кто столкнет другого в воду, получит жизнь. Более того, будет отпущен на свободу!

Теперь я думаю, что это было не просто развлечение, а желание таким способом сказать нам: жалкие людишки, вы считали, что эта пара — особенная, что Мойше и Янкель не такие, как все. Как бы не так! Когда дойдет до главного — кому жить — куда и денутся их достоинство и взаимная любовь! Жалкая жажда продлить хоть на миг своё существование на земле изуродует их, они вцепятся друг в друга и будут драться насмерть, до конца.

За сутки до предполагаемого единоборства отца и сына изолировали от всех и друг от друга.

А тем временем на предстоящее представление стали съезжаться эсэсовцы — даже из соседних лагерей. Они располагались у реки — пили, закусывали, крутили патефон... Предчувствие небывалого развлечения настраивало их весьма благодушно. И, когда привели Мойше и Янкеля, они даже поапплодировали им слегка.

А кузнецы еще не знали, что им предстоит. Ничего хорошего, конечно, не ждали, предчувствовали что-то недобroе, но все же... Но вот им объяснили, **чего от них хотят**.

Отец и сын слушали как будто безучастно, молча. Потом — также молча — они поднялись на свой роковой помост, что-то тихо сказали друг другу. Может быть, просто попрощались. Может, попросили прощения у Бога за поступок, запрещённый религией... И вдруг оба одновременно шагнули к самому краю площадки, так быстро, что немцы и сообразить ничего не успели, и оба кинулись в воду.

Они хорошо умели плавать, но не выплыли! Как им удалось удержаться под водой, чтобы утонуть?

Некоторое время эсэсовцы растерянно смотрели на поверхность реки. Но никто не вынырнул ни вблизи, ни вдалеке. Что поднялось! Крики, беспнование всякое. Но что они могли сделать? Вдруг из толпы заключённых, сгрудившихся на берегу, рванулась ввысь, зазвучала заупокойная молитва: кто-то пел-произносил Кадиш. Чистый, высокий голос печально звучал над берегом, над немцами, над нами, над отцом и сыном — Мойше и Янкелем. Казалось, голос исходит не от кучки людей, столпившихся у реки, а льётся откуда-то с неба. Я думал, немцы начнут стрелять по заключённым. Нет, не стреляли — замерли, оцепенело слушали. А потом

тихо стали подниматься с травы и медленно расходиться. Мы ожидали чего угодно, только не этого... Как ни странно, но у нас, беззащитных, окружённых забором из колючей проволоки, живущих под пулемётами на вышках, возникло необъяснимое, эйфорическое чувство свободы. Мы хоть на мгновение распрямились, перестали бояться...

4. Побег

После гибели кузнецов многие молодые парни, хотя и помалкивали, но думали об одном: надо бежать! Ждать больше нечего — так нас постепенно всех перебьют.

Общался я тогда с таким парнем — Шлоймой. Он тоже был настроен решительно. Вот мы и договорились. Всё-таки вместе и умирать легче. Впрочем, умирать мы не собирались. И бежать решились именно поэтому.

Ночью, поближе к рассвету, ползком приблизились к проволочному заграждению за бараками. Специально припрятанной консервной банкой подсырили землю под колючей проволокой, протиснулись наружу. Совсем недалеко плескался Буг. Мы разделись, укрепили одежду на голове и поплыли...

Шлойма всё продумал, а я подчинился и только следовал за ним. Он казался мне таким надёжным. Всё-таки постарше меня, в армии уже отслужил, много чего умел и знал.

Дождик способствовал нашим планам: береговая охрана, видно, спряталась. Мы благополучно выбрались на противоположный берег, нырнули в кусты, миновали полу затопленные окопы, а за ними обнаружили полуразрушенную солдатскую землянку. Мы забрались в неё и попытались обсушиться, согреться: прыгали, размахивали руками, колотили друг друга по спине — всё равно зуб на зуб не попадал. И вдруг я заметил в углу старую шинель и обгоревшее по краям рваное ватное одеяло. Мы закутались в эту рвань, прижались один к другому и задремали. А когда проснулись, уже светило солнце. Шлойма вылез из землянки, чтобы обследовать местность. Возвратился он быстро, и принес за пазухой несколько десятков кислых-прекислых яблок. Мы грызли эту кислятину, обгрызали до сечек, но от этого ещё больше хотелось есть.

Когда стемнело, мы снова отправились в путь. Договорились идти позорнь, но не очень отдаляясь, шагах в пятнадцати друг от друга. Двигались на восток. Я не терял моего попутчика из виду, а он постепенно ускорял шаги. Я, боясь отстать, тоже пошел быстрее. Вскоре мы услышали шум движущихся тяжелых машин. Это была немецкая колонна. Переjdav её, мы быстро пересекли шоссе.

Вдали залаяли собаки. Значит, где-то поблизости село. Конечно, лучше обойти его стороной, но так соблазнительно пошарить на огородах: вдруг что-то съедобное обнаружится! Рискнули, но вместо огорода попали на неогороженное, обсаженное деревьями кладбище. На нем мы и заслегли, а когда рассвело, совсем рядом обнаружили заросли дикой мали-

ны. О, как мы набросились на неё! Но вдруг на чутъ протоптанной тропинке заметили женщину. Она шла не торопясь, спокойно, возле какой-то могилки присела, всплакнула, потом расстелила белую тряпичку, поставила на нее глиняную тарелку с едой, рядом — бутылку с прозрачной жидкостью. Еще посидела, встала и ушла.

К тарелке тотчас слетелись воробы, они чирикали, весело клевали что-то. Я ползком добрался до тарелки, схватил ее — в ней оказалась пшеничная каша, свёкла, хлеб. Как долго мы не видели нормальной еды! Тарелка быстро опустела. Самогон решили выпить потом, перед уходом.

Просидев весь день на кладбище, с наступлением темноты мы снова двинулись дальше. Под утро пересекли скоченное пшеничное поле. На нем кое-где еще торчали колоски, мы срывали их, вылущивали зерна, жевали.

Шлойма ушёл искать воду и вернулся очень довольный: он наткнулся на остатки разбитого обоза. Он принёс кирзовые сапоги, несколько солдатских фляг, белые сухари, коробочку отсыревших слипшихся леденцов, а ещё — полпачки махорки, спички, газету. Но больше всего он радовался саперной лопатке с короткой ручкой.

В третью ночь мы прошли уже километров тридцать, а то и больше: всё-таки отдохнули, всё-таки поели. Под утро подошли к скирде соломы, решили отдохнуть в ней. Но вдруг из-за скирды раздалось: «Руки вверх!», и нам навстречу вышло три полицаев.

На вопрос «Кто такие?» ответили:

— Пленные. Бежали из плена.

Нас отвели в какой-то дом на краю села и посадили в подвал. Свет в него проникал только из отверстия, через которое осенью засыпали картошку.

У Шлоймы при задержании не отобрали саперной лопатки, он сказал, что в пути копал ею картошку. Вообще полицаи были какие-то странные, во всяком случае, не похожие на тех, к которым мы привыкли.

И всё-таки я на освещённой стене подвала стал выцарапывать свои имя и фамилию: может быть, родители когда-нибудь узнают, где я погиб, но Шлойма приказал ложиться спать. Я подчинился, но скоро проснулся от толчка. «Попросись по нужде...», — шепнул Шлойма.

Было уже совсем темно. Я забараанил в двери. Полицай отпер, спустился по ступенькам, а на верхней оставил керосиновый фонарь. «Иди!» — сказал он, пропуская меня вперед и повернулся, чтобы выйти вслед за мной. Шлойме только этого и надо было, он ударил полицая лопаткой по голове. Тот выронил винтовку и, оглушенный, упал. Мы выскочили из подвала и побежали наугад, стараясь уйти как можно дальше. Шлойма считал, что нужно спрятаться в ближнем лесу: там нас наверняка искать не станут. А мне казалось, что нужно уходить отсюда подальше. Шлойму мои возражения только раздражали. «Уходи, если хочешь...» — жёстко сказал он. Мне показалось, что ему вообще хочется избавиться от

меня. Может быть, так оно и было. Теперь, когда Шлойма отправлялся в разведку, я не был уверен, вернётся ли он.

Наконец мы натолкнулись на каменоломню и спрятались в ней. Шлойма возился с винтовкой полицая, я пытался привести в порядок одежду... Вдруг перед входом в наше обиталище мелькнули какие-то тени...

Шлойма вскочил, передернул затвор — и тут же опустил винтовку: он услышал еврейскую речь.

— Идите к нам, не бойтесь! — крикнул я.

Две фигуры робко приблизились к нам. Грязные, истощенные, в немыслимых лохмотьях, они смотрели на нас испуганно и покорно. Я покорил их чем мог. Они хватали еду руками, и пальцы их дрожали.

Шлойма угрюмо молчал, я чувствовал: ему не нравится то, что я делаю. Он отозвал меня в сторону и шепнул:

— Мы не возьмем их с собой: и они не спасутся, и мы погибнем.

— Но они же люди.

— Были.

— Тогда я останусь с ними, — сказал я, — а там, что Бог даст!

— Так, — сказал Шлойма и вдруг вскинул винтовку и прицелился в меня. — Пойдешь со мной!

Деваться было некуда. Может быть, стыдно в этом признаваться, но я струсил: глаза Шлоймы были холодны и беспощадны.

Уходя, я оглянулся. Этих двух уже не было: наверное, поняли, с кем имеют дело, и ушли поскорей. Я ощутил такую пустоту в душе, всё потеряло смысл. Зачем спасаться? Зачем жить?

Часа через два мы очутились у небольшого озерца, попили воды и молча отправились дальше. Затем пересекли какую-то железнодорожную ветку, потом — автостраду.

Я очень устал, всё-таки двое суток почти без сна, в постоянном душевном напряжении. Теперь я не просто не мог уснуть, я боялся спать: Шлойма страшил меня. Неожиданно мы опять вышли к Бугу, но в другом месте. Была надежда, что если мы ещё раз благополучно переплырем его, то сможем укрыться в лесах. Но я не мог больше идти с Шлоймой, мы оказались разными, чужими людьми, и даже общая опасность не могла объединить нас.

Переплыв Буг, мы действительно расстались навсегда, разошлись в разные стороны. Долго ещё бродил я по оккупированной земле, скитался по лесам, полям, оврагам. Всякие люди встречались на моем пути. И теперь, когда мне говорят, что все евреи крепко друг за дружку держатся, я только отмахиваюсь. Кто держится, кто не держится. Люди как люди...

... В конце концов я дождался возвращения наших войск. Такая радость была! Казалось, всё теперь переменится.

Вскоре меня призвали в действующую армию, ведь война ещё продолжалась. Я успел пройти Европу с оружием в руках, побывать в Германии...

5. Случай в разведке

Декабрь. 1944-й. Городок под Будапештом. Обгорелые развалины домов, битое стекло под ногами.

Группа так называемой «ближней разведки», в которую вхожу и я, получает задание проникнуть в тыл противника, оценить его силу и установить расположение частей.

Получаем сухой паёк и традиционные «сто грамм».

Вспоминаю, как мой отец, бывалый солдат, прошедший первую мировую, говорил: «Перед боем ничего не ешь, не пей спиртного. А после боя — всё твоё и жизнь в придачу!» Я свято исполнял наставление отца и одно пытался внушить эти заповеди и моим боевым друзьям. Они только отмахивались, посмеиваясь: «А, еврейские штучки!»

Мы довольно быстро проникли в тыл противника, замаскировались и стали всматриваться во всё окружающее нас, прислушиваться к привычным звукам переднего края. И вдруг мы услышали человеческий голос: кто-то громко стонал.

— А ну-ка, проверь, кто там, — приказал мне капитан Кузнецов. — Если что — поможем.

И я пополз в сторону разрушенного дома. Вскоре я оказался возле него.

— Отзовись, солдат! — прокричал я. — Отзовись!

Ответа не последовало.

Я включил фонарик и обнаружил, что нахожусь внутри дома. Луч света выхватил из темноты печь, а перед ней, спиной ко мне, в какой-то противоестественной позе стоял человек. Немец, что ли? Шинель, во всяком случае, на нем была немецкая. Самое удивительное: головы его не было видно. Что за чёрт! Я подошёл к нему вплотную и только тут разглядел, что голова немца была воткнута в железную створку открытой печки! Почувствовав, что кто-то рядом, он зашевелился, застонал, а потом обмяк и затих.

Я спокойно снял с него пояс с гранатами, его автомат валялся в стороне.

Немец, наверняка, не мог выдернуть голову из печки. Но как он умудрился засунуть её туда? Ухватив его за туловище, я попытался освободить беднягу. Где там! Пришлось ломать печь. Наконец я освободил немца, но железная створка так и осталась у него на шее. Немец тяжело дышал. Поколебавшись, решился и попросил воды. Я дал ему флягу. Он пил, обливаясь, захлёбываясь. «Данке...» — прохрипел он.

Я хорошо знал немецкий.

— Как тебя зовут?

— Курт... А что вы со мной сделаете?

— Не знаю, — сказал я. — Начальство решит. Ты — в плену.

— А что меня ждет в плену?

— Жизнь, — ответил я. И втайне подумал: зачем он мне нужен? Пусть идёт к своим!

Уже светало. Я оставил немца, повернулся и отправился туда, откуда пришёл. «Чёрт с ним! — думал я. — Если бы мы встретились в бою... другое дело. Пусть живёт!..» Но вдруг я услышал шаги за спиной. Оглянулся: это немец, придерживая руками дверцу, тащился за мной.

Так и добрались до наших.

Капитан выслушал меня и, с недоумением разглядывая немца, расхохотался.

Немец тоже неловко улыбался, придерживая руками свою дверцу... Наверное, ему казалось, что он расположил всех к себе: может быть, и не убьют. Кстати, ничего интересного для разведки немец не знал, и капитан велел мне отвести пленного в штаб полка.

А из штаба полка нас переправили в штаб дивизии. И здесь, завидев такого диковинного пленника, все смеялись.

Наконец, Курт не выдержал:

— Солдат, почему так много возятся со мной? Почему ты не расстрелял меня еще там?

— Иди, — сказал я. — Иди!

Мы приблизились к переправе и остановились почти одновременно с колонной военнопленных. Офицер, регулировавший движение, приказал включить Курта в эту колонну, а мне вернуться в часть. Но немец, инстинктивно поняв о чём речь, неожиданно упал на колени перед офицером и стал умолять не присоединять его к соплеменникам. Он чего-то явно боялся.

— Ещё возиться с тобой! Я сам тебя пристрелю! — крикнул офицер.

Курт медленно поднялся, подошёл к дереву, прислонился к нему и сказал:

— Стреляйте...

Я уже привык к этому беспомощному чучелу, что-то меня трогало в нем. Может быть, поэтому я отважился обратиться к старшему лейтенанту и попросить за немца.

— Ладно, — сердито сказал старший лейтенант, — тогда отведи его в штаб корпуса. Мне-то что?

И снова мы пошли вдвоём. Нам повезло: при штабе были мастерские, и слесарь распилил злополучную створку и освободил шею несчастного. Курт заплакал и прочувствованно сказал мне:

— Если я всё-таки выживу, день встречи с тобой всю жизнь буду отмечать как день рождения. Я и мои дети будем молиться за тебя...

— Ты лучше расскажи, как твоя голова попала в печку, — перевёл я разговор, чтобы скрыть смущение.

— Когда начались бомбежки, я испугался: я ведь необстрелянный солдат. Мне захотелось спрятаться, забиться куда-нибудь. И тут увидел эту распахнутую дверцу. Сам не знаю как — от страха, наверное, сунул

туда голову, а обратно... Между прочим, меня увидел наш фельдфебель, пытался помочь мне, но у него ничего не получилось. Тогда он прицепил к моему поясу две гранаты и сказал: «Придут русские — подорвёшь себя...» А сам убежал.

Курт стал словоохотлив и мы говорили с ним о разном — о книгах (он оказался довольно начитанным), о религии, о войне.

Я спросил у него, есть ли у него грехи.

— Есть, — подумав, ответил он. — Как-то мы остановились в одном селе и расположились на ночлег в одном доме. Хозяева тоже легли спать, но кто-то из них сильно хрюпал и мешал нам. Ну, офицер и велел мне вывести этого русского во двор и расстрелять. Чтоб не мешал отдыхать немецким солдатам.

— И ты?! — спросил я задохнувшись.

— А что я? Приказ есть приказ. Вывел за коровник — и дал автоматную очередь.

— Скотина! — сказал я.

— Я потом молился за упокой его души, — торопливо добавил Курт.

«Что он говорит? Как будто можно отмолить кровь. И я пощадил этого человека?»

На следующий день я не смотрел в его сторону. Куда и девалась моя жалость! Мне хотелось убить его. Курт почувствовал перемену: он заговоривал, пытался растрогать меня, говорил что-то о трудном детстве, о безотцовщине... Я не реагировал: сердце моё окаменело.

Наконец, корпульное начальство велело мне сдать Курта в лагерь военнопленных. Теперь он уже не возражал против этого, догадываясь, что я больше не заступник ему.

У ворот лагеря, понимая, что мы с ним уже никогда не увидимся, он попытался попрощаться, поблагодарить меня и даже подарить часы. Я, конечно, отказался.

Мы вошли в проходную, и я неожиданно увидел одного из своих давних боевых друзей по разведке. Сейчас он служил здесь. Я передал ему немца, рассказав о его заключениях. И все думал: рассказывать об этой истории с ночлегом или не говорить?

Попрощавшись с другом и даже не взглянув на Курта, я повернулся, чтобы уйти и вдруг услышал, как мой товарищ спросил Курта:

— А ты знаешь, что твой спаситель — еврей?

И я услышал такой ответ:

— Жаль, очень хороший парень...

Вот так.

6. Пути Господни неисповедимы...

После окончания Черновицкого медицинского института меня направили на работу в Свердловскую область: в лагерь. Вольнонаёмным врачом.

Обыкновенный советский лагерь, набитый до отказа. Одни в нем сидели за преступления, другие — неизвестно за что. Такие были времена.

Я жалел всех. Точнее, почти всех, потому что бывшие старосты, бургомистры, полицаи у меня сочувствия не вызывали. Я достаточно испытал на себе их жестокую власть. Сейчас идет переоценка ценностей, но у меня свой взгляд на прошлое: я помню то, что помню.

Как-то ночью дежурил я в лагерной больничке. Работы не было, прилег вздремнуть. Вдруг будят: привезли заключенного с острым приступом аппендицита. Необходима срочная операция, а лагерный хирург в отъезде. Что делать? Нужно отправить пациента в районную больницу, но это невозможно без разрешения лагерного начальства. Да кто посмеет ночью будить этих господ-товарищей?

Я подошел к больному, чтобы осмотреть его и уточнить диагноз. Что-то знакомое в лице. Господи! Да это же Ионел! Тот самый наш истязатель на Озаринецкой горе. Встретились всё-таки. Сколько мечтал об этой встрече — в штыковой атаке, в разведке, в тылу врага. Но не здесь же, не при таких обстоятельствах.

Я ведь разыскивал его в 1948, после демобилизации. В винницкой прокуратуре мне сказали, что он пойман и осуждён. Рядовой преступник тех лет. Особо компрометирующих материалов не собрано. Ещё бы: свидетели-евреи давно мертвые.

— Как тебя зовут?

— Ионел.

Если бы он иначе назвал себя, я всё равно узнал бы его.

Скрывая своё волнение, я осмотрел больного. Нет, это не гнойный аппендицит, фельдшер ошибся. Скорее всего прободная язва желудка с перитонитом.

Я поднялся, отошёл к окну, руки у меня, кажется, дрожали.

— Доктор, что с вами? — тревожно спросила медсестра из заключенных. Видно, она решила, что я, молодой врач, к тому же не хирург, боюсь ответственности, не могу решиться на операцию.

— Решайтесь, — сказала она. — За осужденных никто ответственности не несет. Погибнет — спишут, и всё.

Мне повезло (и ему — тоже): операционная сестра была очень опытной, когда-то работала в знаменитой клинике.

Жизнь этого палача была в моих руках. Я не хирург, я имел юридическое право отказаться от операции. И он, помучавшись, умер бы. Он, правда, мог умереть и во время операции, и после неё, но это уже был бы другой поворот судьбы...

Я преодолел себя и приступил к работе: ушил прободное отверстие, как это делал мой замечательный учитель, профессор Александр Ефимович Мангейм, да будет светлой память о нём, не забыл я прикрыть ушибленное отверстие сальником... В общем, операция прошла успешно.

Я снял перчатки. Вытер вспотевший лоб. Всё!

— А вы знаете, кого я спасал? — спросил я сестру. Откуда она могла знать? Рассказал. Она только ахала и качала головой.

Утром меня вызвал начальник санчасти. Ему обо всём доложила сестра. Он был честный, порядочный человек и, видимо, эта история произвела на него впечатление:

— Всё-таки странный народ евреи, — рассуждал он вслух. — Я не раз видел на фронте, как они самоотверженно спасали раненых немцев... А ведь вы здорово рисковали! Отказались бы оперировать — ну и сдох бы он, и никого это не интересовало бы. Но если бы он у вас умер на операционном столе — о, нашлись бы такие субчики, которые сказали бы, что вы нарочно зарезали христианскую душу. Вы ведь знаете, какие сейчас времена?

Ещё бы не знать! Как раз разворачивалось «дело врачей». Кругом проходили собрания — и у нас тоже.

Через несколько дней я посетил палату, где лежал Ионел. Мазохизм, скажете? Да нет же, Ионела я не стал бы проведывать. Мне хотелось хоть что-нибудь узнать о том офицере, который спас тогда и меня, и моих родителей.

Ионел обрадовался возможности поговорить со своим спасителем. Сказал, что весь состав Могилёво-Подольской жандармерии судили, рядовых приговорили к пятнадцати годам, а всех офицеров, без разбору, расстреляли. Значит, и того тоже. В памяти невольно всплыли слова из Екклезиаста: «Всё я видел в дни своей суетности: есть праведник, который может погибнуть со всей своей праведностью, а есть грешник, продевающий дни со всем своим злом».

— Что ты знаешь об этом офицере? — спросил я. — Хоть имя его назови!

— Не помню, — ответил Ионел. — Знаю, он из семьи священника, а сам до войны учился в университете, студент...

Как ни странно, бывший жандарм не удивился моему вопросу. Неужели узнал меня?

И тогда я не удержался — напомнил ему обо всем: и о маме, которую я нес в мешке, и об Озаринецкой горе, — словом, обо всём.

Он испугался, пытался схватить и поцеловать руку, но я быстро вышел из палаты, больше этот субъект для меня не существовал.

Что было дальше с ним, я узнал случайно. Он выздоровел, но, оказывается, все равно был обречен. Видно, крепко насолил своим соузникам, если они приговорили его к смерти. В лагерях свои нравы, есть вещи, которых и там не прощают.

Ионела убили.

И никто, наверное, не вспомнит его на свете, никому он не был нужен — разве что себе самому.

Впрочем, и убитых им мало кто вспоминает.

Ещё Соломон сказал:

«Нет памяти о первых и о последующих поколениях. Не будет памяти и у тех, кто придет на землю после них».

Так-то оно так, и все же иногда думаю: разве это справедливо?

Пути Господни неисповедимы...

Литературная запись Риталия Заславского

Мирон Петровский

КИЕВСКОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ ДАВИДА МИРЕЦКОГО

Положить цветы к памятному камню в Бабьем Яру (не только трагически скромной меноры, но и претенциозно-официального монумента тогда ещё не было) Давиду Мирецкому не дали.

Вокруг камня, на котором было начертано, что здесь, мол, будет сооружен памятник, несколькими опоясывающими цепями стояли добрые молодцы в хаки и штатском. Советские патриоты и комсомольские активисты хорошо отработанными тычками отбрасывали каждого, кто пытался проникнуть за оцепление. Пропускали только тех, кто прибыл в специально мобилизованных милицией автобусах — специально же мобилизованных и призванных трудящихся близлежащих заводов и учреждений.

Там, у камня, в годовщину начала трагедии Бабьего Яра, шел инсценированный митинг, и назначенные ораторы (помните, у Галича: «Как мать говорю и как женщина...»), читая с листков по складам, клеймили мировой сионизм и израильских агрессоров. Погибшие здесь киевляне — в том числе и родственники Давида — встав из могилы, едва ли сумели бы понять, какое они имеют отношение к сионизму, Израилю, агрессии...

Принесенные цветы Давид и его друзья положили под ближайшее дерево. Какая разница? Здесь, в Бабьем Яру, куда ни ступи — могила, побрившая всех.

В тот же миг они были схвачены добрыми молодцами в хаки, брошенны в милицейские машины и доставлены в суд. Суд был жесток, зато скор: хватило четверти часа, чтобы дать им по пятнадцать суток. Судья почтительно выслушал свидетельства добрых молодцев, лишил обвиняемых слова и вынес постановление. Никто из подсудимых и помниться не успел, как всё было кончено. Они были осуждены «за нарушение общественного порядка», выражившееся «в разбрасывании мусора в общественных местах».



Д.Мирецкий. Автопортрет. 1970.

Выйдя через две недели на свободу, все злостные разбрасывали мусора оказались без средств к существованию. Давид Мирецкий тоже был отстранён от своей работы руководителя художественного кружка в районном Доме пионеров, где ему платили вдвое меньше, чем гардеробщица, работавшей там же.

О, эти «пятнадцать суток» времен «застоя», сменившие пятнадцать и больше лет времен «культы! В мире, где унижение становилось рутинным бытом, говорить о каких-то пятнадцати сутках заключения было даже как-то неловко. Ведь неловко, в самом деле, навещая пациента ракового корпуса, жаловаться ему на свой насморк. Но для скольких эти пресловутые пятнадцать суток стали последней, невыносимой каплей в безмерной чаше унижений? В камере Давид принял решение об эмиграции.

Речь, следовательно, об американском художнике родом из Киева. О блестящем мастере, вышедшем, как любили отмечать в советских характеристиках, из низов. Из самых что ни есть социальных лачуг и подвалов большого города. О таких людях англичане говорят: человек, который сам себя сделал. Давид никому не обязан тем, что стал изощренным художником, высокообразованным интеллигентом. То, о чём врал Мюнхгаузен, — вытащить себя за волосы из болота — оказалось возможным на самом деле. Те, кто прошел такой же путь, поймут огромность приложенных усилий — физических, интеллектуальных, душевных.

Когда его — в который раз! — не приняли на факультет живописи художественного института, Татьяна Яблонская, посмотрев его работы, посоветовала поступать на педагогический: там негласная «процентная норма» не столь жестока, а живописцем вы все равно будете, — сказала она. «Непrestижность» педагогического факультета не отпугивала Давида — он охотно работал с детьми, и это дело у него получалось. В нем и самом была та благословенная толика детскости, без которой не бывает настоящего художника. Дети, приходившие к нему, как-то вдруг оказывались — все! — одаренными рисовальщиками. Немногословный, как все сосредоточенные люди, он выговаривал вслух только хорошо продуманные мысли. Если есть в человечестве высшая раса, сказал он однажды, — то это, конечно, дети.

Он увлёкся искусством миниатюрной живописи, изучал стиль и технику восточной миниатюры, долго работал с миниатюристами Холуя и Палеха, и тамошние взыскательные, блюдущие честь цеха мастера признали его своим. Его мастерство достигло неслыханной утонченности. На крохотном диске трёхкопеечной монеты он написал портрет дочери; слайд с этого портрета был показан понаторевшим профессионалам-художникам — никто из них не догадался о размерах оригинала, думали — станковая живопись. Сергей Параджанов пришел в восторг, увидав миниатюры Давида. Он захотел приобрести что-нибудь для своей коллекции, и Давид играючи написал для него копиюleonardовой «Дамы с горноста-

ем». Этую работу, смею думать, было бы не стыдно показать и самому Леонардо (где она, кстати?).

Художник не тот, кто умеет рисовать, а тот, кто любит рисовать, — сказал Давид в другой раз. Мысль странная и не бесспорная, но когда её выговаривает блестательный мастер, она приобретает совсем не тот смысл, что в устах, скажем, трудолюбивого дилетанта. Давид Мирецкий «любит рисовать» киевских жителей из средних и нижних городских слоев. Его живописные полотна запечатлевают тот «мещанский», попросту говоря — городской мир, который начисто проигнорирован советским изобразительным искусством. Нужно патетическому, предвзято героизированному человеку советского изобразительного искусства Давид Мирецкий без всякого пафоса противопоставил будничного человека, не просто — «бытового», но с головой погруженного в мир, где ничего, кроме скучного и убогого быта, нет.

Если бы речь шла не о живописи, а о графике, можно было бы сказать, что патетическому плакату противопоставлен аналитический шарж и даже карикатура. Но у Давида Мирецкого — живопись высокого класса, и его отношение к действительности не передается этой упрощающей метафорой.

Вот свидание солдата с «климентицей» в тусклобагровом двойном свете заката и фонарей. Вот очередь в мясной лавке — искаженные повседневными заботами тусклые лица обывательниц (в диапазоне от усталого равнодушия ко всему на свете до мелкой шустости и хитрости, принимающих себя за ум) — а над ними возвышается сытая ряшка мясника на фоне куска мяса, словно бы окружённая нимбом из говядины. Вот туповатые — нет, скорее, дубоватые — доминошки в азарте игры, и вот этот, с фиксой (шоферюга, наверно) — просто страшен. Скудные и косые, бездуховные и бессмысленные, воплощенная «масса», «люди толпы», они должны бы вызывать — и, кажется, вызывают — резкую неприязнь художника.

Но, яростно отталкиваясь от этого засилья безликих лиц, ненавидя их в качестве конкретных социальных персонажей (так, что ненависть переплескивается в почти карикатурную экспрессивность образов), он обожает их как объекты изображения. Вся их дубовая стоеросовость, душевная нищета и умственная скучность, обесчеловечивающая замкнутость в столь же скучный быт, — оглажены, обласканы, изукрашены влюбчивой кистью художника. Каждый квадратный сантиметр его холстов — произведение искусства. Это «внутреннее» противоречие работ Давида Мирецкого придает неожиданную динамику его статичным сюжетам, ставит зрителя перед загадкой, которая, быть может, не имеет решения, но настоятельно требует, чтобы ее решали, провоцирует осмысливающее усилие. Еще бы не загадка: даже то, прекраснее чего нет на свете — женскую натуру, женское тело — Давид изображает притягательным и отталкивающим, отвратительным и очаровательным одновременно. Он, как это ни



Д.Мирецкий. Троица. 1975.

странны, по-своему любит своих «антигероев», хотя, быть может, не столько любовью, сколько любованием. И да простит нас бог изобразительного искусства, если за этим любованием мы ощутим боль и печаль художника.

Если определить художника — значит назвать традицию, к которой он примыкает, из которой в то же время выламывается, оспаривая и переосмысливая ее, то даже в самом кратком очерке о Давиде Мирецком не обойтись без упоминания славного имени Питера Брейгеля, по прозвищу Мужицкий.

Обостренное, на грани трагикомедии переживание быта, прозрение за бытовой мелочью далеко уходящих смыслов, склонность к притче,



Д. Мирецкий. Диспут.

осмысление колористического диапазона как диапазона эмоционального, даже подчеркнутая склонность к ракурсу «немного сверху», определяющая отношение автора к природе, — всё это роднит двух художников, разведенных исторически и географически. Дело даже не в том, что Питер Брейгель — любимый художник Давида Мирецкого. Дело в том явлении, которое Гете называл «избирательным сродством», в радостном узнавании

«своего» среди культурных ориентиров прошлого. Был бы на берегу этот великолепный маяк или же его там не было бы — Давид все равно плыл бы к тому берегу. Назвав Давида Мирецкого Мещанским, мы определим изображаемый, то есть осмыслием им мир, а не его самого. Его ракурс — немного или даже основательно сверху.

В киевском многолюдстве, в кишении городских толп глаз Давида Мирецкого охотней всего замечал и выхватывал персонажей семитского типа (не обязательно евреев). В социокультурном критицизме художника различимы обертоны национальной самокритики — и это оптимистические обертоны, потому что национальному возрождению должна аккомпанировать национальная самокритика. Пути национального самолюбования, самовосхваления и прочего в этом роде — провальны, чреваты неисчислимыми и непредсказуемыми трагедиями. Самолюбование своих героев Давид отмечает как проявление все той же обывательской скучности, мещанской бездуховности.

Двойное противоречие — одухотворенности с бездуховностью и красоты с безобразием — исчерпывающее представлено на ранней миниатюре «Диспут», словно бы отсылающей к какому-то сюжету, возможно — библейскому (но напрасно мы стали бы искать в Библии этот сюжет), к какой-то притче, которую утратили или забыли сочинить...

КИЕВСКОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ ДАВИДА МИРЕЦКОГО



Д. Мирецкий.
«Очередь», 1988.

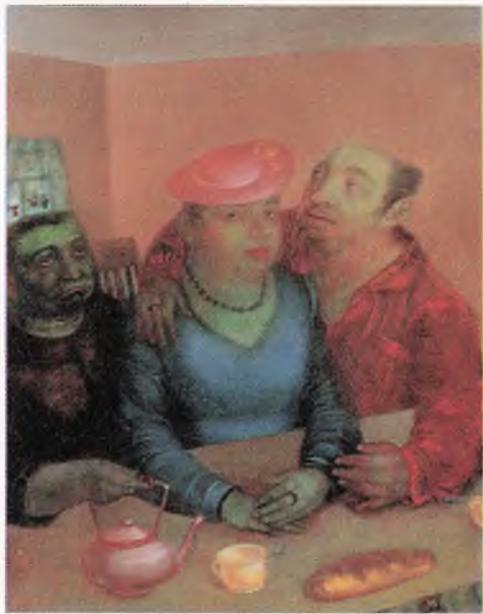
Д. Мирецкий.
«Игроки
в домино», 1972.





Д. Мирецкий.
«Женщина за туалетным
столиком». 1996.

Д. Мирецкий.
«Семья». 1984.



КИЕВСКОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ ДАВИДА МИРЕЦКОГО



Д. Мирецкий. «Красная зима». 1986.



Д. Мирецкий. «Кабаре». 1990.

Для меня человек красив равно как дерево, небо и травинка. Моя изображения людей мне кажутся живыми, как будто застигнутыми врасплох моим глазом. (Противоположно позириующему перед камерой: улыбающемуся, собранному, красивому человеку.)

14 мая 1998

Давид Мирецкий

На круглой (шесть сантиметров в диаметре) пластинке, поверх сусального золота, маслом, но в прозрачной акварельной технике, так что свет, проходя через краску, отражается от золотой подложки, изображены два персонажа в состоянии спора. Все те же излюбленные киевские персонажи художника, по законам жанра перенесенные в условное притчевое пространство. Один — грубо физиологичен и отчасти напоминает мясника из «Очереди» — с хорошо натренированными челюстями, брыластый; другой — одухотворенный интеллектуал с хорошо развитыми лобными долями, и так ли случайно в нем проглядывают автопортретные черты? Физиологический тип протягивает свой довод в споре — золото, духовный тип



Д.Мирецкий. Пикник. 1989.

парирует этот довод, указуя вверх — то ли на зелень дерева (не древа ли познания добра и зла?), то ли на голубое небо, то ли на Бога. Но конфликт заложен не в демонстрируемых символах, что бы они ни символизировали, а в самих персонажах, в их мастерски вылепленных характеристах, в их тонко промоделированном цвете. Миниатюра «Диспут» — маленький золотой ключик ко всем большим полотнам Давида Мирецкого.

Эпос городского мещанства у Давида подспудно лиричен: он включает в себя все ноющие и саднившие смыслы собственного пути художника. Человек может и, следовательно, должен — преодолеть обесчеловечивающую косность повседневности, вырваться из тупого быта к бытию.

Много лет спустя, в Америке, Давид опробует на большом холсте что-то вроде женского варианта того (или другого, но чрезвычайно близкого) замысла, который представлен на миниатюре «Диспут». В двухчастной композиции, в неформальном диптихе он то ли соположит, то ли столкнет, сопоставит-противоставит два женских образа — высоко поэтичный и грубо вульгарный, Деву и девку, вечно женственное и неизбывно физиологическое. Находясь в пространстве одного и того же холста, они как бы пребывают в разных мирах — никаких композиционных пересечений между ними нет. Обе написаны со свойственным Давиду всегдашним удивительным мастерством, но одна стилистически намекает на Боттичелли и прерафаэлитов, другая ... Не знаю, как и назвать стилистическую ориентацию другой. С бережной неопределенностью назовем её противоположной.

Став американским художником, Давид ничуть не переменился. К этому заявлению требуется масса оговорок: конечно, переменился, обрел новое мастерство, обогатился впечатлениями Нового Света и новым опытом, стал работать с новыми материалами (успехом пользуются его анималистические скульптуры из металла) и так далее. Но в главном, что составляет самую основу его искусства, — он все тот же. Присмотритесь к посетителям какого-то американского злачного места («Кабаре») — ба, знакомые все лица! Не их ли мы ежедневно встречаем в давке киевского метро и автобуса, в магазинах и кафе, в казенных кабинетах и частных офисах? Как будто там, в далеком Нью-Йорке, художника преследуют все те же киевские обыватели — ну, положим, более сытые и благополучные, но в своей бытовой самодостаточности — те же.

Можно оставить родной город, свою страну и дом, но из самого себя не эмигрируешь. Все свое художник носит с собой и в себе. В его живописи по-прежнему с острой парадоксальностью представлена красота уродства, любовь-ненависть художника к своей натуре и радость творчества, осложненная сосущей и тянувшей болью. Он по-прежнему — киевский художник...



Д. Мирецкий. Миниатюра. 1997.

Ирина Климова
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
ИМПРОВИЗИРОВАННОГО ЗРИТЕЛЯ



А.Балазовский. Автопортрет. 1970.

Балазовский и Рудминский — киевляне, оба родились на Подоле. Детство у обоих было нелегким: у одного предреволюционное, у другого — предвоенное. Абрам Балазовский родился в 1908 г. Рисовать начал рано. В 10–11 лет посещал студию «Культур-лига». Некоторое время работал под руководством художников Пальмова и Черкасского. С 20 лет жил в Москве. Учился на рабфаке искусств. За участие в выставке «Молодые дарования» был награжден стипендией им. Луначарского. Вернувшись в Киев, учился в Художественном институте, работал в театре им. Франко. Перед войной снова жил в Москве. В Московском художественном институте его учителями были А.Лентулов и В.Шестаков. В 1941 г. Абрам Балазовский добровольцем ушел на фронт. После войны более 20 лет работал в Киеве в различных театрах, на телевидении, в Институте монументальной живописи и скульптуры при Академии архитектуры УССР. На протяжении многих лет руководил изостудией Дворца культуры пищевиков, Подольского дома пионеров. В историю искусства вошел в основном как театральный художник.

Так назвал свой автобиографический очерк художник Ефим Львович Рудминский. Сейчас передо мной лежит еще несколько статей о нем, написанных уже после его смерти. Но главное о художнике можно узнать из его работ. С учителем Рудминского художником Абрамом Семеновичем Балазовским я тоже знакома только по работам. Этот мудрый и добрый человек для многих был Другом и Учителем, а Ефим Рудминский являлся одним из самых близких, самых любимых его учеников. Но пути в искусстве у каждого из них были свои.

Но такая оценка его творчества, конечно, была бы неполной. С 1968 г. художник работал исключительно над станковой живописью. Впервые его работы экспонировались ещё в 1929 г. Но первая персональная выставка состоялась в 1968-м в Киевской студии телевидения. Затем, в 1975 г. — в Центральном доме литераторов в Москве. 1978 г. — в Республикаンском Доме художника в Киеве. В 1985 г. — в Республиканском Доме актера (уже посмертная). С 1985 г. по 1991 г. ещё на нескольких выставках были показаны его работы. Совсем недавно, в 1998 г. в Музее театрально-го искусства состоялась выставка работ А.Балазовского, посвященная 90-летию со дня его рождения.

В 1968 г. искусствовед Л.Владич точно сказал: «Балазовский — волшебник цвета». Меня, зрителя, его работы уводят от окружающего реального мира, мне нравится мир его фантазии, я не сопротивляясь, с радостью перехожу с ним из одного мира в другой. Это и привлекает меня. А замечательный искусствовед Абрам Эфрос, строгий, взыскательный ценитель, в своих письмах к художнику (они впервые печатаются в этом номере «Египта») писал, пытаясь ограничить именно это влечение художника к фантастике: «...У Вас лучшая возможность писать живую и милую природу, живых настоящих людей. Не всегда беглость, импрессионистичность — залог живости. Наоборот, для Вас дисциплина, настойчивость, медленное одоление трудностей — настоящее дело. Солидная живопись в сезанновском смысле — важнейшая вещь при Вашем темпераменте, чуть ли не мазок в мазок, строжайший рисунок. Почти академическая выверенная форма, — объемы, контуры, моделировка, палитра и так далее. Талант у Вас подлинный... Я в Вас верю, — в особенности, если будете держать свою фантазию под контролем и зрителю будет ясно, что к чему. Ищите хороших, подлинно живописных декорационных решений. Не увлекайтесь красочной дрызготней. Лепите кистью, сводите все месиво к центральным узлам. Не бойтесь ясности: при Вашем характере романтика, поэзия всё равно останется; она Вам присуща и никуда не ускакет».

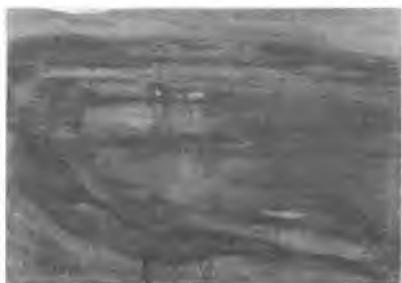
Абрам Балазовский умер в 1979 г. Но остались его работы и ученики. Человек — это всегда открытая жизнь, художник с его сложным миром — особенно. Ефим



Е.Рудминский. Автопортрет. 1980.



Е.Рудминский. «Письма без слов». 1973—1987.



*«Только что приехал в Межгорье
и в первую очередь нарисовал вам письмо
прямо из окна моего номера.»*

E.Рудминский

Рудминский посвятил Учителю выступление на обсуждении выставки его работ в Киевском доме актера в 1985 г.

На многие вопросы Ефим Рудминский ответил в своём автобиографическом очерке, на многие и сейчас отвечает своими работами: живописью, графикой, первоклассными архитектурными проектами.

Двойственность его жизни: рядом с нами, и — в своём мире, «Мире Рудминского». Его работы можно смотреть подолгу, проникая в глубину тайны. Он говорил, что живопись (как и музыку) нужно много раз «слушать», тогда только она станет твоей.



*Е.Рудминский. Из серии
«Коры и картиады». 1970-е.*



Он переживал действительность, облекая ее в удивительные фантазии. Даже самые реальные образы — портреты, пейзажи — у него таинственны и загадочны: «Я, если так можно сказать, больше занимаюсь колдовством, созерцая то, что получится. Мне дорог сам процесс...»

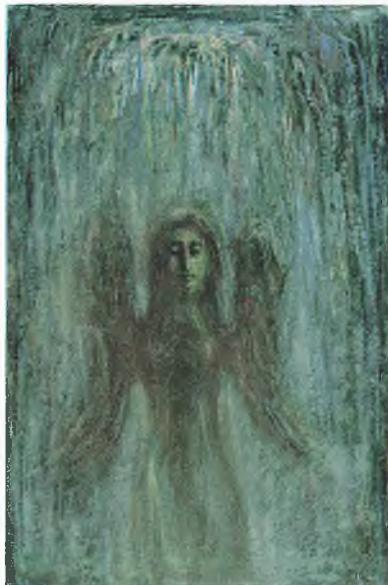
В автобиографическом очерке Е.Рудминский писал: «Бог готовил меня в поэты, наделив обострённой впечатлительностью, способностью не столько осмысливать действительность, сколько ее переживать». Мне кажется, он достиг полного соответствия между эмоциями и их живописными воплощениями.

ХУДОЖНИКИ А.БАЛАЗОВСКИЙ И Е.РУДМИНСКИЙ



*E. Рудминский.
«Суббота». 1992.*

*E. Рудминский.
«Патриарх». 1990–1993.*



*Увидеть и объяснить
художника непросто, а тем
более работы А.Балазовского,
работы-состояния, в которых
скрыт свой тонкий
и трогательный внутренний
мир — мир высокой
эмоциональной культуры
и светлой образности.*

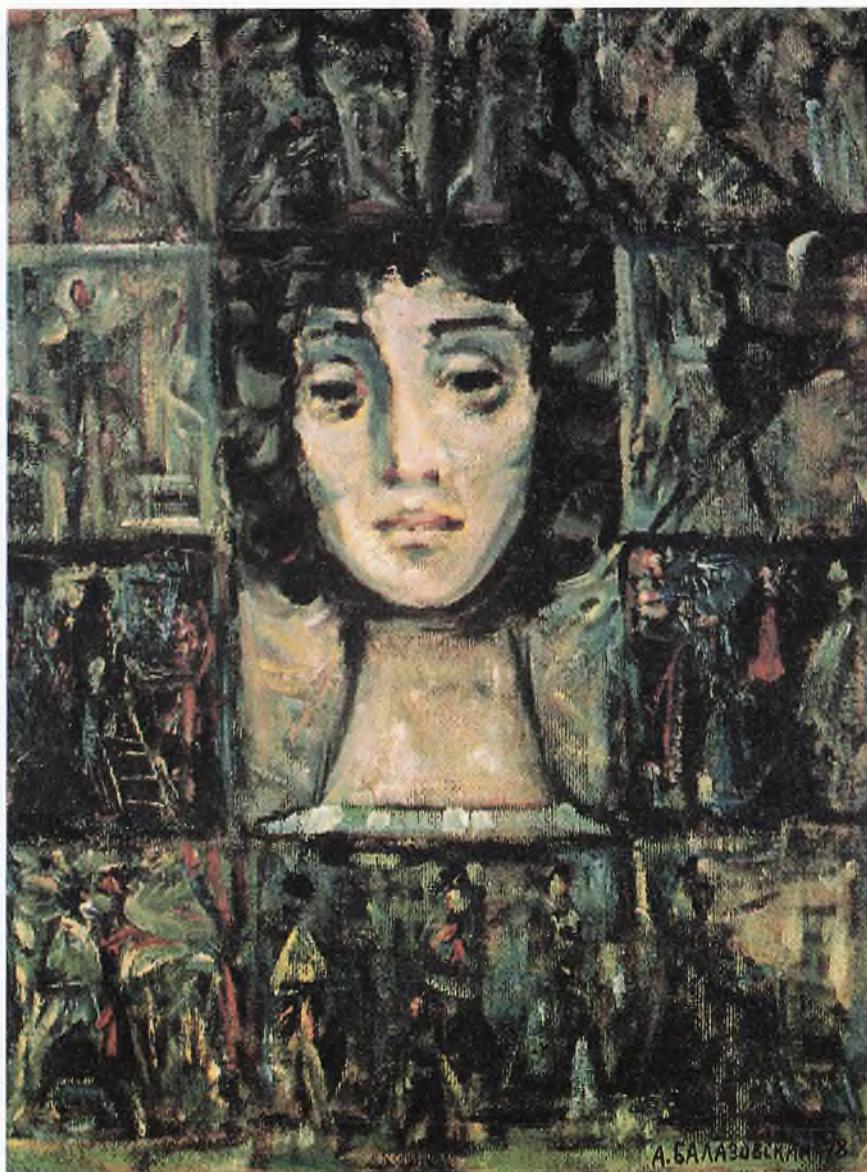
E.Рудминский



*E. Рудминский. «Реквием».
Памяти А.Балазовского.
1982.*

*E. Рудминский.
«Пророчество. Образ
(мерцающий)». 1984.*

ХУДОЖНИКИ А.БАЛАЗОВСКИЙ И Е.РУДМИНСКИЙ



А. Балазовский. «Театр и зритель». 1978.



А.Балазовский.
«Кораблик». 1973.

А.Балазовский. «Диалог». 1978.





Е.Рудминский. «Мужчина в шапке Автопортрет». 1992.



E.Рудминский. «Киев. Оболонская, 5. Двор моего детства в 50-е гг.» (из серии «Киев в миниатюрах»). 1994.

Знання обстоятельств життя художника і умови створення його творів существенно для їх розуміння. Але ці відомості не повинні становитися преградою для непосредственої зустрічі з творами майстра. Рудмінський вважав, що пояснити мистецтво до кінця неможливо. Да, очевидно, і не потрібно. Його роботи не хочеться піддавати аналізу: говорити про композицію, про те, яким колористичним прийомом він досяг певного ефекту, про якість малюнка. В його живописі, як

и в живописи его учителя Абрама Балазовского, есть «моцартианская» легкость, музыкальность, о которой писал Абрам Эфрос. За этой легкостью стоит скрытый от зрителя труд, напряжение поиска, эксперимента. Его работы чрезвычайно разнообразны, иногда трудно поверить, что они сделаны одним автором. В них множество смен чувств, настроений, состояний — и все это отражено цветовой гаммой.

Ещё в 1954 г. на работы Ефима Рудминского обратил внимание художник Н.Глущенко. По его рекомендации Ефим был принят в Республиканскую художественную школу. В 1956 г. с Божьей помощью (по словам самого художника), но без постороннего участия поступил в Киевский художественный институт на архитектурный факультет.

При жизни Ефим Львович Рудминский был больше известен как архитектор, как художник-монументалист. На протяжении многих лет его живопись не имела официального признания, выставка его работ была запрещена. За последние годы состоялось несколько персональных выставок художника, к сожалению, посмертных. Он умер в 1994 г., прожив всего 57 лет. Его работы хранятся в частных коллекциях в Киеве, Санкт-Петербурге, Сочи, Гродно, а также за границей — в Израиле, Германии, Франции, США, Греции, Ирландии, Польше.

В 1991 г. его проект мемориального комплекса «Бабий Яр» в Киеве получил вторую премию на международном конкурсе. В 1993 г. он участвовал в конкурсе на проект памятника «Голодомор 1932–1933 гг. на Украине», где также был премирован.

В живописи и графике он работал над сериями работ. Названия их условны, а образы и персонажи в различных сериях могут быть близки. Кроме того, много портретов, пейзажей. «... Увлекся, просто заболел серией «Киев в миниатюрах». На большинстве из них должен быть Киев нашего детства, Киев — ностальгический», — писал Е.Рудминский.

А на вопрос «Как Вы представляете принадлежность художника к той или иной национальности?» ответил: «Прежде всего хочу сказать, и это сегодня может кому-то не понравиться, что я «махровый» интернационалист. Это вовсе не означает, что я хоть в чём-то отказываюсь от своего происхождения. Оно дается каждому от рождения и случайности в этом нет». Не споря с этим утверждением, тем не менее публикуем статью известного искусствоведа Г.Островского (Израиль) о национальных мотивах в творчестве Е.Рудминского.

Творчество Абрама Балазовского и Ефима Рудминского — тема для серьезных искусствоведческих работ. Современный зритель только начинает открывать для себя мир этих замечательных мастеров.

В этом номере «Египца» мы печатаем воспоминание об Учителе двух других учеников А.Балазовского, живущих ныне в США.

Григорий Островский

«ЧЕЛОВЕК РОЖДАЕТСЯ НА СТРАДАНИЕ...»

Продолжим слово Иова: «...как искры, чтобы устремляться вверх». Без этой устремленности нет художника и человека. Уровень дарования не зависит от того, еврейский ли это художник или же художник еврейского происхождения, что, как известно, не одно и то же, живет ли он в Израиле либо в диаспоре. Так или иначе, все эти люди и характеристики составляют интегральный баланс всееврейской художественной культуры.

Ефим Рудминский (1937–1994) жил и работал в Киеве, художник он бесспорно талантливый и по определению еврейский. Перечень выставок и конкурсов, в которых он принимал участие, обозначает контуры творческой биографии:

1989. Выставка в еврейской библиотеке Киева. Международная выставка «Бабий Яр».

1990. «Современная религиозная живопись». «Человек времен Холокоста».

1991. Выставка «Памяти Бабьего Яра». Международный конкурс проектов мемориала «Бабий Яр» — вторая премия.

1992. «Современное еврейское искусство Санкт-Петербурга и Киева».

1993. «Еврейская тема в произведениях художников Украины». Конкурс проектов памятника «Голодомор в Украине».

Здесь пролегла роковая черта, но жизнь художника была продолжена:

1995. Персональная выставка на Андреевском спуске в Киеве. Киевское землячество в Иерусалиме.

1996. Архив советского еврейства в Иерусалиме.

1997. Персональная выставка в киевском Музее русского искусства.

Это внешние параметры, а сущностные определяются не теми или иными обстоятельствами; последние могут сложиться по-разному, но художник-то один.

Архитектор по образованию и роду основных занятий, Ефим Рудминский самое важное, интимное, сокровенное исповедовал в живописи, ибо, по его словам, «живопись — это образ жизни, способ существования». Он работал маслом и пастелью, писал портреты, пейзажи, фигуративные композиции, участвовал в выставке «Булгаков и Киев», но главным для него оставалась национальная идея, свет и тени еврейской истории. Все творчество Е.Рудминского пересекает тема Бабьего Яра как воплощения и символа геноцида еврейства. Художник находит свой ракурс, свои, незаемные интонации. Он не нагнетает безысходную трагедийность событий, не акцентирует мотивы гибели тысяч и тысяч безвинных людей, но внимательно и вдумчиво всматривается в лики еврейских женщин, старых и молодых, в равной мере прекрасных и одухотворенных, не униженных, но величавых в ауре человеческого достоинства и доброты, извечной пе-

чали и страдания. И только гигантская менора, устремившая ветви в небо, соединяет вокруг островка света во тьме — тела уцелевших и погибших во вселенской Катастрофе.

В картинах цикла «Поминание» рядом с «простыми» евреями, чей скорбный путь оборвался в Бабьем Яру, возникают библейские персонажи. И это не случайно, поскольку в творчестве художника воедино сплавлены разновременные пласти истории, а Книга книг служит неиссякаемым источником раздумий, вдохновения, образов. Сюжетная мотивация не так уж существенна: одну свою серию Е.Рудминский называет «Лица, образы, состояния», а другую —



Е.Рудминский. «Двоє» (из серии «Бабий Яр»). 1992—1993..

Е.Рудминский. «Молитва». 1989.

«Безымянные пророки». Менее всего художника занимала этнографическая и археологическая точность аксессуаров. Вот и его Рут на встречу с Боозом приходит в шляпке и с шарфом — еще один неожиданный ракурс легенды о прародительнице царя Давида.

«Рахиль и Лея», «Юдит» и еще «Рут», «Скорбь Иова», «Иегуда и Фамарь», снова «Фамарь», «Рут», «Рахиль», «Давид и Вирсавия»... «Поминание», «Суббота», «Семья», «Двоє»...

Это не жанровое бытоописание, не исторические и тем более не мифологические сцены; воссоздавая на холстах героев и героинь библейских сказаний, художник



создает не иллюстрации или комментарии к ним, но живописный эквивалент своих настроений и ощущений, картины образ, в котором все так реально и все так призрачно, неосозаемо... Каждый персонаж единичен, неповторим, но открывается он не в одномоментном восприятии, а в многоизначности порождаемых им ассоциаций, таинственной иррациональности излучаемого им свечения. Лицо-фигура — фон, свет и тьма, еще точнее — человек и его пространство; не конкретная среда обитания, но духовное пространство его мыслей, чувств, переживаний были одной из важнейших в творческой проблематике Ефима Рудминского. А в конце концов определяющим оказывалось ярко (хотя и ненавязчиво) выраженное лирическое начало, чисто художественное, эмоциональное отношение к предмету изображения. Сторонясь драматургических коллизий, Ефим Рудминский как бы погружается в медитативную созерцаемость и в ней обретает поразительное богатство не внешних, но внутренних, духовных связей личностей, событий, явлений, и это состояние окутано атмосферой библейских — и таких современных! — печалей и состраданий, традиционных нравственных ценностей — милосердия и добра, нежности и любви.

Внимательный и пристрастный читатель танахических текстов, Ефим Рудминский был прежде всего живописцем: язык красок — единственно возможное для него средство общения с миром реальным, воображаемым, мистическим и запредельным. Эстетические критерии оставались для него безусловно главенствующими; красотой и гармонией колорита, построенного на насыщенных цветах или, чаще, на тончайших, едва уловимых невооруженным глазом оттенках сближенных тонов, он сообщал персонажам своих произведений одухотворенность, богатую и деликатную нюансировку духовной жизни. Прозрачно-розовое, голубое, желтое, переливаясь матовым серебром перламутра, то растворяясь одно в другом, то вновь обретая самоценную прелест, создают ощущение душевной чистоты и просветленности. А за этой видимой умиротворенностью — бездна страдания, скорби, неизбывной боли...

Ефим Рудминский ушел в преддверии новых свершений, не исчерпав отпущененный ему природой творческий потенциал. Живописец всегда пишет «из себя» и себя, и потому его наследие воспринимается как своего рода обобщенный «автопортрет» художника талантливого, уязвимого и ранимого душой, художника очень национального. Уже поэтому его имя не подлежит забвению.





Е.Рудминский. «Пасхальная ночь». 1990–1991.

Е.Рудминский. «Гитл бас Йосиф. Портрет матери». 1991.



Е.Рудминский. «Иегуда и Фамарь». 1991.



Е.Рудминский. «Юдифь». 1993.



О НАШЕМ УЧИТЕЛЕ

Шел 1949 год. Мне было 12 лет, когда я пришел в киевский клуб Пищевиков на Подоле. Там, в детской библиотеке, я стал срисовывать висевшую на стене иллюстрацию Билибина к «Сказке о царе Салтане».

Я увлекся, но почувствовал чей-то взгляд: возле меня стоял человек не высокого роста с красивым библейским лицом, очень добрыми глазами, оттененными пушистыми черными ресницами и густыми, почти сросшимися на переносице бровями. Положив мне руку на плечо, он сказал, глядя на рисунок: «Хорошо, очень хорошо».

Так вошел в мою жизнь, а затем и в жизнь моих друзей Абрам Семенович Балазовский, Абрам, как ласково называли его между собой все мы, его ученики.

Он родился в 1908 г. в киевской еврейской семье среднего достатка, с юношеских лет привык преодолевать трудности и во многом создал себя сам, добившись высокой образованности. Среди его друзей и учителей такие имена как Аристарх Лентулов, Абрам Эфрос, Александр Тышлер, Усачев, Анатолий Петрицкий, Бронислава Гершойт, Серафима Бирман и многие другие. Абрам Семенович получил также музыкальное образование, проникновенно играл фортепианные произведения Шопена, Рахманинова, Дебюсси, Равеля, тонко чувствовал душу импрессионистов и в живописи, и в музыке. Влияние музыки на его творчество было огромно и требует отдельного изучения.

Его учеба и становление как художника пришлись на яркий период 20–30-х годов. Он испытал большое влияние западноевропейского искусства, прежде всего — импрессионизма. Французские импрессионисты, а также Пикассо, Сезанн, Модильяни, а из русских мастеров — Шагал, Лентулов, Тышлер были не просто почитаемы им, но сформировали его как художника. За это А.С.Балазовский, как и многие евреи, был в известные годы заклеймен ярлыком космополита и отстранен в Киевской Академии архитектуры от работы над прекрасной серией майоликовых облицовочных изразцов. Мы, его ученики, хорошо помним эти его работы. Он показывал нам их у себя, в доме над старым киевским фуникулером, доме, которого уже нет. Все мы, дети войны, в те давние годы безотцовщины были согреты его бесконечным теплом. Абрам Семенович был щедрым человеком, постоянно всем нам что-то дарил: краски, кисти, этюдники, репродукции, свои этюды... У каждого из нас до сих пор хранится что-то подаренное им.

А.С.Балазовский был необычайно щепетильной личностью. Он никогда не хотел быть в тягость другим, и таким мы помним его до последних его дней.

А.Балазовский. Набросок лица.



А.Балазовский. Из серии
«Образы». 1977.

А.Балазовский. «Пророк».
1977.

А.Балазовский. «Женский
портрет». 1975.



Пройдя войну солдатом, он принимал близко к сердцу судьбы всех наших обездоленных семей и, по мере своих очень скромных возможностей, старался помогать нам. Как он учил нас? Вот несколько штрихов. Мы тихо склонились над мольбертами, а он как добрый волшебник, незаметно и негромко рассуждает об искусстве, о музыке, о жизни. Одухотворенная пластика его тонких музыкальных пальцев, едва касающихся виска и кончика густой черной брови (его любимый жест), делал его похожим на Давида-Псалмопевца, околовывала нас какой-то гриновской аурой неведомой Страны Искусства. Эта аура впечаталась в сознание всех его учеников. Вот где корни изумительных гриновских медальонов-рондо Фимы Рудминского.

Абрам Семенович Балазовский взрастил поколение детей, большинство из которых прямо или косвенно связало свою жизнь с искусством, но, главное: семена добра уберегли этих детей от грязи улицы, от криминала подворотен и подвалов.

Его нередко упрекали в том, что в его студии много детей с еврейскими фамилиями, говорили о необходимости воспитывать национальные кадры. Но здесь занимались дети разных национальностей — Жора Бабийчук, Юрий Забашта, Юрий Юшко и др. В его студии все были равны, в ней царила особая шкала ценностей.

К нему домой мы приходили в течение всей нашей жизни. В его квартире — в беседах об искусстве, о жизни в стране и мире — формировалось



А.Балазовский. На сцене Соломон Михоэлс. 1978.



А.Балазовский. *Джульетта*. 1978.

наше мировоззрение. Мы были детьми — и он знал наших родителей, мы взрослели — и он знал наших подруг, друзей; у нас появились семьи — и он знал наших детей. Он следил за нашим ростом и позже, когда мы учились в художественных вузах, и далее, когда становились зрелыми мастерами.

Как большинство творческих личностей — самозабвенных и самосожи-гающих, он был беспомощен в вопросах материальных и беззащитен перед злом. Но его внутренний нравственный стержень был несгибаем.

В этих коротких заметках мы не коснулись творчества Абрама Семе-новича Балазовского, которое должно стать предметом отдельного иссле-дования. Мы лишь попытались отдать дань памяти Педагога и Человека, чья светлая личность озарила нас.

Владимир Розенталь, Лазарь Портной.
Филадельфия, 1998 г.

Абрам Эфрос
ДЕВЯТЬ ПИСЕМ ХУДОЖНИКУ
АБРАМУ БАЛАЗОВСКОМУ

Москва, 12.VII.1944 г.

Я отправил Вам письмо на полевую почту. Письмо довольно большое. Жаль, если его не получите. А почему Вы в больнице? Что-нибудь случайное или рецидив старой болезни? Хорошо, что не прекращаете работы акварелью и пером. Но не думаю, чтобы полезно делать то, что Вы делаете. Зачем фантастика и воспроизведение чужих картин? Вам не хватает другого: я не раз говорил это и еще раз повторю. Вам нужна работа с натурой, и дисциплинированная, скромная, ответственная. Отсутствием воображения Вы никогда не страдали, а малым опытом, жизненностью — очень страдаете. Поэтому делайте портреты, этюды фигур, пейзажи, натюрморты, штудируйте природу, а фантастика не убежит. Наоборот, будет убедительнее. Для нее время есть до конца жизни. А для реалистической штудии — времени мало. Копите «типы», «позы», «жсанры», «лица» и т.п. Из этого потом будете строить все что угодно. Если вы послушаетесь меня — не раскаетесь.

Выздоровливайте.

Абрам Эфрос.

Москва, 29.VII.1944 г.

По Вашим очередным письмам вижу, что дела у Вас налаживаются. Думаю, что при серьезном отношении с Вашей стороны Вам действительно дадут возможность работать по специальности. Конечно, пока за Вами следить некому, но ничего: достаточно внутреннего желания и внешней дисциплины в работе, чтобы время не шло бесплодно, пока не представится возможность вернуться к профессиональным условиям творчества. Пока же вот что я придумал: Вы помните, письма Van-Gога, Меницеля и других были усеяны набросками их вещей, эскизами и этюдами пером, по которым можно было следить за их замыслами. Предлагаю Вам сделать то же: словами Вы не передадите, а миниатюрными набросками пером это сделать легко. И вам легче и мне проще понять, о чем Вы пишете. Значит, пишите мне и рисуйте одновременно маленькими эскизами. Я пойму — не впервые! Это даже занимательно. Надо будет Вам компоновать страницу письма: текст, а среди него — рисунки: своего рода тоже задача композиции. Так и делайте. Тогда смогу ответить по существу.

Будьте здоровы.

Абрам Эфрос.

Москва, 10.VIII.1944 г.

Ваши последние два письма заставляют меня думать, что моих писем Вы не получили. Почему? Это жаль, даром пишу Вам. Неужели почта так шалит? Или просто медленно ползут мои открытки? А я в последнем письме как раз предлагал Вам то, что и Вам, и мне может быть интересно, а именно: вместо того, чтобы описывать словами свои этюды — делайте в письмах маленькие графические наброски, вкрапливайте их в текст письма, — и все будет мне ясно, а Вам это будет полезнее (графика) и интереснее (композиция из рисунка и текста). Так иллюстрировал свои письма Ван-Гог, так делал наш Куприянов Н.Н. У меня как раз сохранились несколько его таких листков. Делайте это и Вы. Это очень увлекательно. Только надо делать легко и искренне, не фокусничая, не Ну, словом, почаще, а там посмотрим.

Абрам Эфрос.

Москва, 18.VIII.1944 г.

Получил папку ваших этюдов через доктора и вторую папку этюдов с сиделкой. Как видите, все дошло благополучно. Получаю письма. Жаль, ежесли до Вас не доходят мои открытки. Доктор сказал, что дела Ваши неплохи, и что долечиваться Вам недолго. Значит, надо потерпеть немного — и все образуется. По письмам тоже вижу, что Вы приходите в порядок. Не разбрасывайтесь мыслями, так же, как сюжетами для этюдов. Тут нужна самодисциплина: поставить задачу, цель — ежедневно работать, добиваться ее. Мне не все понятно в ваших набросках: во-первых, они слишком небрежные, во-вторых — они без цвета и без характерности. Лучше делайте их меньше, но тщательнее. Чтобы я понял, чего Вы ищете и как ищете. Дело не в величине их, а в тщательности работы. Она останется такой же артистичной (это ваш дар!), но будет крепче композиционно и по форме. Почему в одном письме так много набросков? Это своего рода самотек. А нужно, чтобы вы в миниатюрном масштабе рисовали для меня то, что вас волнует, занимает, а вовсе не то, что подвергается под руку случайно. В этом и состоит прелест верности набросков в письмах у Ван-Гога, у Менцеля, у нашего Тимма, что они не просто делают первые попавшиеся эскизы, а рисуют в письме то, что их глубоко трогает, над чем трудятся. В частности, у вас много набросков голов, портретов, фигур. Фигуры неверны, контуры случайны, опять самотек пера. А ведь линии в фигурах чудесно плавны или выразительны: они изящны или характерны. Где же это все у Вас? Головы тоже небрежны — а ведь тут сугубо портрет. Это же очень трудно, а у вас кое-как. В новой папке есть уже хорошие вещи, — в частности, один акварельный портрет в полуфигуру, мужской: значит, можете — когда по-настоящему увлекаетесь и добиваетесь. Вот это и нужно, это и хорошо, этого и жду от Вас.

Ну, будьте здоровы, пишите.

Абрам Эфрос.

Москва, 7.IX.1944

Хорошо, что мои репродукции дошли до Вас. Я несколько беспокоился и за целостность и за сохранность. Но на сей раз почта не подвела. Не повезло с вашим посланным. Я приготовил большие репродукции в красках. Но он зашел так рано, что я был еще в постели, а он ждать не мог, да и негде было. При случае перешлю. Я внимательно рассмотрел то, что Вы прислали мне. Не все этюды нужны. Есть скороговорки. Фантастика Ваша, чудище — неубедительны. Это к тому же шаблоны. Не стоит на них тратить время и нервы. У Вас лучшая возможность — писать живую, милую природу, живых настоящих людей. Вы все еще торопитесь с ними. Не всегда беглость, импрессионистичность — залог живости. Наоборот, для Вас дисциплина, настойчивость, медленное одоление трудностей — настоящее дело. Солидная живопись в сезанновском смысле — важнейшая вещь при Вашем темпераменте. Чуть ли не мазок в мазок, строжайший рисунок. Почти академически выверенная форма, — объемы, контуры, моделировка, палитра и так далее. Талант у Вас подлинный. А дисциплина письма — хаотичная. Вот Вам и задача. Дела хватит на ряд месяцев. А в Москву не торопитесь. Зимняя Москва — дело позднее. Вы можете в тепле дождаться солнечных дней. Работайте с надеждой на будущее и веру в себя.

Привет.

Абрам Эфрос.

Москва, 9.IX.1944

Письма от Вас получаю регулярно, — отвечать так часто, как хотел бы, не могу: очень устал, еще не отдохнул, а работы не убавляется, а прибавляется.

Надеюсь с 15 по 1 все же соберусь под Москву, в дом отдыха; тогда смогу если не чаще, то подробнее написать о необходимых в Вашем деле вещах. Пока — опять коротко. Привезли мне новую папку с Вашими рисунками и акварелями. Среди них есть хорошие, совсем хорошие, есть средние, много слабых. Вижу, что Вы работаете много, со вкусом и страстью: но не вижу, чтобы вы работали с разборчивостью и глубиной. Вам все легкодается, «почерк», живописная манера у Вас артистична и музыкальна, это — хорошо, это дар божий, не видно пота и не слышно кряхтения, которые в искусстве невыносимы, а ежесли изредка и радуют, то только у гениев, которые поднимают такие тяжести, которые им одним под силу: их пот, их тяжелое дыхание — величественны и человечны. Но легкость, артистичность, музыкальность у Вас отдают не только приятной, но ипустой стороной: легкомыслием, птичьим щебетом: «чирик-чирик», а что — «чирик», из-за чего «чирик» — непонятно. А искусство должно быть человечески значительно, оно всегда обязано быть исповедью, Вашей исповедью, а не бульканьем воды в горле и не урчаньем пищи в желудке. Мало ли что вам легко все дается, и что Вы безостановочно пишете акварелью или маслом — мне-то, зрителю, какое до этого дело, если Вам нечего мне по совес-

ти, по сердцу, по уму сказать? Лев Толстой говоривал, что писателю писать вообще не надо, а начинать писать допустимо только тогда, когда не писать нет сил, когда так тянет сказать что-то людям, что нельзя удержать слово при себе. То же — в существе — и во всяком искусстве. Нарисовать можно сколько угодно, — и чего угодно, — но зачем! Что Вы хотите передать мне Вашиими рисунками? Это же не учебные крошки и композиции, — но и там я вижу цель и итоги: вот композиция, вот анатомия, вот форма, вот ритм, вот светотень, вот колорит и т.п. Поэтому надо, чтобы Вы так писали и то писали, что может донести до меня, зрителя, Ваш замысел, Ваше сердце, Ваше волнение, Вашу мысль — повторяю — Вашу исповедь, исповедь художника, исповедь в сюжете, в настроении, в форме. А у Вас в значительнейшей степени «самотек»: Вам пишется — и Вы довольны: само собой бежит перо и сама собой ходит кисть. Мотив надо отыскивать, тему надо вынашивать — писать надо ревниво и целомудренно, как будто все это для себя и ни для кого чужого. Все равно — от счастья или от горя: Рембрандт, Ван-Гог от боли, Рубенс, Делякруа от радости и т.д. и т.п. Надо писать, когда влюблен в то, что пишешь, — а не просто посвистываешь, кокетничаяшь и флиртуешь. Поэтому выберите себе мотив — и мучайтесь над ним; одолевайте трудности, распознавайте человека, толкуйте природу и т.д. Это сразу скажется глубиной, благородством наброска. Бросьте количество, — отыскивайте качество. Вот Вам прямая задача: мне очень понравилась Вал. Ив. Петренко, привезшая Вашу папку с рисунками: есть в ней человеческая ласковость, есть и женская, осенняя привлекательность. Сделайте ее портрет, но так, чтобы и сходство было, и женственность была, и человечность, — и все это увлеченно, тонко, но общедоступно! Так же вот отыщите мотив пейзажа, погрузитесь в него, испробуйте разные средства передачи, — но добейтесь. Экономьте усилия, не разбрасывайтесь; не вширь, а вглубь, — дисциплинированно и крепко.

А на репродукции не жалуйтесь. Фортуну хороши: я сам вел корректуру и много добился. Если сделаете настоящую копию, — это хорошо, это опять-таки дисциплинирует Вашу манеру...

При случае подброшу Вам хорошие репродукции: кое-что у меня есть. Ну, будьте здоровы, работайте!

Абр. Эфрос.

26.2.1945 г.

— Я давно казніл себе, чото никак не соберусь написать Вам: но очень уж я перегружен работой, — вернешись домой и сядешь как парализованный, нет сил взяться за перо.

Теперь же вам повезло, — я высаживаю дома вот уже четвертый день: у меня грипп в соединении с ангіної. Значит, могу написать Вам несколько строк. В общем, насколько могу судить, дела у Вас развертываются нормально. Правда, Вы излишне нервничаете и сами себе мешаете, задерживаете свое вступление в Союз художников. Зачем? Вещи Ваши говорят сами за себя, а немножко лучше рамка или хуже, будет стекло или не будет — особого значения не имеет. Ведь смотреть будут профессионалы, им и так должно быть все понятно: и Ваше дарование, и Ваши технические навыки и т.д.

Впрочем, понимаю Вас, т.к. сам очень люблю отряпнутую, подтянутую подачу вещей. Вам доставляет радость это, — ну и хорошо: не так уж много радостей, чтобы отказывать себе в таких художественных капризах. Только — помните меру, не бейте себя оттяжками. Вам нужно возможно скорее оформиться. Самое важное и радостное и трудное еще впереди: сделать спектакль! К этому спешиште и на это отдавайте все силы. Когда сделаете эскизы, пришлите мне туши, в небольшом размере, — или в акварели — я разберу: может быть, мои замечания поспеют еще вовремя и Вы учтете их.

Это все важно, поскольку это будет после такого перерыва Вашей первой театральной работой, — да еще в Киеве! Тут зачастую судьба художника на ряд лет решается. Впрочем, я в вас верю, — в особенности если будете держать свою фантазию под контролем, и зрителю будет ясно, что к чему. Ищите хороших, подлинно живописных декоративных решений.

Не увлекайтесь красочной дрызготней.

Лепите кистью, сводите все месиво к центральным узлам.

Не бойтесь ясности: при Вашем характере романтика, поэзия все равно останется; она Вам присуща и никуда не ускакет.

Писать мне трудно — температура высокая, — бросаю перо.

Будьте здоровы.

Абрам Эфрос.

Москва, 30.4.1945 г.

Я был так занят, милый Балазовский, что никак не мог найти времени сесть за письмо к Вам: лекции, доклады, рукописи и т.д. — Вы мою заверченную до отказа жизнь знаете; к тому же еще две поездки — в Горький и в Ленинград, — делал доклады на конференции театральных художников — об этом сообщалось в газетах, — может быть, вы читали. Вот и прошло время. Теперь, сегодня, в канун праздника, выбрал минуту, чтобы написать Вам и сказать, что я радуюсь тому, что все у Вас хорошо налаживается с работой. Я считаю, что Вы идете по верной дороге, — театральная живопись, способности к ней — у Вас особенные и врожденные.

Я получил два ваших наброска, — они естественно артистичны и непринужденно праздничны; это нечастые качества у наших декораторов; обычно это достигается с натугои, — а у Вас получается легко. Я называю это «моцартианством дарования» и очень люблю это. Тем лучше ежесли окончательные эскизы еще свободнее и веселее. У Вас есть прямое «чувство театра», — что тоже не так уж часто. Словом, все показатели начала отличны, а там уж от Вас будет зависеть, от Вашей выдержки, от умения не приходить в панику от препятствий и неудач, и от умения не вдаваться в экзальтацию от похвал и успехов. Ибо будет то и другое, — а Вы берите себя в руки, и трезво оценивайте положение. Итак, с праздником тройным! — Победы, Первое Мая, и Вашими личными успехами.

Пишите мне, присылайте наброски, простые и в цвете...

Вообще, если есть время, рисуйте для себя, придиличиво, взыскательно, строго, — создавайте себе школу.

Желаю успехов в театральной работе.

Абрам Эфрос.

Москва 1.XII.1945 года.

Я так безумно загружен, что не успеваю откликнуться даже на интересующие меня дела. А Ваше дело меня очень интересует. Поэтому написал. Сейчас урвал минуту, чтобы хотя бы открыtkой сообщить Вам, что письма Ваши получаю и в курсе Ваших дел. Вижу, что Вы понемногу пробиваетесь, и это меня радует. Только держите себя в руках и творчески и физически. Выдержанка, спокойная настойчивость все перетрут. Как будто так у Вас уже и получается, и это хорошо. Не паникуйте от неудач. Их всегда много. И не теряйте головы от успехов, которые всегда редки. Идите своим путем. Упрямо. Человек Вы способный и в конце концов попадете на свою полочку. Во всяком случае, год прошел у Вас не зря — даже больше! Плодотворно! Чего же еще желать?

Непременно сочетайте театральную работу со станковой; пусть вся фантазия будет в театре, вся дисциплинированность — в живописи и рисунке. Это закалит Вас и очень поможет росту.

Ну, всего лучшего.

Ваш Абрам Эфрос.

Леонид Пекаровский

РИСУНКИ ЖАБОТИНСКОГО

В Тель-Авиве, на улице Кинг-Джордж, находится «Бэйт-Жаботински» — архив одного из крупнейших деятелей новейшей еврейской истории Владимира (Зеева) Жаботинского. Именно в этом архиве я и обнаружил 16 листов с его рисунками. Среди них наиболее интересна серия графических портретов (два из них — автопортреты).

Участвуя в различных конгрессах, заседаниях, комиссиях, Жаботинский постоянно рисовал и, несомненно, дошедшие до нас рисунки — лишь небольшая часть созданного, но и она дает полное представление о художественных возможностях автора.

Рисованные с натуры портреты разнообразны как композиционно, так и стилистически: линейные рисунки перемежаются штриховыми со светотеневой моделировкой, что позволяет придать им объем, скульптурность. Но самое главное: Жаботинский мастерски наполняет образы яркими психологическими характеристиками. В этом смысле замечателен портрет Когана. Здесь виртуозное владение линией и формой позволяет автору даже шутить: основой крупного еврейского носа портретируемого является заглавная буква его фамилии. Выражение же лица Когана, его внешность и особенно характерный жест правой руки говорят о нём как об умном, тонком и едком polemiste.

А рядом с портретом Когана — моментальный набросок, буквально несколько штрихов: борода, брови, пучки волос возле лысины. Средства минимальные, но образ угадывается. Что же касается автопортретов, то они выразительны, точны и самоироничны. Жаботинский весьма критически относился к своей внешности, частенько подтрунивал над нею. Так, свои губы он называл африканскими и пользовался их изображением как ключевой, знаковой деталью. Это хорошо видно на автопортретах 1918 и 1921 годов.

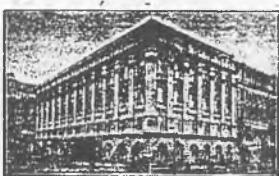
Отдельно необходимо сказать о юморе Жаботинского, столь свойственном ему в молодости, но не иссякшем и в зрелом возрасте, о чем ярко свидетельствуют и предлагаемые рисунки. Вот один из них, имеющий название: «Дикая конница 1-го хасидского полка». На нём изображен колоритный хасид, ведущий в поводу своего Росинанта. А вот два варианта сюжета «всадник на свинье», причем, можно думать, что рисунки созданы во время 17-го сионистского конгресса в Базеле, а в качестве всадников изображены его участники. Комизм ситуации очевиден.

В свое время говорили, что в лице Жаботинского сионизм похитил у русской литературы большого писателя и тонкого поэта. Сегодня то же можно сказать и об изобразительном искусстве.



ROMĀS VIESNICA
RESTORĀNS
OTTO SCHWARZ

TEL. ADL. ROMAVIESNICA
TEL. CENTR.
RIGA 3325



HÔTEL DE ROME
RESTAURANT,
OTTO SCHWARZ

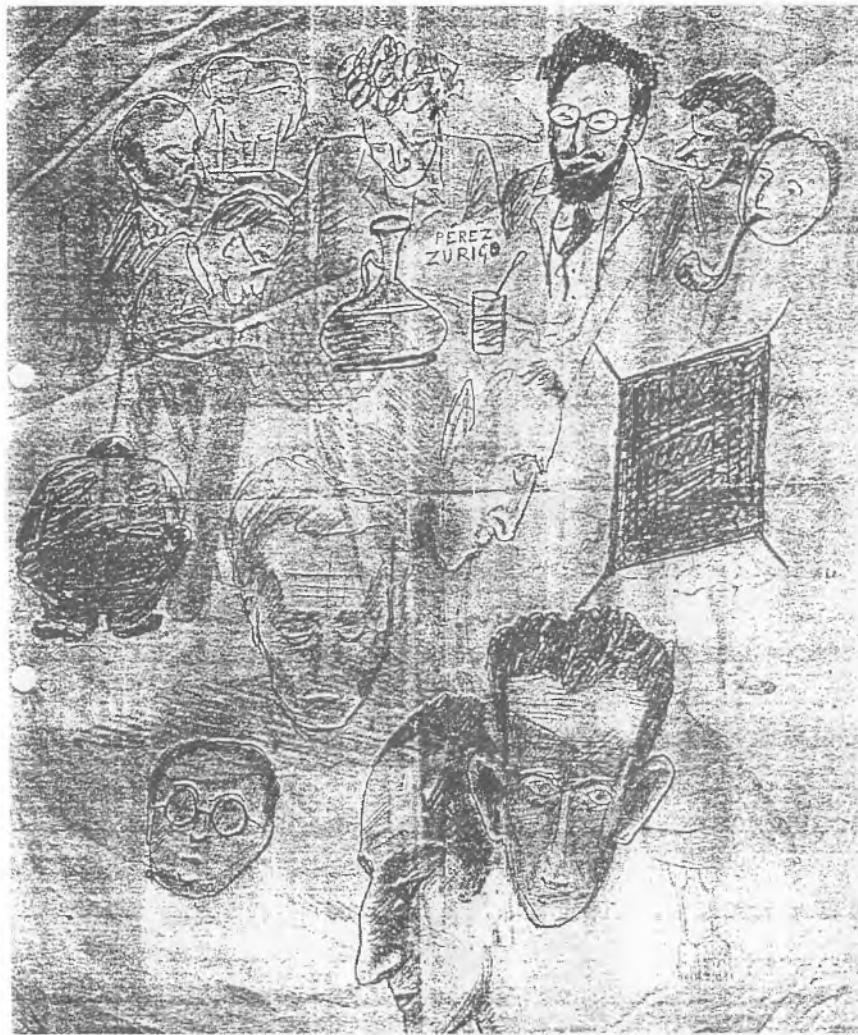
TEL. ADL., ROMENHOTEL RIGA
TEL. CENTR.
RIGA 3325

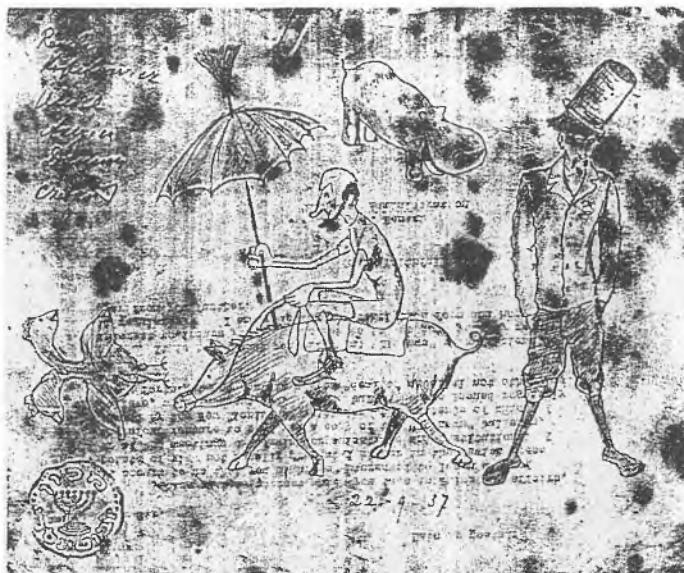


ДИКАЯ КОНИЦА І-го хасидського полку

— Мал.









*Bathory
Reunites
at*



ЗМІСТ — СОДЕРЖАНИЕ

ПОЗА РУБРИКАМИ — ВНЕ РУБРИК

Дэвид Харрис НАМ ЕСТЬ ЧТО ПРАЗДНОВАТЬ	3
<hr/>	
<u>ПРОЗА, ПОЕЗІЯ — ПРОЗА, ПОЭЗИЯ</u>	
<hr/>	
Инна Лесовая НАБРОСОК МЯГКИМ ГРИФЕЛЕМ	11
<hr/>	
Яков Лотовский ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЬ ЗЕМЛИ	60
<hr/>	
МИРА МОЙСЕЕВНА	70
<hr/>	
Вардан Варжапетян СТОРОЖ КАИНА	79
<hr/>	
ЕВРЕЙ, КОТОРОГО ПОХОРОНИЛИ В СУББОТУ	87
<hr/>	
Ицхак Башевис-Зингер ОКОШКО В ВОРОТАХ	96
<hr/>	
Давид Маркиш АПОКРИФЫ	111
<hr/>	
Гелій Аронов ФУТБОЛ В ІЮНЕ	129
<hr/>	
Іцхак Мерас ТАЄМНА ВЕЧЕРЯ	136
<hr/>	
Леонид Пекаровский БРАСЛЕТ	142
<hr/>	
РАББИ МЕНАХЕМ СЛЫВА	144
<hr/>	
ЛИФТ	146

Риталий Заславский	
МИША И ПЕТЯ	
150	
Михаил Могилевич	
СТИХИ	
155	
Петр Киричанский	
ИЗ ЛИРИЧЕСКИХ СТИХОТВОРЕНЬЙ	
161	
Вадим Громыка	
СТИХИ	
167	
Марина Левина	
СТИХИ	
173	
Марина Гарбер	
СТИХИ	
174	
Геннадий Беззубов	
СТИХИ	
175	
Роза Ауслендер	
«Я ОСВІДЧУЮТЬ В ЛЮБОВІ...»	
178	
<hr/>	
ПУБЛІСТИКА, ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО —	
ПУБЛІСТИКА, ЛІТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ	
ВАТИКАН І КАТАСТРОФА	
192	
Бенедикт Сарнов	
ВОЗВРАЩЕНИЕ АНДРЮШИ ЮЩИНСКОГО	
217	
Мирон Петровский	
ШУМ И ЯРОСТЬ АРКАДИЯ БЕЛИНКОВА	
228	
Олександра Підопригоро	
ДЯКУЮ ЗА... ПОЗИТИВНИЙ ОБРАЗ ЄВРЕЯ	
246	

Александр Кантор

РОССИЯ И ЕВРЕИ В КОНЦЕ ХХ СТОЛЕТИЯ:
КАСТРАЦИЯ И НАРЦИССИЗМ

251

НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ — НАШІ ПУБЛИКАЦІИ

Андрей Муравьев

ЗАПИСКА О СОХРАНЕНИИ САМОБЫТНОСТИ КИЕВА

259

МЕМУАРИ — МЕМУАРЫ

Евгений Якер

ШЕСТЬ СЮЖЕТОВ ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ

268

МИСТЕЦТВО — ИСКУССТВО

Мирон Петровский

КИЕВСКОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ ДАВИДА МИРЕЦКОГО

284

ХУДОЖНИКИ А.БАЛАЗОВСКИЙ И Е.РУДМИНСКИЙ

Ирина Климова

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ИМПРОВИЗИРОВАННОГО ЗРИТЕЛЯ

292

Григорий Островский

ЧЕЛОВЕК РОЖДАЕТСЯ НА СТРАДАНИЕ...

300

Владимир Розенталь, Лазарь Портной

О НАШЕМ УЧИТЕЛЕ

307

Абрам Эфрос

ДЕВЯТЬ ПИСЕМ ХУДОЖНИКУ БАЛАЗОВСКОМУ

312

Леонид Пекаровский

РИСУНКИ ЖАБОТИНСКОГО

318

CONTENTS

OUT OF HEADING

David Harris

- MUCH TO CELEBRATE
3
-

PROSE, POETRY

Inna Lesovaya

- A SKETCH WITH A LIMBER LEAD
11

Yakov Lotovsky

- SWAN SONG OF THE LAND

60

- MIRA MOISEYEVNA
70

Vardan Varzhapetyan

- THE WATCHMAN OF KAIN
79

- THE JEW, WHO WAS BURIED ON SATURDAY
87

Isaac Bashevis-Zinger

- A LITTLE WINDOW IN THE GATE
96

David Markis

- APOCRYPHA
111

Geliy Aronov

- FOOTBALL IN JUNE
129

Isaac Meras

- LAST SUPPER
136

Leonid Pekarovsky

- BRACELET
142

RABBI MENAHEM SLYVA

144

- ELEVATOR
146

Ritaliy Zaslavsky	
MISHA AND PETYA	
150	
Mikhail Mogilevich	
POEMS	
155	
Peter Kirichansky	
FROM LYRICAL POEMS	
161	
Vadim Groisman	
POEMS	
167	
Marina Levina	
POEMS	
173	
Marina Garber	
POEMS	
174	
Gennady Bezzubov	
POEMS	
175	
Rosa Auslender	
POEMS	
178	

JUORNALISM, HISTORY AND CRITICISM OF LITERATURE

VATICAN AND HOLOCAUST	
192	
Benedict Sarnov	
RETURN OF ANDRIUSHA YUSCHINSKY	
217	
Miron Petrovsky	
NOISE AND FURY OF ARKADIY BELINKOV	
228	
Olexandra Pidopryhora	
THANKS FOR... A POSITIVE IMAGE OF A JEW	
246	

Alexander Kantor

RUSSIA AND JEWS LATE IN THE 21ST CENTURY:
CASTRATION AND NARCISSISM

251

OUR PUBLICATIONS

Andrey Muraviev

NOTE ON PRESERVATION OF KIEV'S ORIGINALITY

259

MEMOIRS

Yevgeny Yaker

SIX STORIES FROM MY LIFE

268

ART

Miron Petrovsky

DAVID MIRETSKY'S ATTRACTION TO KIEV

284

ARTISTS A.BALAZOVSKY AND E.RUDMINSKY

Irina Klimova

ANSWERS TO QUESTIONS OF A FADED SPECTATOR

292

Grigory Ostrovsky

THE HUMAN BEING IS BORN TO SUFFER

300

Vladimir Rosental, Lasar Portnoy

ABOUT OUR TEACHER

307

Abram Efros

NINE LETTERS TO ARTIST BALAZOVSKY

312

Leonid Pekarovskiy

DRAWINGS BY ZHABOTINSKY

318

Інститут Юдаїки

Інститут юдаїки створено з метою організації робіт та координації зусиль науковців у галузі вивчення єврейської історії та культури в Україні.

Основні форми роботи Інституту:

- виконання дослідницьких проектів;
- організація та проведення конференцій, семінарів, лекторіїв;
- видавнича діяльність.

Дослідницькі проекти

Історико-архівні програми

- опис єврейських фондів та документів в архівах України;
- вивчення історії репресій проти євреїв та єврейської культури за матеріалами архівів ДПУ, НКВС, КДБ;
- формування фотоархіву «Єврейський світ» (фотографії кінця XIX — початку XX ст.);
- відродження організованого єврейського життя в Україні. 1987—99 рр.;
- вивчення історії КАТАСТРОФИ;
- формування кіноархіву: єврейська тема у кінематографі України ХХ ст.;
- підготовчі роботи для енциклопедії «Українське євреїство».

Соціологічні, демографічні та політологічні програми

- проект «Долі єреїв України у ХХ столітті» — запис спогадів людей старшого віку;
- моніторинг проблем міжнаціональних відносин;
- моніторинг ксенофобських, антисемітських акцій, публікацій, виступів. Розробка програм сприяння толерантності та багатокультурності в українському суспільстві;
- демографічний прогноз чисельності євреїства України.

Мистецтво

- єврейська тема у живописі, графіці, скульптурі художників України.

Конференції, семінари, лекторії

Починаючи з 1993 року, Інститут щорічно організує та проводить Міжнародну наукову конференцію «Єврейська історія та культура в країнах Центральної та Східної Європи».

Видавнича діяльність

Інститут видав:

- художньо-публіцистичний альманах «Єгупець» (№ 1 — 1995 р., № 2 — 1996 р., № 3 — 1997 р., № 4 — 1998 р.), ред. Г.Аронов;
- матеріали міжнародної наукової конференції «Єврейська історія та культура в країнах Центральної та Східної Європи» (1994, 1995, 1996, 1997), ред. Г.Аронов;
- матеріали Єрусалимської конференції 1993 р. «Україно-єврейські взаємини», ред. Л.Фінберг («Філософська і соціологічна думка», №№ 1—2, 5—6, 1994);
- «Jews and Slavs», v. 5, Jerusalem, 1996, редактори В.Москович, Л.Фінберг та інші;
- С.Рос. «Легальные средства борьбы против антисемитизма», 1996, ред. В.Міндлин;

- «Поле відчува їй надії», 1994, ред. та упорядник Р.Корогодський;
- Шимон Маркиш, «Бабель и другие», 1996, ред. Л.Финберг;
- «Новые реалии Украины: украинско-еврейский диалог», 1997, ред. Л.Финберг;
- М.Кальницкий. «Синагога Киевской иудейской общине. 5656–5756. Исторический очерк», 1997;
- ілюстрований єврейський календар 1998–1999 pp., упорядники О.Школяренко, М.Кальницький, З.Чечик;
- підготовчі матеріали до популярної енциклопедії «Українське євреїство», вип. 3, (препринти статей до тому «Україноюдаїка. Українсько-єврейські взаємини»), ред. М.Феллер;
- туристична карта «Єврейські адреси Києва», 1998, упорядники О.Школяренко, М.Кальницький, З.Чечик;
- Ж.Ковба. «Людяність у безодні пекла. Поведінка місцевого населення Східної Галичини в роки “остаточного розв’язання єврейського питання”», 1998;
- М.Мицель. «Общины иудейского вероисповедания в Украине (Киев, Львов: 1945–1981гг.)», 1998;
- «Труды еврейской историко-археографической комиссии 20–30-х годов», Киев-Иерусалим, 1999, составитель В.Хитерер.

Інститут готовує до видання:

- художньо-публіцистичний альманах «Егупець» № 6;
- матеріали міжнародної наукової конференції 1998 р. «Єврейська історія та культура в країнах Центральної та Східної Європи»;
- В.Хитерер. «Документы по еврейской истории в киевских архивах (XVI–XX вв.)»;
- В.Скуратовский. «К истории фальшивки — “Протоколов сионских мудрецов”»;
- популяриза енциклопедія «Українське євреїство», ред. М.Феллер;
- «Спогади малолітніх в'язнів гетто та концтаборів», редактор та упорядник Б.Забарко.

Інститут юдаїки продовжує діяльність Науково-дослідного центру Асоціації юдаїки. Інститут співпрацює з Університетом «Києво-Могилянська академія», академічними інститутами України (Інститутом філософії, Інститутом соціології, Інститутом політології та міжнаціональних відносин), Київським центром політичних досліджень та конфліктології, Центром «Демократичні ініціативи», університетами та дослідницькими центрами С.-Петербурга, Москви, Єрусалима, Тель-Авіва, Лондона, Парижа, Женеви, Нью-Йорка.

Інститут є громадською організацією. Спонсорами наших програм є Американський єврейський розподільчий комітет «Джойнт», Claims Conference, Конфедерація єврейських організацій України, ВААД України, Київська міська єврейська громада, інші громадські організації та міжнародні фонди.

Інститут відкритий до співробітництва з усіма зацікавленими особами та організаціями.

Директор Інституту — Леонід Фінберг

Вчений секретар — Ольга Мудрагель

Секретаріат — Інна Злотник, Світлана Невдащенко

Керівники програм:

Гелій Аронов — альманах «Єгупець»

Людмила Бурт — фотоархів «Єврейський світ»

Роман Ленчовський — соціологічні проекти

Володимир Міндлін — політологічні проекти

Володимир Любченко, Жанна Ковба — історичні проекти

Мартен Феллер — енциклопедія «Українське єврейство»

Ріна Острівська — фотомистецтво

Ірина Клімова — образотворче мистецтво

Олена Школяренко — бібліографія

При Інституті створено Наглядову раду, до якої входять науковці, громадські діячі та підприємці України.

Адреса Інституту:

- Україна, 252049, Київ, вул. Курська, 6
тел. (38044) 271 35 89
факс. (38044) 213 91 49
E-mail: finberg@777.com.ua
Internet: <http://judaica.8m.com>

Institute of Judaic Studies

The Institute of Judaic Studies was created to organize and coordinate academic research in the field of Jewish history and culture in Ukraine.

Institute's main activities:

- carrying out research projects;
- organization and conducting of conferences, seminars, lectures;
- publishing activities.

Research projects

Historical-archival programs

- description of Jewish documents and other materials preserved in the archives of Ukraine;
- research on the repression of Jews and the destruction of Jewish culture according to KGB archive materials;
- formation of the «Jewish World» photo-archive (photographs from the end of the 19th — beginning of the 20th centuries);
- revival of the well-organized Jewish life in Ukraine. 1987–1999;
- the study of the history of HOLOCAUST;
- formation of a cinema archive: Jewish theme in the cinematography of Ukraine in the 20th century;
- preparatory work for the «Ukrainian Jewry» Encyclopedia.

Programs on sociology, demography and political science

- project on the «Fate of the Jews in the 20th century» — a record of oral stories of older people;
 - monitoring of problems in the inter-ethnic relations;
 - monitoring of xenophobic, anti-Semitic actions, publications, speeches.
- Elaboration of programs helping toward tolerance and multiculturalism in the Ukrainian society;

- demographic forecast of the number of Jews in Ukraine.

Art

- Jewish theme in pictorial, graphic and plastic arts of Ukrainian artists.

Conferences, Seminars, Lectures

Since the year of 1993, the Institute organizes and annually calls the International Scientific Conferences on the subject «Jewish History and Culture in Central and Eastern Europe».

Publishing Activities

The Institute has published:

- the literary-sociopolitical almanac «Ehupets» (№ 1 — in 1995, № 2 — 1996, № 3 — 1997, № 4 — 1998), editor G.Aronov;
- materials of the International Scientific Conference on the subject «Jewish History and Culture in Central and Eastern Europe» (1994, 1995, 1996, 1997, 1998), editor G.Aronov;
- materials of the Jerusalem conference held in 1993 on the subject «Ukrainian-Jewish Relations» («Philosophical and Sociological Thought», №№ 1-2, 5-6 1994, editor L.Finberg);
- «Jews and Slavs» v. 5, Jerusalem 1996, editors V.Moskovich, L.Finberg, etc.;
- S.Ros, «Legal Means of Fight Against Anti-Semitism», editor V. Mindlin, 1996;
- «The Field of Despair and Hope», editor and compiler R. Korogodsky, 1994.
- «New Realities of Ukraine: Ukrainian-Jewish Dialogue», editor L.Finberg, 1997.
- M.Kalnytsky, «Synagogue of the Kiev Jewish Community. 5656–5756. Historical Review», 1997;
- The Illustrated Jewish Calendar for 1998–1999, compilers O.Shkoliarenko, M.Kalnytsky, Z.Chechyk;
- materials for the popular encyclopedia on the «Ukrainian Jewry», third issue (preprints of the articles for the volume on «Ukrainian-Jewish Studies. Ukrainian-Jewish Relations»);
- Tour map «Jewish Addresses of Kyiv», compiled by O.Shkoliarenko, M.Kalnytsky, Z.Chechyk;
- Zh. Kovba, «Humanity in the Precipice of Hell. Conduct of the Local Population in Western Galitsia during the Years of the Ultimate Solution of the Jewish Problem», 1998;
- M.Mitsel «Jewish Religious Communities in Ukraine (Kyiv-Lviv, 1945–1981)», 1998;
- «Works of the Jewish Historical-Archaeographic Commission in the 1920s and 1930s» compiled by V.Khiterer, Kyiv-Jerusalem, 1999.

The Institute is preparing for publication:

- V.Khiterer, «Documents on the Jewish History in Archives of Kiev (the 16th — 20th centuries)»;
- V.Skuratovsky, «To the History of a Fabrication: The Protocols of the Elders of Zion»;
- popular encyclopedia «Ukrainian Jewry», editor M.Feller;
- «Reminiscences of young ghetto and camp prisoners», editor and compiler B.Zabarko.

The Institute of Judaic Studies continues the work of the scientific research center of the Association of Judaic Studies. The Institute cooperates with the Kyiv-Mohyla Academy, academic institutes of Ukraine (the Philosophy Institute, the Sociology Institute, the Institute of Political Science and Inter-Ethnic Relations), the Kiev center of political research and conflictology, the Center for «Democratic Initiatives», Universities and research centers of St. Petersburg, Moscow, Jerusalem, Tel-Aviv, London, Paris, Geneva, New York.

The Institute is a public organization. Our programs are sponsored by the American Joint Committee, Claims Conference, Jewish Confederation of Ukraine, the VAAD of Ukraine, the Kiev city Jewish community, other public organizations and international funds.

The Institute is open to cooperation with all the interested persons and organizations.

Director of the Institute — *Leonid Finberg*

Academic Secretary — *Olga Mudragel*

Secretariat — *Ina Zlotnik, Svitlana Nevdaschenko*

Program leaders:

Gely Aronov — the «Ehupets» Almanac

Ludmyla Burt — the “Jewish World” photo-archive

Roman Lenchovsky — sociological projects

Volodymyr Mindlin — projects of political science

Volodymyr Lubchenko, Zhana Kovba — historical projects

Marten Feller — the «Ukrainian Jewry» Encyclopædia

Rita Ostrovska — the art of photographs

Iryna Klimova — arts

Olena Shkolyarenko — bibliography

A Supervisory Council has been set up to the Institute including scientists, public figures and entrepreneurs of Ukraine.

The address of the Institute:

- 6, Kurska Street,
Kyiv 252049 Ukraine
Tel. (38044) 271-3589
Fax. (38044) 213-9149
E-mail: finberg@777.com.ua
Internet: <http://judaica.8m.com>

